



СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1926 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

Май — Июнь

1974



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва

Редакционная коллегия:

Ю. П. Петрова-Аверкиева (главный редактор), **В. П. Алексеев**, **С. А. Арутюнов**,
Н. А. Баскаков, **С. И. Брук**, **Л. М. Дробижева**, **Г. Е. Марков**, **Л. Ф. Моногарова**,
А. П. Окладников, **Д. А. Ольдерогге**, **А. И. Першиц**, **Н. С. Полищук**
(зам. главн. редактора), **Ю. И. Семенов**, **В. К. Соколова**, **С. А. Токарев**,
Д. Д. Тумаркин (зам. главн. редактора), **К. В. Чистов**

Ответственный секретарь редакции *Н. С. Соболев*

Адрес редакции: Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19

В. К. Соколова

ФОЛЬКЛОРИСТИКА В АКАДЕМИИ НАУК

Важнейшей задачей организованной в 1724 г. Петербургской Академии наук было всестороннее изучение нашего Отечества, как его физико-географических условий и природных богатств, так и особенностей культуры и быта, нравов и обычаев населяющих его народов. Определенное место в этих исследованиях заняло и устное народное творчество.

Сподвижник Петра I В. Н. Татищев в 1734 г. представил в Академию, а затем разослал на места — на Урал и в Сибирь — анкету для сбора сведений о народах России, а в 1737 г. дал еще более детально разработанную программу, содержащую уже 198 вопросов — «Предложение о сочинении истории и географии российской». Эта первая в истории мировой науки программа сбора этнографических и археологических сведений охватывала разные стороны жизни, быта, хозяйства и истории населения. Были в ней и вопросы, непосредственно относящиеся к фольклору, например: «Нет ли песен таких или сказок, в которых старинные действия воспоминаются; оные списать, а иноязычные перевести», а также вопросы о разного рода поверьях и заговорах. Ответы на анкету поступали в Академию, ей же передал Татищев и свой материал, в том числе и составленный им сборник пословиц.

Анкета Татищева послужила основой руководств, составлявшихся для академических экспедиций: Сибирской Г. Ф. Миллера, Камчатской С. П. Крашенинникова и др. Эти экспедиции, так же как и последующие (И. И. Лепехина, В. Ф. Зуева, Н. Я. Озерецковского и др.), работавшие в разных районах, записывали в числе прочих материалов и фольклор, особенно исторические предания и произведения, отражавшие народный быт (так, например, С. П. Крашенинников отметил у камчадалов фольклорные сюжеты, связанные с охотой и рыболовством)¹.

Для В. Н. Татищева народная поэзия была важна прежде всего как источник сведений о прошлом народов, об их воззрениях, религиозных верованиях и обычаях. Так использовал он предания и песни и в своей «Истории России». Как к историческому источнику подходил к фольклору и великий русский ученый-энциклопедист М. В. Ломоносов. Народная поэзия служила для него доказательством древности, богатства и самобытности русской культуры. В своих исторических исследованиях он особое внимание уделял русской мифологии, причем, подчеркивая ее древность и своеобразие, он рассматривал ее и в сравнительном аспекте, сопоставляя с греческой и с римской. Использовал он также исторические предания и легенды, стремясь выявить их фактическую основу. М. В. Ломоносов считал, что фольклор дает возможность воссоздать древнейший период жизни народа и помогает выяснить его происхождение, родственные связи с другими народами.

¹ Подробнее об академических экспедициях см.: Т. В. Станюкович, Музей антропологии и этнографии в системе Академии наук, «Сов. этнография» (далее — СЭ), 1974, № 2; С. А. Токарев, Из истории этнографических исследований в Академии наук, там же.

К фольклору обращались и как к ценному художественному наследию, основе национальной литературы. Со всей определенностью это подчеркнул В. К. Тредиаковский. Обосновывая предпринятую им реформу русского стихосложения, он писал в «Кратком и новом способе к сложению стихов российских» (1735 г.): «Всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойств нашему стиху присущих; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела». В. К. Тредиаковский говорил, что «сладшее, приятнейшее и правильнейшее разнообразных ее [народной поэзии] стоп падение» побудило его ввести двусложные стопы. Ломоносов, завершивший реформу русского стихосложения и утвердивший у нас силлабо-тоническую систему, также во многом следовал народным песням и отметил некоторые их художественные особенности. Можно сказать, что первые наши академики и поэты — М. В. Ломоносов и В. К. Тредиаковский стояли у колыбели русской фольклористики.

В XVIII в. еще не было создано науки о народной поэзии. В это время история и филология, из которых позже выкристаллизовались этнография и фольклористика, только стали развиваться. Но в XVIII в. началось накопление материала и, что особенно существенно, был найден правильный подход к фольклору, осознано его историческое и художественное значение. Важнейшей особенностью создававшейся в недрах Академии наук фольклористики с самого начала было отсутствие национальной ограниченности; ее внимание привлекала устная поэзия не только русского, но и других народов России.

С появлением в середине XIX в. трудов Ф. И. Буслаева фольклористика стала одной из ведущих гуманитарных наук. Чтобы представить, какой размах получили в Академии исследования по фольклору и какого высокого уровня они достигли, достаточно вспомнить труды таких выдающихся ученых-академиков, работавших в этой области, как И. И. Срезневский, В. В. Радлов, А. Н. Пыпин, А. И. Соболевский и др., особенно А. Н. Веселовский и В. Ф. Миллер. Много ценного в исследование разных аспектов народной поэзии внесли также лингвисты и историки Н. И. Костомаров, Е. Ф. Корш, А. А. Шахматов, М. Н. Тихонов и др.

Исследовательская работа в области народной поэзии в Академии все время сочеталась со сбором и изданием фольклорных произведений. В основном собиранием фольклорных (так же, как и этнографических) материалов в XIX в. занимались различные внеакадемические учреждения и научные общества — центральные и местные — и отдельные лица. Но развивалась эта работа зачастую по инициативе и под руководством сотрудников Академии, которые порой возглавляли соответствующие отделы научных обществ. Так, В. Ф. Миллер долгое время руководил этнографическим отделом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, а затем отделом этнографии Русского географического общества; С. Ф. Ольденбург был председателем Сказочной комиссии Русского географического общества, он продолжал эту работу и после революции.

Многие собиратели фольклора получали в Академии наук методическую, а иногда и материальную помощь, публиковали в академических изданиях свои материалы. Неутомимый собиратель П. В. Шейн неизменно находил поддержку у Н. И. Костомарова, А. Н. Пыпина, Я. К. Грота, В. Ф. Миллера, А. А. Шахматова, а его выдающиеся по количеству и качеству собрания русских и белорусских песен, обычаев и обрядов были изданы Академией наук. Чтобы показать, как внимательно относились в Академии к начинающим ученым, достаточно привести лишь один пример — изданный в 1915 г. сборник «Сказки и песни Белозерского края», составленный из материалов, собранных в 1908 и 1909 гг. студентами, братьями Б. и Ю. Соколовыми; помогла им осуществить эти

поездки и снабдила их программами Московская диалектологическая комиссия при Академии наук.

Фольклорные материалы регулярно печатались в «Известиях» и «Сборнике» Отделения русского языка и словесности Академии наук. Так, уже в первом томе «Известий» (1852 г.) были помещены «Старинные великорусские песни», собранные в Нижегородской губернии Е. Фаворским. Некоторые тома «Сборника» целиком заняты отдельными крупными собраниями. Опубликованы были и некоторые старинные записи фольклора: в 1899 г. вышел сборник «Старинные рукописные сборники пословиц, поговорок, загадок и пр. XVII—XIX вв.», а в 1907 г.— «Великорусские песни, записанные в 1619—20 гг. для Ричарда Джемса...». Оба издания были подготовлены П. К. Симони. В 1898 г. Академия переиздала «Онежские былины» А. Ф. Гильфердинга, а в 1913 г.— «Собрание разных песен» М. Д. Чулкова, давно уже ставшее библиографической редкостью. Семитомное капитальное издание А. И. Соболевского «Великорусские народные песни» (1895—1902 гг.) и сборник В. Ф. Миллера «Исторические песни русского народа XVI и XVII вв.» (1915 г.) явились первыми сводами русского песенного фольклора. Следует отметить, что Академия наук сыграла значительную роль не только в изучении русского фольклора, но и фольклора других народов России (см. работы по славистике А. Х. Востокова и И. И. Срезневского, тюркологические исследования В. В. Радлова, монголоведческие — А. А. Шифнера, финно-угроведческие материалы М. А. Кастрена, изданные А. М. Шёгренем, кавказоведческие работы В. Ф. Миллера и др.). Можно назвать также материалы, собранные В. Г. Богоразом на Колыме, «Мордовский сборник» А. А. Шахматова и др.

Лучшие традиции прогрессивной дореволюционной науки — отношение к фольклору как к важнейшему источнику для изучения воззрений, культуры и исторического прошлого народных масс, признание его художественной ценности — были восприняты и развиты советской фольклористикой.

Масштаб собирательской и исследовательской работы в области народной поэзии после Великой Октябрьской социалистической революции неизмеримо вырос: собирать и изучать стали народное творчество всех народов Советского Союза, причем были открыты поэтические богатства, о которых раньше ничего не было известно. Фольклор использовался также как один из источников при изучении истории разных народов и явился той базой, на которой создавались литературы ранее бесписьменных народов. Отсюда естественно пристальное внимание общественности к изданиям и исследованиям по народной поэзии.

Советскую фольклористику от дореволюционной отличает не только и не столько широкий размах работы, но прежде всего новый подход к народному поэтическому творчеству, новая марксистско-ленинская методология исследования. Путь советской фольклористики, постепенно овладевавший методом исторического материализма, был сложным и не всегда ровным; наряду с успехами у нее были срывы и ошибки, порой существенные. История советской фольклористики, основные этапы ее развития, проблемы, разрабатывавшиеся ею, освещены с большей или меньшей обстоятельностью в ряде работ, в том числе и в статьях, публиковавшихся в «Советской этнографии»². Здесь нет необходимости повторять все это. Цель данной статьи — постараться показать, какую

² Е. В. Гиппиус, В. И. Чичеров, Советская фольклористика за 30 лет, СЭ, 1947, № 4; В. К. Соколова, Советская фольклористика к 40-летию Октября, СЭ, 1957, № 5; Б. Н. Путилов, В. К. Соколова, Основные проблемы советской фольклористики, СЭ, 1964, № 4; В. К. Соколова, Советская фольклористика к 50-летию Октября, СЭ, 1967, № 5; В. М. Гацак, Фольклористика Советского Союза за 50 лет, «Изв. АН СССР. Серия литературы и языка», 1972, № 6.

роль в развитии советской фольклористики сыграли академические учреждения.

Надо сразу же оговориться, что наряду с фольклористами, работающими в головных институтах Академии наук СССР, большие научные коллективы сосредоточены в секторах или отделах фольклора соответствующих институтов в союзных и автономных республиках. Во многих республиках собраны значительные фонды фольклорных материалов, проводится их систематизация, классификация и издание; ведутся разнообразные исследования. Особенно следует отметить фольклористические центры Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и др. Большая работа проводится и в неакадемических учреждениях, особенно на филологических факультетах университетов и педагогических институтов. Характеристика всей этой обширной и многосторонней деятельности не входит в задачу данной статьи. Важно лишь подчеркнуть, что работа всех советских фольклористов идет в одном русле, а направляется и возглавляется она учреждениями АН СССР.

Работа по фольклору в АН СССР после революции расширялась и углублялась с ростом Академии в целом и с усилением ее роли в развитии советской науки. В настоящее время фольклорные подразделения в АН СССР существуют в Институте этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Институте русской литературы («Пушкинский дом») и в Институте мировой литературы им. А. М. Горького. Исследования по фольклору ведутся также в институтах славяноведения и балканистики, востоковедения и др. Разрабатывая общую фольклорную проблематику, фольклористы каждого института имеют и свои специфические задачи, свою тематику, соответствующую профилю института.

Создавались все эти фольклорные подразделения не сразу. В 1931 г. в Академию наук были переданы из Государственного института истории искусств фольклорный архив, возглавлявшийся М. К. Азадовским, и фонограммархив, возглавлявшийся Е. В. Гиппиусом, на базе которых в Институте этнографии под руководством М. К. Азадовского была создана фольклорная комиссия. В Комиссию вошли А. М. Астахова, Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд, позже в ней работали Н. П. Андреев, А. Н. Лозанова, А. И. Никифоров и др. Комиссия систематически проводила экспедиции, выпустила ряд фольклорных сборников³, а регулярно издававшийся ею сборник «Советский фольклор»⁴ стал центральным органом советских фольклористов. Среди публиковавшихся в нем исследований и материалов основное место занимали статьи по советскому фольклору. В 1939 г. Комиссия по фольклору была переведена в Институт русской литературы (ИРЛИ) и преобразована в сектор народного творчества.

Сектор возглавил исследование и издание русского фольклора, на базе которого разрабатывались и теоретические проблемы. Сотрудникам сектора помимо ряда капитальных трудов по отдельным жанрам принадлежит первый опыт создания обобщенной истории русского дореволюционного⁵ и советского устного поэтического

³ «Былины Севера», т. I — «Мезень и Печора» (записи, вступит. статья и комментарии А. М. Астаховой). М.—Л., 1938, т. II — «Пинега и Поморье», Л., 1951; «Песни Пинежья», кн. II (материалы фонограммархива, собранные и обработанные Е. В. Гиппиусом и З. В. Эвальд), М., 1937, и др. Под редакцией М. К. Азадовского начато было третье, сделанное по рукописям А. Ф. Гильфердинга издание «Онежские былины» (т. II, М.—Л., 1938, т. III, М.—Л., 1940), открывшее серию «Памятники русского народного творчества».

⁴ «Советский фольклор. Сборник статей и материалов». Выходил с 1934 г. по 1941 г. в Ленинграде. Всего было издано семь выпусков (последний сборник был подготовлен Ин-том русского языка и литературы).

⁵ «Русское народное поэтическое творчество», т. I — «Очерки по истории русского народного поэтического творчества X — начала XVIII века», М.—Л., 1953; т. II, кн. I — «Очерки по истории русского народного поэтического творчества середины

творчества⁶. Было решено подготовить «Свод русского фольклора», проект которого обсуждался в 1958 г. на Всесоюзном совещании по проблемам современной фольклористики в Ленинграде. «Свода» пока нет, но начало ему по существу положено: вышли четыре тома свода русских исторических песен в серии «Памятники русского фольклора»⁷. В этой же серии изданы некоторые ценные коллекции современных и старых записей из фольклорного архива ИРЛИ и других архивов⁸. С 1956 г. сектор регулярно издает сборник «Русский фольклор»⁹, в котором публикуются материалы и исследования советских и ряда зарубежных фольклористов. На страницах сборника поднимались важные проблемы: о характере историзма фольклора, специфике отдельных жанров, их возникновении и классификации, об особенностях и взаимосвязях устной поэзии славянских народов и пр.; велись дискуссии о специфике и путях развития советского народного творчества, о природе и специфике фольклора, о коллективном и индивидуальном начале в фольклоре и др. Ценным подарком фольклористам явилась полная библиография русского фольклора за советский период, составленная М. Я. Мельц¹⁰.

Сектор народного творчества ИРЛИ имеет и специфическую задачу — изучение взаимосвязей русской литературы с фольклором на протяжении всей истории, а также использование фольклора в творчестве отдельных писателей. По проблеме «Литература и фольклор» ИРЛИ провел в 1969 г. специальную конференцию, на которой были обсуждены доклады В. Г. Базанова «Основные аспекты изучения проблемы „Литература и фольклор“» и Ф. Приймы «Русская литература и фольклор». Подготовлена коллективная монография о роли фольклора в развитии русской литературы XI—XVIII веков¹¹.

В 1944 г. в Москве в Институте этнографии АН СССР был создан Сектор фольклора, возглавленный П. Г. Богатыревым (сейчас в институте работает группа фольклора). Помимо разработки общих фольклористических проблем и изучения фольклора народов СССР перед

XVIII — первой половины XIX века», М.—Л., 1955; т. II, кн. 2 — «Очерки по истории русского народного поэтического творчества второй половины XIX—начала XX века», М.—Л., 1956.

⁶ «Очерки русского народного поэтического творчества советской эпохи», М.—Л., 1952.

⁷ «Исторические песни XIII—XVI веков» (издание подготовили Б. Н. Путилов, Б. М. Добровольский), М.—Л., 1960; «Исторические песни XVII века» (издание подготовили О. Б. Алексеева, Б. М. Добровольский, Л. И. Емельянов, В. В. Коргузалов, А. Н. Лозанова, Б. Н. Путилов, Л. С. Шептаев), М.—Л., 1966; «Исторические песни XVIII века» (издание подготовили О. Б. Алексеева и Л. И. Емельянов), Л., 1961; «Исторические песни XIX века» (издание подготовили Л. В. Домановский, О. Б. Алексеева, Э. С. Литвин), Л., 1973.

⁸ «Песни, сказки, пословицы и загадки, собранные Н. А. Иванцом в Вологодской губернии» (подготовка текстов, вступит. статья и примеч. Н. В. Новикова), Вологда, 1960; «Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX веков» (издание подготовили М. Я. Мельц, В. В. Митрофанова и Г. Г. Шаповалова), М.—Л., 1961; «Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова» (издание подготовил В. Я. Пропп), М.—Л., 1961; «Былины Печоры и Зимнего берега (Новые записи)» (издание подготовили А. М. Астахова, Э. Г. Бородин-Морозова, Н. П. Колпакова, Н. К. Митропольская, Ф. В. Соколов), М.—Л., 1961; «Песни Печоры» (издание подготовили Н. П. Колпакова, Ф. В. Соколов, Б. М. Добровольский), М.—Л., 1963; «Песенный фольклор Мезени» (издание подготовили Н. П. Колпакова, Б. М. Добровольский, В. В. Митрофанова, В. В. Коргузалов), М.—Л., 1967.

⁹ Всего вышло XIII выпусков. Начиная с восьмого, выпуски тематические: VIII — «Народная поэзия славян», М.—Л., 1963; IX — «Проблемы современного народного творчества», М.—Л., 1964; X — «Специфика фольклорных жанров», М.—Л., 1966; XI — «Исторические связи в славянском фольклоре», М.—Л., 1968; XII — «Из истории русской народной поэзии», Л., 1971; XIII — «Русская народная проза», Л., 1972.

¹⁰ «Русский фольклор. Библиографический указатель» (составила М. Я. Мельц); вышли три книги: 1917—1944 — Л., 1966; 1945—1959 — Л., 1961; 1960—1965 — Л., 1967.

¹¹ «Русская литература и фольклор (XI—XVIII вв.)», Л., 1970. Связи советской поэзии с фольклором исследуются в монографии: П. С. Выходцев, *Русская советская поэзия и народное творчество*, М.—Л., 1963.

сотрудниками Института этнографии стоит специальная задача — исследовать фольклор как историко-этнографический источник¹², помогающий выяснению этногенеза и этнокультурных связей народов, и как материал для изучения мировоззрения народа в разные исторические периоды¹³. Выявлению этнических и культурных связей способствует изучение современного состояния и особенностей развития фольклора населения, живущего в инонациональной среде. Такая работа проводится под руководством Э. В. Померанцевой в республиках Прибалтики; совместно с местными фольклористами подготовлен сборник «Традиционный фольклор русского населения Прибалтики» (песни и сказки).

Как важный элемент духовной культуры фольклор рассматривается в историко-этнографических исследованиях, в монографиях по современному быту и культуре колхозников и рабочих¹⁴, особенно же при изучении народных обычаев, обрядов и праздников, неотъемлемой органической частью которых является устная поэзия¹⁵.

К фольклору как ценнейшему источнику по истории и этнографии народов Сибири постоянно обращаются этнографы-сибиреведы, следующие в этом отношении традициям В. Г. Богораза, В. И. Иохельсона, Л. Я. Штернберга. Ими собран большой, зачастую уникальный материал, который по мере возможности вводится в научный оборот в историко-этнографических исследованиях и научных публикациях¹⁶.

Задачи комплексного изучения фольклора, значение его для этнографии обесуждались на Всесоюзных этнографических совещаниях 1951 и 1956 гг. (на которых работали секции фольклора), а также на секциях фольклора и народного искусства ежегодно проводимых отчетных экспедиционных сессий (на сессии, проходившей в апреле 1973 г. в Самарканде, была специальная секция «Этнографические аспекты изучения духовной культуры»).

Объединению усилий этнографов и фольклористов, исследующих фольклор в этнографическом аспекте, и расширению и координации работы в этом направлении способствуют проводимые Институтом этнографии в Ленинграде научные конференции «Фольклор и этнография», в которых участвуют представители союзных академий и филиалов АН СССР и преподаватели вузов. На этих конференциях говорилось о задачах и методах этнографического изучения фольклора, о многообразных связях его с бытом народа, о возможностях использования его для изучения ранних форм мировоззрения, социальных институтов и материальной культуры; анализировались многообразные связи устной поэзии с бытом народа, с народным изобразительным искусством и пр.

¹² См.: В. К. Соколова, Фольклор как историко-этнографический источник, СЭ, 1960, № 4; К. В. Чистов, Фольклор и этнография, СЭ, 1968, № 5; его же, О взаимоотношении фольклора и этнографии, СЭ, 1971, № 5 и др.

¹³ Специально этой проблеме был посвящен сборник «Русское народно-поэтическое творчество. Материалы для изучения общественно-политических воззрений народа» (отв. ред. В. К. Соколова, В. И. Чичеров), «Труды Ин-та этнографии АН СССР» (далее — ТИЭ), т. XX, М., 1953.

¹⁴ Например: «Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани» М., 1967 (отв. ред. К. В. Чистов); В. Ю. Крупянская, Н. С. Полищук, Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX — начало XX в.), М., 1971, и др. Фольклор использован при характеристике духовной культуры отдельных народов в серии «Народы мира. Этнографические очерки», и др.

¹⁵ Например, в сравнительно типологическом исследовании календарных обрядов, проводимом сектором народов зарубежной Европы. Вышел первый выпуск исследования — «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. XIX — начало XX в. Зимние праздники» (отв. ред. С. А. Токарев), М., 1973.

¹⁶ Г. М. Василевич, Исторический фольклор эвенков. Сказания и предания (Запись текстов, перевод и комментарии Г. М. Василевич), М.—Л., 1966; «Мифологические сказки и исторические предания энецов» (записи, введение и комментарии Б. О. Долгих), ТИЭ, т. LXVI, М., 1961; «Бытовые рассказы энецов» (записи, введение и комментарии Б. О. Долгих), ТИЭ, т. LXXV, М., 1962, и др.

Вторая из этих конференций (1971 г.) была специально посвящена проблемам изучения обрядового фольклора¹⁷.

Разрабатывается методика картографирования фольклорных явлений, что особенно важно для сравнительно-исторического изучения народного поэтического творчества и выявления этнокультурных связей. На второй конференции «Фольклор и этнография» обсуждался доклад К. В. Чистова о задачах и методах картографирования обрядов и обрядового фольклора. Опыт применения картографирования для изучения распространения былин на Севере предпринят С. И. Дмитриевой¹⁸. Такой метод исследования, по мысли автора, поможет решению проблемы происхождения былин и изучению истории заселения Европейского Севера.

Сектор фольклора в Институте мировой литературы, созданный в 1953 г., занимается в основном изучением эпического наследия народов Советского Союза. Институтом совместно с соответствующими институтами союзных и автономных республик подготавливается академическая серия «Эпос народов СССР» (главный редактор А. А. Петросян). Задачи и характер издания, принципы отбора текстов, их перевода, комментирования и пр. обсуждались на Всесоюзном совещании в Институте мировой литературы в 1959 г. (Второе Всесоюзное совещание проведено в феврале текущего года). В процессе подготовки детально обсуждается каждый том, вырабатываются теоретические принципы текстологического анализа памятников эпоса¹⁹. Сейчас уже вышли первые выпуски серии²⁰. Тексты даются на языке оригинала и в переводе на русский язык, научно комментируются; в кратком вступительном исследовании оценивается историческое значение данных эпических произведений и показывается их художественное своеобразие.

В целях объединения и направления работы советских фольклористов по изучению народного поэтического творчества при отделении литературы и языка АН СССР в 1956 г. была создана под председательством акад. И. А. Орбели Координационная комиссия по народному творчеству. В нее вошли ведущие советские фольклористы из разных республик и областей. Комиссия разработала «Записку», в которой были намечены основные задачи и проблемы изучения фольклора советских народов²¹. Позднее комиссия была преобразована в Научный совет по фольклору (председатель Н. И. Кравцов). Совместно с центральными и республиканскими институтами Совет провел ряд всесоюзных и региональных совещаний, посвященных теории и истории фольклора, его жанровой специфике и развитию современного народного поэтического творчества. Такие совещания объединяют и направляют работу всех

¹⁷ Проведены три конференции: в 1968, 1971 и 1973 гг. Материалы первой конференции послужили основой сборника «Фольклор и этнография» (отв. ред. Б. Н. Путилов), Л., 1970. Связи фольклора с этнографией анализируются также в сборнике «Фольклор и этнография Русского Севера» (отв. ред. Б. Н. Путилов, К. В. Чистов), Л., 1973. О второй конференции см.: Г. Г. Шаповалова, Вторая научная конференция «Этнография и фольклор», СЭ, 1971, № 6.

¹⁸ С. И. Дмитриева, Географическое распространение былин, в кн.: «Славянский фольклор», М., 1972, и др.

¹⁹ «Текстологическое изучение эпоса» (отв. ред. В. М. Гацак, А. А. Петросян), М., 1971.

²⁰ «Хурлукга и Хемра. Саят и Хемра. Туркменский романтический эпос. Тексты и переводы» (Перевод А. С. Мирбадалевой и Н. В. Кидайш-Покровской. Составление, вступит. статья и комментарии А. С. Мирбадалевой), М., 1971; «Рустамхан. Узбекский героико-романтический эпос. Текст и переводы» (Перевод Н. В. Кидайш-Покровской и А. С. Мирбадалевой. Составитель, автор исследования и комментариев Н. В. Кидайш-Покровская), М., 1972; «Украинские народные думы» (Издание подготовил Б. П. Кирдан), М., 1972; «Маадай-Кара. Алтайский героический эпос» (Запись текста, перевод и приложения С. С. Суразакова. Подготовка тома и вступит. статья И. В. Пухова), М., 1973.

²¹ «Вопросы советской науки. Изучение народно-поэтического творчества», М., 1960.

советских фольклористов, мобилизуют их на разработку актуальных проблем, способствуют повышению теоретического уровня исследований.

Нет возможности охарактеризовать в одной статье все мероприятия, в которых проявилась руководящая роль учреждений АН СССР в развитии советской фольклористики, так же как невозможно назвать все исследования, проведенные фольклористами только головных институтов. Отметим лишь основные направления и наиболее значительные, обобщающие труды.

Уже в 20-е годы внимание фольклористов стали привлекать процессы, происходившие в современном устном народном творчестве. Первый выпуск «Советского фольклора», вышедший в 1934 г., полностью посвящен современности; в предисловии к нему подчеркивалось огромное общественное значение советского фольклора и отмечались некоторые новые явления. О характере, перспективах развития фольклора и его роли в культуре советского общества велись горячие споры на научных заседаниях и в печати.

В годы Великой Отечественной войны на первый план, естественно, выдвинулось собирание поэтического творчества фронтовиков и труженников тыла, запечатлевшего героическую борьбу с фашизмом и выражавшего мысли и чувства защитников Родины, их патриотический порыв. Обобщение собранных материалов, изучение их имело и большое теоретическое значение, оно помогло глубже понять живой фольклорный процесс, выявить закономерности его развития.

В декабре 1947 г. Институт этнографии провел совещание, на котором были заслушаны доклады о фольклоре периода Великой Отечественной войны у разных советских народов и намечены задачи дальнейшей работы по его собиранию и изучению²². Институт был выпущен составленный и научно прокомментированный В. Ю. Крупянской и С. И. Минц сборник песен Великой Отечественной войны²³, в котором прослеживалась история создания песен и их вариантов, связь с событиями военных лет. Продолжавшееся накопление материалов и их изучение дало возможность коллективу фольклористов «Пушкинского дома» создать сборник обобщающих статей²⁴.

Наряду с изучением фольклора военных лет шло собирание и изучение послевоенного фольклора, по-новому были оценены и некоторые произведения, создававшиеся в 30-е годы. В ноябре 1953 г. Институты русской литературы и мировой литературы провели совещание по вопросам изучения русского народного поэтического творчества, на котором обсуждался доклад В. И. Чичерова «Об основных особенностях советского народного поэтического творчества». Проблемы, поставленные на совещании, нашли отражение в ряде статей²⁵. О характере и путях развития современного народного творчества в 1953—1955 гг. развернулась острая дискуссия. Она показала, что фактического материала по современному фольклору у нас явно не хватает, и отдельные суждения высказывались априорно. В дискуссии, состоявшейся в 1959—1961 гг., привлекался уже больший материал, углубился и его теоретический анализ²⁶.

²² См. Б. Г. Гершкович, В. Ю. Крупянская, В. К. Соколова, Совещание по вопросам собирания, изучения и издания фольклора Великой Отечественной войны, СЭ, 1948, № 2.

²³ В. Ю. Крупянская, С. И. Минц, Материалы по истории песни Великой Отечественной войны, ТИЭ, т. XIX, М., 1953.

²⁴ «Русский фольклор Великой Отечественной войны» (отв. ред. В. Е. Гусев), М.—Л., 1964.

²⁵ Б. Путилов, О современном народно-поэтическом творчестве, «Звезда», 1954, № 2; К. В. Чистов, О некоторых проблемах фольклористики, СЭ, 1954, № 2; В. Чичеров, Проблемы изучения советского народного поэтического творчества, «Новый мир», 1954, № 8; его же, Вопросы изучения народного творчества (к итогам дискуссии), СЭ, 1955, № 3, и др.

²⁶ См. В. Гусев, Две дискуссии, «Русская литература», 1962, № 4.

Споры шли об особенностях и закономерностях развития народного поэтического творчества в современных условиях, о соотношении в нем коллективного и индивидуального начал, о фольклоре и самодеятельности, о месте и значении традиционных жанров и пр. Все эти проблемы поднимались и на Всесоюзном совещании по вопросам современного народного творчества, проведенном в 1961 г. в Киеве Координационной комиссией по народному творчеству, институтами русской и мировой литературы АН СССР и Институтом искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР. В докладах и выступлениях на совещании говорилось о проблемах и задачах изучения современного фольклора, характеризовались его состояние и особенности у различных советских народов²⁷. Новые задачи, вставшие перед фольклористами, нашли отражение и в ряде статей²⁸. В 1965 г. Сибирским отделением АН СССР была проведена конференция по изучению советского фольклора народов Сибири²⁹.

Вскрывшийся, особенно в ходе первой дискуссии, недостаток конкретных наблюдений над живыми процессами, происходящими в современном народном творчестве, и условиями его бытования заставил обратить особое внимание на развертывание собирательской работы и совершенствование ее методики. Фольклор начали рассматривать как один из элементов социалистической культуры. Этот методологический принцип стал основным для экспедиций Института этнографии АН СССР, которые изучали фольклор во всех многообразных его жизненных проявлениях. Так стали подходить к исследованию современного состояния устного поэтического творчества и другие экспедиции. Этот новый подход нашел отражение в статьях, характеризовавших материалы, собранные экспедициями³⁰. Комплексный характер имела экспедиция Института русской литературы АН СССР в Костромскую область в 1959—1960 гг., перед которой «...ставилась задача изучения современного состояния народного творчества в различных условиях его бытования в связи с современной жизнью трудящихся и их бытом, в соотношении с местными фольклорными традициями, в комплексе с другими элементами духовной культуры населения»³¹.

С целью обобщения накопленного опыта и выработки общих принципов экспедиционных исследований Координационная комиссия и Институт русской литературы провели в 1962 г. в Ленинграде научную конференцию по комплексному изучению фольклора, на которой были заслушаны доклады В. К. Соколовой «Об опыте комплексного изучения фольклора», Л. И. Емельянова «Принцип комплексного изучения фольклора в свете проблем современного народного творчества» и сообщения о фольклорных экспедициях.

В начале 70-х годов Комиссией комплексного изучения художественного творчества при Научном совете по истории мировой культуры АН СССР была издана программа для комплексных фольклорных экспедиций³².

Новые материалы, полученные в результате проведенных фольклорных экспедиций, обсуждались на конференции «Современное состояние

²⁷ См. Н. С. Полищук, Всесоюзное совещание по вопросам современного народного поэтического творчества, СЭ, 1962, № 3.

²⁸ К. В. Чистов, Фольклористика и современность, СЭ, 1962, № 3; В. Г. Базанов, Фольклористика и современность, «Русская литература», 1964, № 2; и др. См. также Б. Н. Путилов, В. К. Соколова; Указ. раб.

²⁹ «Вторая конференция по изучению советского фольклора народов Сибири 6—10 июля 1965 г. в Улан-Удэ. Тезисы докладов и сообщений», Улан-Удэ, 1965.

³⁰ См., например: В. Ю. Крупянская, Л. А. Старцева, Фольклор колхозной станицы (по материалам Сталинградской фольклорной экспедиции), СЭ, 1949, № 2; К. В. Чистов, Литературно-художественная культура социалистической Сегежи, «Изв. Карело-Финского филиала АН СССР», 1960, № 2, и др.

³¹ «Русский фольклор», вып. VI, М.—Л., 1961, стр. 125.

³² «Программа для комплексных фольклорных экспедиций» (отв. ред. В. Е. Гусев), М., 1971.

народного творчества», проведенной Институтом русской литературы АН СССР и Новгородским государственным педагогическим институтом в 1970 г. в Новгороде. Наряду с общими докладами (А. Д. Соймонов «Современное состояние народного творчества и задачи советских фольклористов», Э. В. Померанцева «Поэтическая культура современного села» и В. М. Шуров «Современный музыкальный фольклор») на конференции были заслушаны доклады и сообщения о состоянии современного народного творчества в разных регионах страны³³.

Обобщения наблюдений над современным бытованием русского фольклора сделаны в статьях сборника «Современный русский фольклор»³⁴, подготовленного Институтом этнографии. Статьи посвящены разным проблемам и жанрам, фольклору различных районов нашей страны, но в них ставится и решается одна общая проблема — характер и состояние современного народного искусства слова во всем его многообразии. Наблюдения над жизнью разных традиционных фольклорных жанров, их местом и ролью в современной культуре обобщены в коллективной монографии, основанной на материалах, собранных экспедициями Института этнографии во Владимирской области³⁵.

Как особая проблема выделилось собирание и изучение рабочего фольклора. Так как до революции устное творчество рабочих почти не записывалось, здесь нельзя было ограничиться наблюдениями только над современным творчеством рабочих; нужно было постараться по мере возможности восстановить пробел, оставленный дореволюционной наукой и собрать дореволюционные песни и рассказы рабочих, являющиеся ценным материалом для изучения истории мировоззрения русского пролетариата, роста его революционного сознания. Работа по собиранию рабочего фольклора была начата еще в Государственном институте истории искусств и продолжена в Академии наук. Учитывая важность этой работы, фольклорная комиссия Института этнографии создала в 1936 г. специальную бригаду по собиранию рабочего фольклора, которая возглавила работу в этой области. Бригада начала собирать фольклор у ленинградских рабочих; регулярно в течение многих лет фиксировался песенный репертуар праздничных демонстраций³⁶. Записывались воспоминания старых рабочих, участников революционных событий, проводились беседы с профессиональными революционерами, которые порою являлись и авторами или переводчиками популярных революционных песен. Таким путем были установлены неизвестные ранее авторы некоторых песен, выяснены или уточнены обстоятельства их создания. В результате В. И. Чичеров и С. Д. Магид составили капитальный, научно прокомментированный сборник «Песни революционного подполья», который, к сожалению, остался неопубликованным³⁷.

Дальнейшее изучение рабочего фольклора шло в общем русле исследований по поэтическому творчеству народов СССР. Но возникали и специфические проблемы, служившие предметом обсуждения в печати и на совещаниях. Чтобы скоординировать работу фольклористов в этой области и вести ее в одном направлении, научный Совет по фольклору,

³³ См. «Современное состояние народного творчества. Программа конференции и тезисы докладов», Л., 1970.

³⁴ «Современный русский фольклор» (отв. ред. Э. В. Померанцева), М., 1966.

³⁵ «Традиционный фольклор Владимирской деревни (в записях 1963—1969 гг.)» (отв. ред. Э. В. Померанцева), М., 1972.

³⁶ О работе бригады см.: А. Астахова, З. Эвальд, Работа бригады ИПИИ по собиранию и изучению фольклора рабочей среды, СЭ, 1932, № 2; А. М. Астахова, П. Г. Ширяева, Старая рабочая песня, СЭ, 1934, № 1—2; П. Г. Ширяева, Из материалов по истории рабочего фольклора, «Сов. фольклор», № 2—3, М.—Л., 1935.

³⁷ Некоторые из этих материалов использованы в исследовании: В. И. Чичеров, Песни и стихи пролетариата в период массового рабочего революционного движения (1890—1907 гг.), в кн.: «Русское народно-поэтическое творчество», ТИЭ, т. XX, М., 1953.

Институт русской литературы и Уральский государственный университет провели в 1963 г. в Свердловске научную конференцию по рабочему фольклору, на которой рассматривались теоретические вопросы изучения устно-поэтического творчества рабочих, специфика и история его жанров³⁸.

Принципиальный интерес представляет ведущееся в Институте этнографии изучение рабочего фольклора в комплексе с исследованием культуры и быта рабочих в целом. При этом фольклор выступает как один из элементов культуры, выясняется его значение и место в быту и общественной жизни рабочего коллектива. Так рассматривает рабочий фольклор Н. С. Полищук в называвшейся уже монографии о рабочих Нижнего Тагила. Ею же начата работа по выяснению места и роли фольклора в духовной культуре рабочих-текстильщиков Центрального промышленного района.

Значительных успехов фольклористы, работающие в системе АН СССР, достигли в исследованиях традиционного фольклора, развивавшихся после революции на новой теоретической основе.

Разработка теории фольклора, обстоятельные монографии, посвященные отдельным фольклорным жанрам, в том числе ранее почти не изучавшимся, в какой-то мере стимулировали аналогичные исследования в союзных и автономных республиках и областях. В современных работах фольклорные жанры рассматриваются в историческом развитии и взаимодействии; основное внимание уделяется выяснению их специфики, идейно-художественным особенностям. В исследованиях по отдельным жанрам или на их основе ставились и разрешались важные теоретические проблемы: отношение фольклора к действительности и специфика ее отображения в разных жанрах, методика сравнительно-исторического изучения фольклора, принципы классификации и др.

Особенно много трудов посвящено эпосу, что обусловлено его огромным историческим и художественным значением. В исследовании эпоса, особенно русских былин, академическая фольклористика достигла больших результатов еще до революции. Советские фольклористы опирались на богатую традицию, преодолевая при этом как отдельные не соответствующие марксизму-ленинизму концепции, имевшиеся в трудах дореволюционных ученых, так и неверные суждения, высказывавшиеся в советской фольклористике (теория аристократического происхождения русских былин, распространенная в конце 20-х начале 30-х годов; огульное отрицание отдельных эпических сказаний народов СССР как антинародных или, наоборот, идеализация их и пр.). Особые проблемы и трудности возникли при подготовке серии «Эпос народов СССР» (отбор вариантов, принципы научного перевода и пр.). Поэтому именно эпосу было посвящено много совещаний, всесоюзных и региональных: Всесоюзное совещание по вопросам изучения исторического эпоса восточных славян (Киев, 1955)³⁹, два совещания по нартскому эпосу народов Кавказа (Орджоникидзе, 1956 и Сухуми, 1963)⁴⁰, по «Алпамышу» (Ташкент, 1956)⁴¹, в 1973 г. в Улан-Удэ прошла конференция «Эпическое

³⁸ См. Н. С. Полищук, Научная конференция по рабочему фольклору, СЭ, 1963, № 5. Материалы совещания послужили основой книги «Устная поэзия рабочих России» (сборник статей под ред. В. Г. Базанова), М.—Л., 1965.

³⁹ См. В. К. Соколов, Совещание по вопросам изучения исторического эпоса восточно-славянских народов, СЭ, 1955, № 4. Материалы совещания опубликованы в кн.: «Основные проблемы эпоса восточных славян», М., 1958.

⁴⁰ «Нартский эпос. Материалы совещания 16—20 октября 1956 г.», Орджоникидзе, 1957; А. Алиева, Всесоюзная конференция, посвященная проблемам изучения нартского эпоса народов Кавказа, «Изв. АН СССР. Серия литературы и языка», т. 23, вып. 2, М., 1964, стр. 174—178.

⁴¹ «Об эпосе „Алпамыш“». Материалы по обсуждению эпоса „Алпамыш“, Ташкент, 1959.

творчество народов Сибири»⁴². Конференции способствовали правильной оценке отдельных эпических памятников, привлекали внимание общественности к ценнейшему художественному наследию.

Записи русских былин, систематически проводившиеся в советское время на Севере в сопоставлении с записями, делавшимися в этих местах раньше, послужили базой для обобщающего труда А. М. Астаховой о жизни былин на Русском Севере. Ею же подведены итоги исследования былин за определенный период и намечены задачи их дальнейшего изучения⁴³. Крупное научное значение имеет обобщающая монография по русскому эпосу В. Я. Проппа⁴⁴. Важное место в исследовании отдельных проблем и сюжетов былин занимают работы В. И. Чичерова, Б. Н. Путилова⁴⁵ и др. Большое теоретическое значение имеют исследования Б. Н. Путилова по сравнительному изучению эпоса славянских народов⁴⁶; в сравнительно типологическом плане ведутся работы по славянскому эпосу и другими исследователями⁴⁷.

Особо следует выделить исследования, в которых раскрывается историческая основа былин, анализируются их связи с разными сторонами быта и культуры древней Руси. Это в первую очередь труды Б. А. Рыбакова⁴⁸, отметившего ряд новых конкретных исторических фактов, получивших отражение в былинах, и Д. С. Лихачева⁴⁹, рассматривающего былины как важнейшую часть древнерусской культуры и давшего анализ некоторых художественных особенностей былин (характер обобщения, «эпическое» время и пр.). В этом же направлении работает Р. С. Липец, прослеживающая отражение в былинах материальной культуры и социальных институтов Киевской Руси⁵⁰, на основе чего делаются заключения о времени сложения былин как жанра. Ею же исследовались связи былин с бытом и хозяйственным укладом последующего времени⁵¹.

Эпос народов Советского Союза, так же как и их фольклор в целом, изучается в основном учеными союзных и автономных республик. Но большая работа в этой области ведется, как уже говорилось, и в Институте мировой литературы. Помимо подготовки серии «Эпос народов

⁴² См.: Б. Н. Путилов, Научная конференция «Эпическое творчество народов Сибири», СЭ, 1974, № 1; «Эпическое творчество народов Сибири (Тезисы докладов научной конференции, Улан-Удэ, 17—20 июля 1973 г.)», Улан-Удэ, 1973.

⁴³ А. М. Астахова, Русский былинный эпос на Севере, Петрозаводск, 1948; е е же, Былины. Итоги и проблемы изучения, М.—Л., 1966.

⁴⁴ В. Я. Пропп, Русский героический эпос, Л., 1955.

⁴⁵ В. Чичеров, Сказители Онего-Каргопольщины и их былины, в кн. «Онежские былины» (Подбор текстов Ю. М. Соколова), М., 1948; «Былины» (Вступит. статья, подготовка текста и примеч. Б. Н. Путилова), Л., 1957; Б. Н. Путилов, Об эпическом подтексте (на материале былин и юнацких песен) в сб. «Славянский фольклор» (отв. ред. Б. Н. Путилов, В. К. Соколова), М., 1972.

⁴⁶ Б. Н. Путилов, Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое исследование, М., 1971.

⁴⁷ См., например: Ю. И. Смирнов, Сходные описания в славянских эпических песнях и их значение, в кн.: «Славянский и балканский фольклор», М., 1971; е го же, О значении славянского фольклора для исследования балканской эпической общности, Там же, и др.

⁴⁸ Б. А. Рыбаков, Древняя Русь. Сказания — былины — летописи, М., 1963.

⁴⁹ Д. С. Лихачев, Летописные известия об Александре Поповиче, «Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР», VII, М.—Л., 1949; е го же, Эпическое время русских былин, в кн.: «Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия. Сб. статей», М., 1952; е го же, Человек в литературе Древней Руси, М.—Л., 1958; е го же, Единичные исторические факты и художественное обобщение в русских былинах, в кн.: «Славяне и Русь. Сб. статей к 60-летию академика Б. А. Рыбакова», М., 1968, и др.

⁵⁰ Р. С. Липец, Эпос и древняя Русь, М., 1969; Р. С. Липец, М. Г. Рабинович, К вопросу о времени сложения былин (вооружение богатырей), СЭ, 1960, № 4.

⁵¹ Р. С. Липец, Былины у промыслового населения Русского Севера XIX — начала XX века, в кн.: «Славянский фольклор», ТИЭ, т. XIII, М., 1951.

СССР» издан ряд монографий по эпосам отдельных народов СССР⁵² и некоторых зарубежных, прежде всего славянских народов⁵³, исследуются также проблемы происхождения эпоса и его ранние формы⁵⁴. В работах этнографов эпос рассматривается и как историко-этнографический источник⁵⁵.

Развивалось и изучение исторических песен. Дореволюционных исследователей они интересовали меньше, чем былины, их внимание привлекал более архаический эпос. Советские же фольклористы подчеркнули значение исторических песен как произведений, показывающих отношение народа к разным историческим событиям и лицам. Естественно, что они обратились прежде всего к песням, выражавшим социальный протест, — к песням о восстаниях Разина и Пугачева⁵⁶. Первые созданы и обобщающие труды по русским историческим песням⁵⁷.

По существу только в советский период стали изучаться народные баллады. Здесь пришлось искать критерии, по которым баллады можно выделить как особый жанр, выяснить их связи с эпосом и лирикой и пр. Начало серьезному исследованию баллад положил Н. П. Андреев⁵⁸. В последнее время баллады привлекают все больше внимания, что связано и с тем интересом, который проявляется к ним в зарубежной фольклористике. Особенно много для выяснения генезиса и специфики баллад дает их сравнительное изучение⁵⁹.

Новые задачи встали и перед исследователями народной лирики: классификация песен, определение художественных особенностей их отдельных видов, создание каталога песенных мотивов. Обобщающие работы по русским лирическим песням принадлежат Н. П. Колпаковой⁶⁰. Она же в подготовленном ею издании свадебных песен и причетов (из записей 1920—1960 гг., хранящихся в фольклорном архиве ИРЛИ), дала анализ художественных особенностей свадебной лирики⁶¹. Причетам в целом — свадебным, похоронным, рекрутским — посвящены труды К. В. Чистова. Особенно обстоятельно изучено им твор-

⁵² В. М. Жирмунский, Сказание об «Алпамыше» и богатырская сказка, М., 1960; И. В. Пухов, Якутский эпос Олонхо, М., 1962; Б. П. Кирдан, Украинские народные думы, М., 1962; его же, Украинский народный эпос, М., 1965; В. М. Гацак, Восточнороманский героический эпос. Исследование и тексты, М., 1967; У. Б. Далгат, Героический эпос чеченцев и ингушей, М., 1972.

⁵³ Н. И. Кравцов, Сербский эпос и история. СЭ, 1948, № 3; см. также: его же, Проблемы славянского фольклора, М., 1972; «Сербский эпос» (составление, вступит. статья и комментарии Н. И. Кравцова), т. I—II, М., 1960 и другие его работы; «Эпос сербского народа» (серия «Литературные памятники», издание подготовил И. Н. Голенищев-Кутузов), М., 1963, и др.

⁵⁴ Е. М. Мелетинский, Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники, М., 1963; его же, «Эдда» и ранние формы эпоса, М., 1968.

⁵⁵ См., например, Т. А. Жданко, Каракалпакская эпическая поэма «Кырк-Кыз» как историко-этнографический источник, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР» (КСИЭ), XXX, М., 1958.

⁵⁶ «Песни и сказания о Разине и Пугачеве» (вступит. статья, ред. и примечания А. Н. Лозановой), М.—Л., 1935 и другие работы А. Н. Лозановой; «Русские народные песни о крестьянских войнах и восстаниях (составители Б. М. Добровольский и А. Д. Соимонов, вступит. статья А. Н. Лозановой), М.—Л., 1965; Б. Н. Путилов, К вопросу о составе разинского песенного цикла, «Русский фольклор», VI, М.—Л., 1961.

⁵⁷ Б. Н. Путилов, Русский историко-песенный фольклор XIII—XVI веков, М.—Л., 1960; В. К. Соколова, Русские исторические песни XVI—XVIII веков, ТИЭ, LXI, М., 1960.

⁵⁸ См. его вступит. статью к сб. «Русская баллада» (предисловие, ред. и примеч. В. И. Чернышева), М.—Л., 1936.

⁵⁹ См.: Д. М. Балашов, История развития жанра русской баллады, Петрозаводск, 1966; Б. Н. Путилов, Славянская историческая баллада, М.—Л., 1965; Н. И. Кравцов, Славянская народная баллада, в его кн. «Проблемы славянского фольклора».

⁶⁰ Н. П. Колпакова, Русская народная бытовая песня, М.—Л., 1962 и другие работы.

⁶¹ «Лирика русской свадьбы» (серия «Литературные памятники», издание подготовила Н. П. Колпакова), Л., 1973.

чество прославленной русской вопленицы И. А. Федосовой⁶². Интересные наблюдения над бытованием причетов в период Великой Отечественной войны и их особенностями сделаны В. Г. Базановым⁶³.

Новый подход к изучению обрядов и обрядового фольклора наметился в обобщающих трудах В. И. Чичерова и В. Я. Проппа⁶⁴, явившихся несомненным достижением советской фольклористики и этнографии. А. М. Астахова обратила внимание на значение исследования заговоров⁶⁵.

После революции было издано много сборников сказок, дающих представление о сказочной традиции отдельных районов и творчестве крупных сказочников. Накопленные материалы сделали возможным появление обобщающих работ. Пути развития русской сказки и особенности ее на разных исторических этапах прослежены в монографии Э. В. Померанцевой⁶⁶. Изучению истории русской сказки очень помогают подготовленные к печати Н. В. Новиковым и снабженные его обстоятельными статьями и комментариями, тексты сказок из рукописных сборников и малодоступных изданий XVI — начала XIX в., им же закончено сравнительно-историческое исследование образов волшебных сказок у восточнославянских народов⁶⁷. При историческом изучении сказок естественно встал вопрос и об их генезисе. Решить его на основе только русских сказок нельзя, для этого нужно привлечь сказки других народов, сохранившие более архаические черты. Это и сделано Е. М. Мелетинским в работе о происхождении образа героя волшебной сказки⁶⁸. Из теоретических работ по сказке большое значение имеет труд В. Я. Проппа⁶⁹.

Изучение народной прозы не ограничивается сказками, а охватывает и жанры несказочной прозы. В последние годы все больший интерес вызывают предания и легенды, по которым впервые появились обобщающие исследования В. К. Соколовой и К. В. Чистова⁷⁰. В этих монографиях сделаны и попытки классификации сюжетов и мотивов разбираемых преданий и легенд. Специально проблемой классификации преданий много занимался С. Н. Азбелев⁷¹. Эта работа идет в одном русле с исследованиями зарубежных фольклористов и направлена на решение общей задачи — создание международного каталога преданий.

Интерес представляют и работы этнографов, использующих легенды и исторические предания для изучения этнокультурных связей народа

⁶² К. В. Чистов, Народная поэссса И. А. Федосова. Очерк жизни и творчества, Петрозаводск, 1955; его же, Ирина Федосова как выразитель крестьянского мировоззрения пореформенного периода, в кн.: «Русское народно-поэтическое творчество», ТИЭ, XX, М., 1953; «Причитания» (серия «Б-ка поэта», вступит. статья и примеч. К. В. Чистова), М. — Л., 1960.

⁶³ «Русская народно-бытовая лирика. Причитания Севера в записях В. Г. Базанова и А. П. Разумовой» (вступит. статья и комментарии В. Г. Базанова), М. — Л., 1962.

⁶⁴ В. И. Чичеров, Зимний период русского земледельческого календаря XVI — XIX веков (Очерки из истории народных верований), ТИЭ, XL, М., 1957; В. Я. Пропп, Русские аграрные праздники, Л., 1963.

⁶⁵ А. М. Астахова, Художественный образ и мировоззренческий элемент в русских заговорах. Доклад на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, М., 1964.

⁶⁶ Э. В. Померанцева, Судьбы русской сказки, М., 1965.

⁶⁷ См.: «Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века», Л., 1961; «Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI—XVIII вв.)», Л., 1971; «Образы восточнославянской волшебной сказки», Л., 1974.

⁶⁸ Е. М. Мелетинский, Герой волшебной сказки. Происхождение образа, М., 1958.

⁶⁹ В. Я. Пропп, Морфология сказки, Изд. 2-е, М., 1969.

⁷⁰ В. К. Соколова, Русские исторические предания, М., 1971; К. В. Чистов, Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв., М., 1967.

⁷¹ С. Н. Азбелев, Отношение предания, легенды и сказки к действительности (с точки зрения разграничения жанров), «Славянский фольклор и историческая действительность», М., 1965, его же, Проблемы международной систематизации преданий и легенд, «Русский фольклор», X, М. — Л., 1966, и др.

и древних религиозных верований⁷². Русским народным рассказам («быличкам») о мифологических персонажах, имеющим также большое значение при исследовании религиозных представлений в прошлом, посвящено исследование Э. В. Померанцевой.

Особенности отдельных жанров, задачи и приемы их изучения обсуждались на многих совещаниях. О конференциях по эпическим жанрам уже было сказано выше. В 1961 г. в Горьком была проведена научная конференция «Специфика жанров русского фольклора», где обсуждались как общие принципы определения жанра (доклад В. Я. Проппа), так и характер разных жанров⁷³.

Конференция «Русский песенный фольклор Поволжья» (Саратов, 1960 г.) была специально посвящена песенным жанрам, на ней обсуждался вопрос и о классификации песен (доклад Н. П. Колпаковой)⁷⁴. Об особенностях фольклора (преимущественно песенного) донского казачества и его жанровом составе говорилось на научной конференции в Ростове-на-Дону (1961)⁷⁵. В 1974 г. должна быть проведена в Минске конференция по народной прозе.

Специфике фольклорных жанров посвящен десятый выпуск «Русского фольклора»; эта же проблема на материале разных народов ставится в сборнике, подготовленном Институтом мировой литературы⁷⁶, отдельные жанры русского и славянского фольклора рассматриваются в сборниках «Славянский фольклор», изданных Институтом этнографии (1965 и 1971 гг.).

Можно сказать, что проблема жанров, их генезиса, развития и взаимосвязей — одна из кардинальных проблем современной фольклористики. Она ставится в том или ином плане в большинстве работ и изучается в теоретическом аспекте. Принципы общей классификации жанров разрабатывались В. Я. Проппом⁷⁷ и К. В. Чистовым⁷⁸. На совещании в Ленинграде по проблеме связей литературы с фольклором Н. И. Кравцов выступил с докладом, в котором рассматривал жанры русского фольклора как систему⁷⁹.

При исследованиях разного рода перед фольклористами возникали и специально ими обсуждались сложные теоретические проблемы.

Одна из таких проблем — соотношение фольклора и истории. В исследованиях русских былин особенно отчетливо выявилось разное понимание характера их историзма. Так как этот вопрос имеет существенное значение для изучения эпоса (и ряда других жанров) всех советских народов, в 1964 г. была проведена всесоюзная конференция «Проблемы историзма фольклора»⁸⁰, основой которой послужило обсуждение работ по русскому эпосу Б. А. Рыбакова и В. Я. Проппа.

⁷² Помимо указанных выше трудов Г. М. Василевич и Б. О. Долгих, можно назвать: Г. П. Снесарев, Три хорезмийские легенды в свете демонологических представлений, СЭ, 1973, № 1; Л. С. Толстова, Древние мотивы в фольклоре узбеков Южного Хорезма (по материалам полевых исследований), СЭ, 1973, № 2, и др.

⁷³ См.: Н. Полищук, Научная конференция, посвященная специфике жанров русского фольклора, СЭ, 1961, № 5; «Специфика жанров русского фольклора» (тезисы докладов), Горький, 1961.

⁷⁴ См. А. М. Астахова, Научная конференция «Русский песенный фольклор Поволжья», в кн.: «Русская народная поэзия. Фольклористические записки Горьковского гос. университета», № 1, Горький, 1961.

⁷⁵ См. С. И. Дмитриева, Научная конференция по народному творчеству донского казачества, СЭ, 1962, № 4. Материалы конференции опубликованы в сборнике «Народная устная поэзия Дона», Ростов-на-Дону, 1963.

⁷⁶ «Специфика фольклорных жанров», М., 1973.

⁷⁷ В. Я. Пропп, Принципы классификации фольклорных жанров, СЭ, 1964, № 4.
⁷⁸ К. В. Чистов, К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы, М., 1964, и др.

⁷⁹ См. «Система жанров русского фольклора», в кн. Н. И. Кравцов, Проблемы славянского фольклора.

⁸⁰ См. Н. Кидайш-Покровская, Конференция «Проблемы историзма фольклора», «Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка», т. XXIII, 1964, вып. 5.

Вопрос об историзме фольклора — часть важнейшей проблемы фольклористики — отношения фольклора к реальной действительности и принципов ее отображения в разных жанрах. Это остается одним из основных критериев для определения специфики жанров и их разграничения. Специально этой проблеме посвящены сборники, подготовленные Институтом мировой литературы⁸¹ и Институтом этнографии⁸².

Проблемы теории фольклора и методы его исследования специально обсуждались на Всесоюзных совещаниях по проблемам современной фольклористики (Ленинград, 1958)⁸³ и по основным направлениям в изучении фольклора (Москва, 1971). Особое внимание привлек сравнительно-исторический метод. И это понятно, без сравнительно-исторического изучения нельзя до конца уяснить многие явления фольклора и установить закономерности его развития. Между тем, справедливо критикуя методологические недостатки прежних компаративистских исследований, наши фольклористы одно время просто отказывались от его применения. Новая методика сравнительно-исторического изучения фольклора была разработана В. М. Жирмунским в докладе на IV Международном конгрессе славистов (Москва, 1958)⁸⁴, в ряде его выступлений и работ. Им четко были разграничены историко-генетический и историко-типологический типы сравнения, объясняющие разные исторически сложившиеся типы фольклорных связей. Эта методика применяется и совершенствуется в исследованиях последних лет (например, в указанных трудах по славянскому эпосу и балладам Б. Н. Путилова, Н. И. Кравцова, Ю. И. Смирнова и др.). Б. Н. Путилов подготовил теоретическую монографию «Методология историко-сравнительного изучения фольклора»⁸⁵. Результаты теоретических и методологических поисков и разработок обобщены В. Е. Гусевым⁸⁶. Им рассмотрены все основные проблемы современной фольклористики: социальная природа фольклора, отношение его к действительности, фольклор как факт народной культуры, коллективность, художественный метод, классификация фольклорных произведений. К сожалению, это пока единственный общий труд по теории фольклора и дальнейшая углубленная разработка выдвинутых проблем остается одной из первоочередных задач фольклористов. Важное место в разработке теории фольклора принадлежит П. Г. Богатыреву⁸⁷. Характеризуя фольклор, как особую форму творчества, он рассматривает и его основные свойства (коллективность и пр.), виды и границы импровизации, выделяет доминантные функции разных жанров, связи разных видов народного искусства и пр.

Необходимость критического отношения к фольклорным текстам при их издании и исследовании заставила обратиться к разработке научной текстологии фольклора в целом и отдельных его жанров⁸⁸.

⁸¹ «Вопросы народно-поэтического творчества. Проблемы соотношения фольклора с действительностью», М., 1960.

⁸² «Славянский фольклор и историческая действительность», М., 1965.

⁸³ См.: А. М. Астахова, Всесоюзное совещание фольклористов, СЭ, 1959, № 3; О. Б. Алексеева, Всесоюзное совещание фольклористов, «Русский фольклор», IV, М.—Л., 1959.

⁸⁴ См. в кн.: В. М. Жирмунский, Народный героический эпос, М.—Л., 1962.

⁸⁵ См. также Ю. И. Смирнов, Схождения между славянскими эпосами и метод исследования, в кн.: «Межславянские культурные связи», М., 1971.

⁸⁶ В. Е. Гусев, Эстетика фольклора, Л., 1967.

⁸⁷ П. Г. Богатырев, Вопросы теории народного искусства, М., 1971.

⁸⁸ Помимо указанного сборника по текстологии эпоса см.: К. В. Чистов, Современные проблемы текстологии русского фольклора. Доклад на заседании эдиционно-текстологической комиссии V Международного съезда славистов, М., 1963; его же, Реконструкция текста и проблемы текстологии преданий, в кн.: «Текстология славянских литератур», Л., 1973; Б. Н. Путилов, Современная фольклористика и проблемы текстологии, «Русская литература», 1963, № 4; его же, Вопросы текстологии произведений русского фольклора, в сб.: «Издание классической литературы. Из опыта «Библио-

Говоря о роли центральных институтов АН СССР в развитии основных направлений фольклористики нельзя не упомянуть хотя бы очень кратко о работах по истории русской фольклористики, которые стимулировали историографические исследования в союзных и автономных республиках. Здесь прежде всего должен быть назван известный труд М. К. Азадовского⁸⁹, в котором дана новая периодизация истории русской фольклористики. М. К. Азадовский первый указал на принципиальное значение для исследования фольклора высказываний А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Вслед за ним изучение революционно-демократического направления развернулось достаточно широко; особенно много и успешно в этом направлении работал В. Е. Гусев, который рассмотрел также значение для фольклористики трудов первых русских марксистов⁹⁰. Деятельность отдельных фольклористов и научных обществ рассмотрена в ряде статей издаваемых Институтом этнографии сборников «Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии» (отв. редактор Р. С. Липец), часть их основана на архивных материалах, впервые вводимых в научный оборот.

Своеобразным смотрам советской фольклористики за истекший период, ее достижений и имеющихся еще пробелов явилась конференция «Проблемы теории фольклора» (Тбилиси, 1972), посвященная 50-летию образования СССР. Доклады на конференции охватили всю основную проблематику современных фольклорных исследований⁹¹. Материалы конференции подготовлены к печати Научным советом по фольклору.

Сделанный обзор далеко не полон, он не охватывает всех работ фольклористов, работающих в академических институтах. Не было возможности перечислить и все издания материалов. Так, не названы вышедшие тома серии «Сказки и мифы народов Востока» (председатель редколлегии Д. А. Ольдерогге), которая имеет большое научное и общественное значение. В статье указаны лишь основные направления фольклористических исследований в АН СССР и труды обобщающего характера, имеющие теоретическое значение. Но из этого краткого обзора можно видеть, какая широкая и многообразная работа проводится Академией наук СССР по изучению народного поэтического творчества.

FOLKLORE STUDIES IN THE ACADEMY OF SCIENCES

The article deals with the role of institutions belonging to the USSR Academy of Sciences in the development of Soviet folklore studies. A brief description is given of the main lines of folklore research that is being carried on in the corresponding sectors of the Academy's institutes: the N. N. Miklukho-Maclay Institute of Ethnography, the Institute of Russian Literature («Pushkin House») and the A. M. Gorki Institute of World Literature. An enumeration is given of those general works summarizing individual problems and genres that have had a certain influence over the development of folklore studies in the Union and Autonomous republics. The role played by all-Union and regional conferences on folklore study problems is also noted: such conferences are organized by the Folklore Research Council attached to the Literature and Language Department of the USSR Academy of Sciences together with the institutes of the all-Union and Republican Science Academies.

теки поэта», М., 1963. Институт русской литературы посвятил проблемам фольклорной текстологии специальный сборник: «Принципы текстологического изучения фольклора», М.—Л., 1966.

⁸⁹ М. К. Азадовский, История русской фольклористики, т. 1, М., 1958; т. 2, М., 1963.

⁹⁰ В. Е. Гусев, Марксизм и русская фольклористика конца XIX — начала XX в., М.—Л., 1961.

⁹¹ См. А. И. Кузьмин, Всесоюзная научная конференция «Проблемы теории фольклора», «Изв. АН СССР. Серия литературы и языка», 1973, вып. 2.

О. А. Ганцкая

ЭТНОС И СЕМЬЯ В СССР

В Советском Союзе проблемы современной семьи входят в сферы исследований как общественных, так и естественных наук. Конкретные задачи исследований нередко определяют их главный аспект: этнический, социальный, демографический, экономический, медицинский и пр. Однако многие проблемы современной семьи требуют одновременного изучения в нескольких аспектах. К ним относятся этносоциальные и этнодемографические проблемы советской семьи, разрабатываемые сотрудниками Института этнографии АН СССР и других научных учреждений в плане исследований этнического развития населения страны¹.

Современная семья — явление стадияльное, порожденное социальным и культурным развитием человечества. Как социальная микроструктура семья входит в основные системы отношений и связей: общественно-экономическую, государственную, правовую, этническую и др. Внутрисемейные отношения (муж — жена, отец — дети, мать — дети, дети — дети и др.) и отношения семьи с другими социальными институтами регулируются закономерностями, присущими этим системам. Будучи социальным институтом определенного этноса, семья активно участвует в социализации молодежи, и в частности в формировании ее национального самосознания.

В условиях преобладания эндогамии этносов в границах их компактного расселения семья воспроизводит каждый из них². У народов, сохранявших до недавнего времени пережитки племенного деления (например, у туркмен), браки между представителями различных групп, которые в прошлом были эндогамными, свидетельствуют о национальной консолидации, о преодолении племенного самосознания и торжестве самосознания национального.

В этноконтактных зонах (области этнических границ, крупные города, районы инонациональных вкраплений и др.) создаются смешанные семьи, являющиеся микросредой процессов интеграции и естественной ассимиляции. Известно, однако, что этнические процессы протекают и вне сферы национально-смешанной брачности, охватывая также однонациональные семьи, отражаясь в системе внутрисемейных отношений, традиций, обычаев и т. п. Под воздействием социально-экономических факторов, этноконтактов и культурных взаимовлияний (непосредственных и опосредованных) происходят консолидация компонентов одного народа или близкородственных народов, естественная ассимиляция, ин-

¹ В статье делается попытка суммировать некоторые материалы по этносоциальным и этнодемографическим проблемам современной советской семьи. В ней использованы данные теоретических и методических разработок, а также ряда публикаций. См., например, публикации, указанные в сборнике «Аннотированная библиография работ по проблемам семьи в СССР (1957—1971)», вып. I—II, М., 1972; см. также «Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований по материалам Татарской АССР», М., 1973, стр. 149—229, и др.

² См. об этом: Ю. В. Бромлей, Этнос и эндогамия, «Сов. этнография», 1969, № 6; его же, Этнос и этнография, М., 1973, стр. 114—127.

теграция разнонационального населения определенных историко-культурных областей, общий процесс интеграции советского народа.

Исследуя отражение этих процессов в семейном быту, приходится учитывать, что в прошлом в каждой историко-культурной области у народов одной и той же социально-экономической формации и одинакового вероисповедания складывались общие основы брачно-семейных отношений. Более того, зависимость этих отношений от уровня социально-экономического развития и вероисповедания привела к бытованию одних и тех же или сходных форм семьи и брака у народов неродственных, не находящихся в непосредственном контакте, живущих в разных историко-культурных областях.

Наблюдаемые сходные черты брачно-семейных отношений не исключают наличия у них этнической специфики, присущей народу или группе родственных народов. Семья до сих пор остается носителем своеобразных этнических черт. К ним относятся, например, некоторые особенности семейных обычаев, в том числе этикета, обрядов, взаимоотношений между членами семьи и др.³ В то же время в семьях всех национальностей прослеживаются общие доминанты, характерные для интеграции советского народа.

В СССР в процессе социально-экономических и культурных преобразований созданы условия для широкого знакомства и общения молодежи, для свободы брачного выбора вне зависимости от национальности, социального положения и т. п. Принуждение к браку карается законом, охраняющим права брачащихся. В семье эти права основаны на фактической (для работающих) или потенциальной (например, для учащихся) экономической независимости ее взрослых членов.

Для большинства народов Советского Союза выявляется разная степень влияния территориального фактора (места рождения и жительства) на контакты молодежи в городе и деревне. В сельских поселениях юноши и девушки знакомы с детства, здесь сильнее соседские и родственные связи. Родители, как правило, хорошо знают избранников своих взрослых детей и чаще, чем в городе, пытаются вмешаться в их взаимоотношения. Сельская молодежь работает обычно там же, где живет (за исключением части молодежи пригородных деревень, работающей в городе, студентов). Можно сказать, что территориальный фактор в сельских местностях влияет на контакты юношей и девушек так же, как и производственный (во время работы).

В городах территориальный фактор имеет для контактов молодежи несколько меньшее значение, чем в селах. Городская молодежь в повседневной жизни более всего сближается на работе или во время учебы. В этом сближении большую роль играет общность интересов. Неслучайно поэтому в городах в браки нередко вступают люди одной профессии, люди, работающие вместе, или студенты одного и того же учебного заведения.

Вне зависимости от места жительства и работы происходит знакомство и сближение молодежи (и городской, и сельской) во время отпусков и в часы досуга. Отчасти поэтому значительное число браков заключается между людьми разных профессий и даже между жителями разных городов и сельских поселений.

Во взаимоотношениях молодежи до брака прослеживается специфика по историко-культурным областям. Так, в Европейской историко-культурной области у многих народов в общении молодежи замечается более свободное, чем в других регионах, внешнее проявление любви, дружбы, привязанности. Этикет ухаживания допускает проявление неж-

³ О. А. Ганцкая, Л. Н. Терентьева, Этнос и семья в СССР, IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Чикаго, сентябрь, 1973). Доклады советской делегации, М., 1973, стр. 1—2.

ности при родных, знакомых и даже в присутствии посторонних людей, в общественных местах, на улице. Открытое ухаживание не компрометирует девушку и в том случае, если по каким-либо причинам брак не состоялся.

В других историко-культурных областях — Кавказ, Средняя Азия, Сибирь — этикет ухаживания коренного населения предписывает большую сдержанность. В известной степени в этом сказалось влияние традиций, восходящих к архаичным формам социальной организации, к таким, как патриархальная сегрегация полов, избегание и связанная с этим необходимость скрывать истинные взаимоотношения и намерения. У народов, исповедовавших ислам, некоторые правила поведения молодежи сложились под воздействием религиозных запретов. Так, например, в сельских районах Средней Азии до сих пор еще во время отдыха и развлечений (в кино, клубе, на праздничных гуляньях и пр.) юноши и девушки держатся несколько обособленно друг от друга, что является, по-видимому, пережитком былой изоляции женщин. Однако в сознании самой молодежи этот пережиток старого обычая никак не осмысливается и не связывается с религией. Любопытно, что с ростом грамотности у среднеазиатских народов распространилось эпистолярное объяснение в любви, причем и в тех случаях, если молодые люди живут по соседству и постоянно встречаются⁴.

На Кавказе, особенно в сельских районах, влюбленные стараются не проявить своего чувства на людях. Открытое ухаживание (совместное посещение кино, клуба и т. д.) без последующей женитьбы многими считается там оскорбительным для девушки. В то же время родители девушки-невесты по возможности создают в своем доме условия для знакомства с нею юношей (например, у адыгейцев). Если позволяют условия, они отводят дочери отдельную комнату, где ее могут посещать юноши в присутствии ее сестры или подруги (родители туда не входят). Став женихом, юноша приходит к девушке по вечерам в сопровождении друзей. Важную роль в общении жениха и невесты нередко еще играет «посредник»; его отношение к невесте определяется обычаем побра- тимства⁵.

Как показывают этнографические наблюдения, этнорегиональная специфика во взаимоотношениях молодежи до брака, и в частности в этикете ухаживания, сильнее, чем в крупных городах, проявляется в небольших городских поселениях и в сельских местностях. Интересно, например, что сдержанность в проявлении чувств, в ухаживании при посторонних, особенно характерная для сельской молодежи Кавказа, Средней Азии и Казахстана, отчасти утрачивается теми, кто приезжает оттуда учиться или работать в крупные индустриальные города иных этнорегионов, такие, как Москва, Ленинград, Новосибирск, Киев, Минск и пр. Однако, возвратившись в родные селения, молодые люди считают себя обязанными хотя бы внешне придерживаться местных обычаев, в чем сказывается влияние этнической и социальной среды. Юноши и девушки, оставшиеся жить в крупных городах, постепенно воспринимают (адоптируют) новые для них правила поведения молодежи. Подобная адаптация — одно из проявлений интеграции разнонациональной молодежи больших городов.

Закономерности развития новых брачно-семейных отношений в СССР прослеживаются в изменении показателей брачного возраста (минимального, преобладающего, среднего), весьма различавшегося в прошлом не только по историко-культурным областям, но и у отдельных

⁴ С. М. Абрамзон, Семья и семейный быт, глава в кн. «Быт колхозников киргизских селений Дархан и Чичкан», М., 1958, стр. 240.

⁵ Э. Л. Коджесау, М. А. Меретуков, Семейный и общественный быт. «Культура и быт колхозного крестьянства Адыгейской автономной области», М.—Л., 1964, стр. 137.

народов такой области. Общая тенденция, выявляющаяся в процессе интеграции советского народа, — это выравнивание брачного возраста с постепенным его повышением в одних районах (например, в Поволжье, в Средней Азии и Казахстане, на Кавказе, в Сибири) и понижением в других (известно, что особенно высоким был брачный возраст в Прибалтике) ⁶.

Общим явлением в брачно-семейных отношениях всех народов Советского Союза стало решение вопроса о вступлении в брак самой молодежью (некоторые различия по возрастным группам наблюдаются в мотивациях брака).

Было бы ошибкой считать, что современной молодежи вовсе чужд разумный практицизм. Потенциальная возможность начать семейную жизнь с таким партнером, с каким не будешь иметь жилищных и материальных затруднений, кажется привлекательной многим юношам и девушкам в любой национальной и социальной среде. Однако в реальной жизненной ситуации отсутствие этой возможности обычно не служит серьезным препятствием для заключения брака, так как главным является взаимная любовь, а не расчет ⁷.

И родителям, и самой молодежи представляется идеальным брачным партнером тот, кто имеет уже специальность или будет обладать ею в перспективе. Очень высоко оценивается среднее специальное и высшее образование, и не только потому, что оно дает в данный момент хороший заработок. Это прежде всего вопрос престижа и надежд на будущее.

Вступая в брак, каждый человек, независимо от возраста, осознанно или подсознательно, считает своего партнера способным помочь ему в жизни, поддержать на пути к осуществлению поставленных целей, выражающих его ценностную ориентацию (получить образование, добиться успехов в труде, воспитать детей, создать уют в доме, организовать досуг и т. п.). Представление о таком идеальном партнере — это один из факторов брачного выбора. Для молодежи другим фактором является пример родителей, положительный или отрицательный. В первом случае нередко подсознательно стремятся к партнеру, похожему на отца или мать, во втором наблюдается обратное явление.

Известно, что для одних людей характерно стремление к гомогамии (поиски партнера со сходными психологическими и социальными чертами), для других — к гетерогамии (поиски партнера с иными психологическими и социальными особенностями) ⁸. Пожалуй, не менее часто, чем люди, подобные друг другу, в брак вступают люди с разным темпераментом, разными психологическими особенностями, как, например, экстраверты (как бы обращенные вовне) и интраверты (обращенные вовнутрь), сангвиники и холерики и т. п. ⁹ В благоприятной жизненной ситуации они нередко как бы дополняют друг друга, и даже возникаю-

⁶ А. И. Вишняускайте, Семейный быт литовских колхозников, в сб. «Семья и семейный быт колхозников Прибалтики», М., 1962, стр. 30; Л. Н. Терентьева, Семейный быт латышских крестьян, Там же, стр. 81; А. А. Лутс, Некоторые вопросы современной семьи и брака в прибрежных районах юго-западной Эстонии, Там же, стр. 99; Я. С. Смирнова, Изменение брачного возраста у народов Северного Кавказа за годы Советской власти, «Сов. этнография», 1973, № 1; «Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований по материалам Татарской АССР», стр. 194, и др.

⁷ По подсчетам А. Г. Харчева, в Ленинграде, например, из 500 опрошенных брачных пар 76,2% главным условием прочного брака считали любовь или любовь и общность взглядов, см. А. Г. Харчев, Брак и семья в СССР, М., 1964, стр. 179.

⁸ Общие положения о функциях семьи, удовлетворяемых браком потребностях, мотивациях брака и факторах выбора партнера см.: Ян Щепаньский, Элементарные понятия социологии, М., 1969, стр. 139, 141—147; Н. Г. Юркевич, Роль советского семейного права в укреплении семьи, в кн. «Социальные исследования», вып. 7 — Методологические проблемы быта, М., 1971, стр. 85—93.

⁹ В. Леви, Я и мы, М., 1969, стр. 66, 76, 266.

щие между ними несогласия отнюдь не всегда приводят к болезненным конфликтам. В семейной жизни, иногда в самом ее начале, но обычно в дальнейшем, к несовместимости супругов могут привести, кроме физиологического несоответствия, аномалий и крайних «враждебных» выражений разных психологических черт, интеллектуальная дисгармония, резкая противоположность ценностных ориентаций, т. е. факторы социальные, хотя и взаимосвязанные с психологическими.

Большой интерес представляет проблема этнопсихологических особенностей в суждениях о лучшем брачном партнере. Эта проблема еще мало исследована, однако, основываясь на некоторых этнографических наблюдениях, можно сказать, что у разных народов или их групп в этом суждении есть какие-то доминирующие «оценочные» критерии. Так, например, у народов Кавказа положительными чертами характера и поведения девушки-невесты считаются подчеркнутая гордость, сдержанность, скромность, почтительность к старшим. Юноша-жених должен обладать теми же качествами, не проявлять своих чувств при посторонних, быть смелым и мужественным. Некогда сложившиеся представления народа или группы народов о качествах идеального жениха и невесты до сих пор оказывают некоторое влияние на брачный выбор. Это не означает, конечно, что в брачном выборе не играют роли индивидуальность, темперамент, психологические свойства личности. Речь идет только о преобладании определенных критериев оценки, возникающих в процессе этнической и культурной интеграции народов данной историко-культурной области, под воздействием одних и тех же факторов (социальных, правовых и др.), сходных обычаев в семейном быту, в общественном и семейном этикете.

В СССР возможность вступления в брак определяют для всех народов единые нормы закона и морали. Это способствует интеграции многонационального советского народа. Из брачных обычаев в значительной мере исчезли или исчезают пережиточные формы родовой экзогамии и других ее видов, наблюдавшиеся в недалеком прошлом у народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Сибири (например, запреты браков между односельчанами, побратимами, людьми, находящимися в молочном родстве). Изжиты обычаи левирата и сорората.

На заключение браков, как правило, не оказывают большого влияния ни разное материальное положение родителей брачащихся, ни их (родителей) принадлежность к разным социальным группам. Родители и родственники придают значение прежде всего «перспективности» самих жениха или невесты, зависящей от образования, способностей продвижения на работе, социальной активности, а также личным свойствам характера и поведения (доброта, порядочность, настойчивость и другие положительные черты характера).

В большинстве случаев родители заранее знают о намерениях сына или дочери вступить в брак и бывают знакомы с будущей невестой или женихом, даже если они не живут с ними в одном городе или сельской местности. Если избранник или избранница не нравятся родителям, они высказывают свое отрицательное отношение к возможному браку, но теперь уже последнее слово обычно остается за молодыми.

Одно из важных условий счастливого брака — родство интересов, духовная близость. Они наиболее вероятны и чаще всего действительно возникают между людьми одной социальной среды, равного культурного уровня. Очевидно, именно поэтому, как уже отмечалось, наряду с социально-разнородными браками немало заключается браков социально-однородных, в том числе между людьми одной профессии (например, врачами, художниками, артистами, музыкантами и др.). Родство призвания, трудовых интересов способствует сближению потенциальных брачных партнеров. Работа в определенной отрасли народного хозяйства (завод, фабрика, учреждение и т. п.), науки, искусства нередко опре-

делает сферу повседневного общения людей по трудовым интересам, создает возможности повседневных встреч будущих супругов. Можно предположить, что с ростом социальной однородности советского народа и с повышением требований к браку как союзу духовно близких людей процент социально-однородных браков будет увеличиваться. В то же время действует и постепенно становится все более важной для сближения молодежи разных социальных групп закономерность их культурного выравнивания, обеспечиваемого современным образованием (в школах, техникумах, высших учебных заведениях), а также посещением народных университетов культуры, участием в самодеятельных коллективах и т. п.

Социально-неоднородные браки довольно часто заключаются в сельских поселениях, где нередко совпадает действие факторов проживания и работы в одном и том же селении, одном колхозе или совхозе. Агроном и доярка, колхозник и медицинская сестра, механизатор и учительница и другие социально-неоднородные сочетания в браках там довольно обычны. В городах социально-неоднородные браки распространены более всего среди молодежи крупных промышленных предприятий; на заводе или фабрике молодые люди разных социальных категорий и профессий (инженер, техник, чертежник, квалифицированный и подсобный рабочий) тесно общаются и на работе, и во время отдыха (коллективные поездки за город, молодежные вечера, клубная деятельность и пр.), что способствует их сближению и делает возможными разные варианты супружеских союзов. Имеет значение и то, что на крупных промышленных предприятиях уровень культуры многих квалифицированных рабочих такой же или почти такой, как и технической интеллигенции.

Даже при некоторых различиях в образовании и разной социальной принадлежности брачных партнеров к моменту брака они не ощущают интеллектуальной дисгармонии, так как их культурный уровень примерно одинаков фактически или потенциально может совпасть в перспективе. Но, к сожалению, иногда интеллектуальная дисгармония все же наступает позднее, после нескольких лет супружеской жизни, если один из супругов (нередко по объективным причинам) отстает в культурном развитии от другого (например, жена, обремененная детьми, от мужа-студента или окончившего вуз). В городах такие семьи распадаются чаще, чем в сельских местностях, где супруги теснее связаны экономически и семьи отчасти сохраняют значение хозяйственной ячейки (при наличии подсобного хозяйства). Кроме того, в городе больше возможностей для новых встреч и меньше влияние общественной среды. В настоящее время в степени распространенности социально-неоднородных браков нет больших отличий по народам и историко-культурным областям. Но в Европейской части СССР (особенно в городах) перевес социально-однородных браков несколько более внушителен, чем, скажем, в Средней Азии и на Кавказе, где сказываются еще пережитки былого неравноправия женщин (уровень образования многих мужчин, их социальное положение несколько выше, чем женщин).

Утверждение социалистической системы народного хозяйства, советское законодательство, социальные изменения и культурная революция создали единую для всех народов СССР основу возникновения, формирования и стабилизации новой советской семьи. Общность структуры советской семьи является одним из показателей интеграции многонационального населения СССР. Структура семьи зависит, как известно, от числа и взаимоотношений входящих в нее поколений (по их прямым или боковым родственным связям). В СССР преобладают сейчас супружеские семьи из двух или трех поколений, сохраняющие тесные связи с близкими родственниками (отец, брат, мать, сестра). Значительно меньше семей, не поддерживающих родственных отношений. Нюансы в сте-

пени распространенности пережиточных форм семьи и в отношении окружающих к отделению молодых супругов от родителей объясняются тем, что в дореволюционном прошлом семья в конкретных историко-культурных областях и у отдельных народов находилась как социальный организм на разных стадиях развития.

К важным определителям структуры семьи относится показатель детности. От числа детей в семье зависит в известной мере возможность участия женщины в производстве, ее социальная активность в разные возрастные периоды. В многодетных и малодетных семьях несколько иначе осуществляется воспитание детей, складываются взаимоотношения между членами семьи и проявляются родственные связи. Замечается, что у народов Средней Азии и Казахстана, Кавказа, Сибири многодетные семьи — обычное явление, тогда как в Европейской части СССР преобладают семьи малодетные, особенно в городах¹⁰.

Можно предположить, что стремление иметь много или мало детей отражает конкретную ценностную ориентацию представителей того или иного народа или его отдельных социальных групп и входит в общую систему ценностных ориентаций в сфере семьи.

На современном этапе этнического развития всем народам СССР присуще различие в детности городских и сельских семей; в последних детей, как правило, больше. По сравнению с семьями других социальных групп меньше детей в семьях интеллигенции, особенно если жена из такой семьи занимает высокое служебное и общественное положение.

Социологи А. Г. Харчев и С. И. Голод проследили зависимость между долей женщин среди работающих и рождаемостью (по данным 1969 г.).

Из составленной ими таблицы видно, что в тех республиках, где доля работающих женщин выше, чем в других, детей на 1000 человек рождается меньше¹¹.

Республики	Доля женщин среди рабочих и служащих, %	Родилось детей на 1000 человек	Республики	Доля женщин среди рабочих и служащих, %	Родилось детей на 1000 человек
Эстонская ССР	53	14	Таджикская ССР	38	35
Латвийская ССР	52	14	Азербайджанская ССР	40	32
РСФСР	52	14	Туркменская ССР	40	36

Действительно, в нашем обществе есть еще трудности в совмещении профессиональной и семейной роли женщины. Думается, однако, что дальнейшее развитие сети детских садов и яслей, предоставление родившим длительных отпусков с сохранением места работы, планируемое сокращение рабочего дня для женщин, имеющих малолетних детей, сделают сознательное материнство более свободным от влияния экономических факторов и психологического давления (боязнь потерять квалификацию, отстать от товарищей по работе и т. п.).

XXIV съезд КПСС уделил большое внимание улучшению условий жизни и быта многодетных семей и работающих на производстве женщин, дальнейшему расширению жилищного строительства, развитию бытового обслуживания населения¹². Со временем расширение сферы обслуживания должно свести домашний труд к минимуму. Это подорвет основу создания конфликтных ситуаций, связанных сейчас с распреде-

¹⁰ См., например: С. Ш. Гаджиева, Семья и семейный быт народов Дагестана, Махачкала, 1967, стр. 58; «Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований по материалам Татарской АССР», стр. 145, 202—206.

¹¹ А. Г. Харчев, С. И. Голод, Профессиональная работа женщин и семья, Л., 1971, стр. 35.

¹² Л. И. Брежнев, Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза, М., 1972, стр. 50—55, 65—67.

лением домашних обязанностей между женой и мужем и остальными членами семьи.

Одной из проблем исследования современных этнических процессов является проблема взаимосвязей элементов социальной и этнокультурной интеграции и старых традиционных элементов в семейных обычаях и празднествах. Специфика этих элементов прослеживается: у каждого из народов; у группы народов (этнически близких или далеких), заселяющих определенную историко-культурную область или район (например, Прибалтика); у народов, живущих на большом расстоянии друг от друга, не родственных по происхождению. В первом случае своеобразность элемента обычая или праздничного обряда относится к этническим особенностям культуры одного народа; во втором характеризует культуру народов определенной зоны или района и здесь у родственных народов выступает как этническая особенность в более широком смысле; в третьем случае общность может быть результатом опосредованных культурных взаимовлияний, но чаще бывает стадийным явлением, до сих пор сохранившимся у народов со времени своего возникновения на одной и той же стадии их социально-экономического развития.

Этносоциальная и культурная интеграция в СССР ведет к известной нивелировке семейных обычаев и обрядов, к постепенному исчезновению многих пережиточных форм. Вместе с тем возникают и распространяются общесоветские традиции семейных торжеств и праздничных церемоний. К ним относятся, например, «комсомольская», «красная» (Средняя Азия), «колхозная» свадьба¹³. Новым для многих народов стало празднование «серебряной» и «золотой» свадьбы, дней рождения, окончания школы детьми, проводы призывников в Советскую Армию и т. п. Новые семейные обычаи нередко возникают и укореняются в городах, а затем распространяются в сельских местностях.

В семейной обрядности населения районов этнических границ и небольших инонациональных групп, расселившихся среди компактного большинства жителей коренной национальности, в известной мере отражаются естественная ассимиляция (если она имеет место) и культурная интеграция. Однако прослеживается это с трудом, из-за нивелировки старых и распространения новых обычаев. Известно, что культурные заимствования контактирующих этносов не сразу и не всегда, а только в определенных условиях приводят к тому или иному изменению национального самосознания их представителей. Так, например, многие русские жители Украины¹⁴ и Молдавии сохранили национальное самосознание, хотя в их культуре, и в частности в свадебной церемонии, прослеживается немало элементов, характерных для украинцев или молдаван. Другой пример — адаптация осетинами Грузии элементов грузинской свадьбы — свидетельствует об их сближении с грузинами.

В национально-смешанных семьях сельских районов Советского Союза придерживаются, как правило, семейных обычаев компактного национального большинства, если к нему принадлежит один из супругов. В городских национально-смешанных семьях вместе с этим зачастую происходит также интеграция семейной обрядности национальной среды каждого из супругов при общей тенденции к нивелировке.

Семейные обычаи и празднества унифицируются в процессе консолидации народа (слияние этнических и этнографических групп, исчезновение остатков племенных делений) или интеграции разнонационального населения каждой историко-культурной области. Так, у многих народов Средней Азии довольно широко распространился известный ранее обы-

¹³ См., например: Н. П. Лобачева, О формировании новой свадебной обрядности у народов Узбекистана, «Срв. этнография», 1967, № 3; Р. Х. Керейтов, Новые черты в свадебном обряде кубанских ногайцев, «Сов. этнография», 1973, № 3, и др.

¹⁴ Л. Н. Чижикова, Об этнических процессах в восточных районах Украины, «Сов. этнография», 1968, № 1.

чай: для развлечения гостей приглашать на свадьбу профессиональных музыкантов и певцов, устраивать спортивные состязания.

Общей тенденцией развития семейных взаимоотношений во всех советских республиках является сокращение числа авторитарных семей и распространение семей с фактически признанным равенством родителей, взрослых детей и всех остальных совместно живущих родственников. Эта тенденция больше прослеживается в городских семьях, чем в сельских. В определении главы семьи, в характере внутрисемейных отношений и родственных связей наблюдаются некоторые этнорегиональные различия¹⁵. Они выявляются и в семейном этикете, отражающем в известной мере эти отношения и связи. Более всего семей, которые возглавляет жена или оба супруга («двуглавые» семьи), в Европейской историко-культурной области, где очень высок процент занятости женщин в общественном производстве. Однако и здесь наблюдается некоторая неравномерность в распространении таких семей у разных народов. Например, у татар женщина (не вдова и не разведенная) реже возглавляет семью, чем у русских, украинцев, белорусов, прибалтийских народов. В этикете татарских семей есть элементы подчеркивания престижа мужчины — главы семьи. Жена по традиции подчеркнуто уважительно относится к мужу, особенно при гостях, невестка старается показать почитительность к свекру и свекрови и т. п.

У большинства народов Европейской части СССР взаимоотношения супругов не определяются какими-либо строгими правилами семейного этикета. Родственные связи семей в городе ограничиваются ближайшей родней. Более широки родственные связи в сельских местностях.

У народов Сибири главой семьи почти всегда бывает старший мужчина. Женщина возглавляет семью только в случае вдовства при несовершеннолетних детях. Семейный этикет предписывает уважительное обращение к старым людям, содержит ряд правил, связанных с прежними обычаями избегания. Велик авторитет стариков, распространены родственная взаимопомощь и обычай гостевания. У якутов, например, к гостям в доме хозяев относятся как к членам своей семьи.

Главенство старшего мужчины характерно для многих семей народов Кавказа. Даже в тех семьях, которые возглавляют молодые люди, очень велико влияние стариков на решение семейных дел. Подчеркнутое уважение к старшим — одно из важнейших правил поведения членов семьи. В этикете прослеживаются пережиточные формы избегания невесткой старшей родни мужа, в некоторых семьях молодые женщины не садятся за стол с гостями-мужчинами. Семьи поддерживают связи не только с близкими, но и дальними родственниками, оказывая им помощь и гостеприимство. Обычай гостеприимства распространяется на друзей и знакомых семьи, а также и на посторонних.

Много общего с кавказскими обычаями наблюдается в семейно-брачных отношениях народов Средней Азии и Казахстана. И в этой историко-культурной зоне элементы интеграции семейной структуры всего советского народа переплетаются с традиционными правилами семейного этикета, с некоторыми пережиточными явлениями, происхождение которых восходит ко времени господства патриархальной большой семьи и более ранних ее форм. Преобладают семьи с отчетливо выраженным главенством мужчины. Однако и здесь экономическая независимость работающих женщин и молодежи создали основы равноправия в семье, самостоятельности ее членов в главном — в решении личных судеб. По семейному этикету младшие должны проявлять уважение к старшим, жена — к мужу и его старшей родне. Обычаи избегания и разного рода

¹⁵ Материалы по внутрисемейным отношениям, родственным связям, семейному этикету почерпнуты главным образом из этнографических монографий и статей. Значительная их часть указана в упоминавшемся ранее сборнике «Аннотированная библиография работ по проблемам семьи в СССР».

запреты потеряли свое прежнее значение; если они и соблюдаются, то лишь по традиции.

Родственные связи семей в Средней Азии и Казахстане так же крепки и широки, как на Кавказе. При этом до сих пор можно заметить, что у туркмен, например, более близким считается родство по отцовской линии. Интенсивность общения родственников проявляется во время семейных торжеств.

Этнические процессы, охватывающие всю систему внутрисемейных отношений, традиций, обычаев многонационального населения СССР, протекают, в частности, и в узкой сфере национально-смешанной брачности. В зонах с разнонациональным составом населения (области этнических границ, крупные города, районы инонациональных вкраплений и др.) межнациональные браки создают семьи, представляющие собой микросреду процессов интеграции и естественной ассимиляции¹⁶.

То или иное определение своей национальности молодежью из разнонациональных семей оказывает заметное влияние на ход этнических процессов. В условиях большой мобильности населения и урбанизации тенденция к повсеместному росту частоты межнациональных браков повышает их значимость в общем этническом развитии населения СССР¹⁷.

* *

*

Приведенные выше материалы касаются только части проблем этносоциального и этнодемографического изучения семьи и брака в СССР. Думается, однако, что и эти материалы позволяют выделить в семейнородственных взаимоотношениях разнонационального населения всех историко-культурных областей СССР общие явления, возникающие и возникающие в процессе интеграции советского народа (равноправие членов семьи, основанное на их юридическом и экономическом равноправии в обществе, раскрепощение женщины и т. п.). Эта общность составляет основу структуры современной советской семьи. Специфика этой структуры в историко-культурных зонах и у конкретных народов представляет собой сложный комплекс этнических особенностей, традиций, включая и пережиточные формы, характерные для ранних этапов социально-экономического развития этносов.

Перед исследователями современной семьи в СССР стоят задачи, имеющие не только научное, но и непосредственно практическое значение. К таким задачам относится, например, изучение этнорегиональных материалов по семье и выработка на их основе рекомендаций для создания торжественного ритуала регистрации брака и празднования других семейных событий, для организации отдыха молодежи и взрослых членов семьи (развитие национальных видов спорта, развлечений), для идеологической борьбы с пережитками национальной предубежденности и т. п.

Необходимо дальнейшее комплексное и координируемое исследование этносоциальных и этнодемографических проблем с обязательным применением современных методов накопления, обработки и обобщения материалов, в том числе и статистических.

¹⁶ О. А. Ганцкая, Л. Н. Терентьева, *Этнографическое исследование национальных процессов в Прибалтике*, «Сов. этнография», 1965, № 5; и х же, *Исследование семьи в аспекте этнических процессов*, М., 1970 (ротапринт).

¹⁷ См. об этом Л. Н. Терентьева, *Определение своей национальной принадлежности подростками в национально-смешанных семьях*, «Сов. этнография», 1969, № 3, стр. 20—30.

ETHNOS AND THE FAMILY IN THE USSR

An attempt is made in the article to amalgamate certain materials on ethnosocial and ethnodemographic problems of the contemporary Soviet family. These materials permit us to detach certain features of the family-and-kinship interrelations common to the multi-national populations of all the historical-cultural regions in the USSR; such features have come into existence (and continue to do so) in the course of the integration of the Soviet people; they are: the equality of family members based upon their legal and economic equality in society as a whole; demoeertization of the family, emancipation of women, etc. These common features lie at the base of the structure of the modern Soviet family. The specific characteristics of this structure in the various historical-cultural zones and among particular peoples form a complex of ethnic traits, traditions and survival forms from the early stages of the social-economic evolution of ethnosos.

М. Н. Шмелева

ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ СТОЛЕТИЕ

(ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ГОРОДОВ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РСФСР)

Этнографические материалы, собранные в малых и средних городах средней полосы РСФСР, показывают, что изучение быта городского населения XIX—XX вв., которому до сих пор не уделялось должного внимания, представляет большой интерес как с точки зрения этнографической характеристики населения города, так и в плане познания процессов развития материальной и духовной культуры народа в целом.

В настоящей статье мы не претендуем на освещение (даже самое бедное) истории материальной культуры русского городского населения. Задача состоит в том, чтобы проследить основные закономерности ее развития в предреволюционные десятилетия и в советское время и выявить важнейшие факторы, воздействующие на изменения в жилище, одежде и пище и определяющие характер этих изменений. Попытка рассмотреть эту проблему в целом предпринимается впервые, хотя в этнографической литературе она уже не раз затрагивалась и были высказаны некоторые соображения по отдельным ее аспектам¹.

Опыт изучения городов приводит нас к выводу, что материальная культура городского населения при ярко выраженной ее общности с сельской имеет и свои специфические черты. Они обусловлены прежде всего особенностями формирования самого населения, спецификой городской экономики и занятий городских жителей, значительно большим, чем в селе, разделением труда, большим вовлечением горожан в общественное производство, меньшим развитием у них элементов натурального хозяйства, более быстрыми темпами социальной мобильности и роста культуры. В силу этого в городе быстрее, чем в селе, возникают новые явления в материальной культуре, вырабатываются современные ее формы, которые, в свою очередь, оказывают влияние на село и постепенно становятся достоянием всего народа. С другой стороны, в городах происходят изменения и в самих старых народных традициях, одни из которых затухают и уступают место новым, другие — стойко сохраняются и даже обогащаются. Важной особенностью городской материальной культуры является ее многообразие и неоднородность, что также в значительной степени определяется действием социально-экономических и демографических факторов.

Эти характерные для городского быта черты прослеживаются в материальной культуре горожан на протяжении всего интересующего нас периода, т. е. с последней четверти XIX в. до наших дней. Однако кон-

¹ См., например, «Народы Европейской части СССР», I (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1964, стр. 337—338, 379, 382; «Этнографическое изучение быта рабочих», М., 1968, стр. 33; С. Б. Рождественская, Жилище рабочих Горьковской области. М., 1972, стр. 108—109 и др.; Ю. В. Бромлей, Этнос и этнография, М., 1973 стр. 211—212.

кретные причины, породившие их, среда и степень проявления, практические результаты действия законов развития в дореволюционный период и после Октябрьской революции принципиально различны. Ныне материальная культура городских жителей во всех ее проявлениях в значительной мере порождена теми качественными изменениями, которые произошли в нашей стране с перестройкой социально-экономической структуры общества. Изменения в материальной культуре в первую очередь определяются характером собственности.

Частная собственность на средства производства накладывала отпечаток на все процессы, протекавшие в быту городского населения до революции (рост городов; развитие в них промышленности; сокращение доли натурального хозяйства и расширение товарно-денежных отношений; отход от многих других особенностей в социально-экономической жизни, общих с селом).

Материальное и социальное неравенство городских жителей, свойственное буржуазному обществу, порождало множество различий в их быту, усугублявшихся пережитками сословного строя и специфическими особенностями профессиональной деятельности отдельных групп горожан. По мере развития капиталистических отношений различия в жилищных условиях, в одежде, питании городского населения все более усугублялись, порою доходя до резких контрастов; наряду с прогрессом одних форм наблюдались отставание, застойность и даже регресс других. Материальная культура дореволюционного города представляла собой пеструю противоречивую картину; в ней наблюдалось множество отдельных типов жилища, одежды, питания, различавшихся по своей структуре и функциям. Эти типы бытовали в своей более или менее ограниченной среде, способствуя в свою очередь разделению и обособлению в быту и без того социально-раздробленного городского населения.

В характере самих городских поселений черты, присущие городу эпохи капитализма, выражались в резком разграничении центра и окраины, в особенностях застройки отдельных районов, в неодинаковом их оснащении коммунальными удобствами (водоснабжением, освещением, средствами очистки и т. п.), и, главное, в характере расселения социальных групп городского населения, т. е. в ярко выраженной социальной топографии города.

В центральных кварталах городов, наиболее благоустроенных и удобных для жизни, находилось большинство лучших («порядочных») зданий (каменных и деревянных), выстроенных во вкусе владельцев и снабженных всеми видами возможного в то время комфорта. В них жили крупные чиновники, купцы, богатые мещане, составлявшие так сказать «верхушку» городского общества. Этим районам противостояли жилые массивы городской бедноты, выраставшие на пустырях и окраинах на самых дешевых («бросовых») городских землях. Они возникали часто вопреки правилам градостроительства, отличались теснотой и беспорядочностью застройки и были лишены элементарных бытовых удобств.

Так обстояло дело в Калуге, где при расширении города были заселены крутые склоны, ведущие к Оке (Воробьевка, Берендяковка). Здесь селились ломовые извозчики, поденщики с лесопилки, сапожники и другие мелкие ремесленники. Места эти были неудобны как для строительства домов, так и для использования усадебной земли, которой, впрочем, было немного. На окраине Ельца в конце 90-х годов XIX в. в глубоком овраге вырос своеобразный поселок, получивший название «Каменья» или «Кавказ». Жилища строились здесь на вырубленных в каменных склонах площадках из добытого таким образом камня и располагались одно над другим. Усадеб при домах не было, улицы отсутствовали; жители, как в настоящих горах, карабкались по извилистым тропинкам. Населены были Каменья бедняками, многие из которых не имели опре-

деленных занятий. В г. Ефремове в предреволюционные годы сильно разросся поселок «Черкесы», возникший на крутых берегах реки Красивая Меча еще в первой половине XIX в.; жителей его называли горцами.

Жилой фонд в городах, за редким исключением, находился в частном владении и был распределен между жителями весьма неравномерно. Значительная часть жилых домов принадлежала сравнительно небольшому числу домовладельцев, для которых сдача квартир в наем служила источником дохода. Многие домовладельцы строили жилые дома, специально предназначенные для сдачи — так называемые доходные дома. Качество их было разным и определялось расчетами хозяина на определенную категорию квартиросъемщиков. К сдаче внаем квартир, комнат и углов прибегали домовладельцы, принадлежавшие к различным слоям городских жителей, в том числе и те, кто в поисках необходимых средств к существованию делал это в ущерб себе.

Распределение жилья происходило стихийно и в значительной степени отражало процессы социальной дифференциации. Изменение социального статуса горожан в ту или другую сторону, как правило, вызывало и изменения в их жилищных условиях. У различных групп городского населения, стоявших на разных ступенях социальной лестницы, во многом по-разному происходили изменения в жилище, характерные для того времени и связанные с развитием городского образа жизни, с ростом товарно-денежных отношений, со все большим отходом от принципов натурального и полунатурального хозяйства. Эти изменения касались материала, из которого строились дома, их конструкции, планировки, интерьера, состава надворных построек, благоустройства и т. п. В результате в городском жилище среди большого многообразия его форм в конце концов выделялись полярные, имеющие между собой мало общего. Это были, с одной стороны, многокомнатные квартиры и особняки буржуазно-дворянской верхушки, устройство которых отвечало запросам их владельцев, с другой — примитивные жилища бедняков, соответствовавшие лишь самым низким строительным стандартам, свидетельствовавшие об отступлении от исторически сложившихся прогрессивных традиционных норм в этой области. Это были полуземлянки, каморки в доходных домах, «углы» в чужих квартирах, «места» в ночлежках, которыми пользовались в качестве жилья беднейшие слои городского населения.

Одежда горожан во второй половине XIX и начале XX в. характеризовалась большей однородностью, чем в предыдущий период. В ней еще прослеживались некоторые небольшие различия, связанные с пережитками сословного строя, со спецификой быта отдельных профессиональных групп, однако на смену одежде с ярко выраженными социально-сословными особенностями, господствовавшей прежде, пришли более или менее единые комплексы мужского и женского костюма, представлявшие собой некий национальный вариант общеевропейской одежды.

Но формирование новых комплексов происходило в условиях классового расслоения общества, и потому одежда этого времени отчетливо отражает социальное деление городского общества той эпохи. Развитие одежды разных групп горожан имело свои особенности, сказывавшиеся не столько на типе отдельных частей костюма, сколько на его материале, составе, фасоне, включении в него традиционных элементов, на практическом и эстетическом его назначении. Одежда и в это время продолжала выполнять функцию своеобразного социального знака. Не случайно в быту одежда часто служила тем первым, внешним показателем, который свидетельствовал о социальной принадлежности ее владельца, и во многом определяла как поведение его самого, так и отношение к нему окружающих. В таких условиях огромное значение для развития одежды имели соображения престижа, которые, с одной стороны, заставляли горожан подражать костюму наиболее преуспевающих

социальных групп и тем самым способствовали его нивелировке, с другой — толкали зажиточные слои населения на поиски все более выразительных средств, чтобы выделиться по внешнему облику из общей массы горожан. На помощь им приходила мода, которая, впрочем, в провинциальных городах сильно отставала от столичной.

Различия в одежде горожан в большинстве случаев не были резкими: отдельные виды костюма имели переходные смешанные варианты, а основу их составляли в целом одни и те же формы. Однако у социально-противоположных групп горожан наблюдались и резкие контрасты. Одновременно бытовали добротная, дифференцированная по назначению, соответствующая последней моде одежда представителей социальной верхушки и одежда беднейших слоев горожан, вынужденных обходиться минимумом материальных благ, скудная по составу, редко обновлявшаяся, порою одинаковая и летом, и зимою. Крайним выражением бедности, разрушения национальных традиций в костюме была одежда деклассированных элементов, состоявшая подчас из обносков и случайного набора вещей.

Питание в городах, несмотря на некоторые специфические черты, имело в целом тот же традиционный характер, который был присущ и питанию русского крестьянства. Оно отличалось преобладанием хлебнo-крупяной пищи с добавлением сравнительно небольшого количества картофеля и некоторых овощей (главным образом лука, капусты, огурцов). Продолжали сохраняться и отдельные старинные традиционные блюда: повседневные, праздничные и особенно обрядовые. Привычный порядок питания во многом определялся сменой времен года, чередованием мясоедов и многочисленных постов, праздников и будней.

Однако социальная неоднородность населения города сказывалась и в пище. По ее составу и калорийности, по соотношению покупавшихся и получаемых от своего хозяйства продуктов, по характеру дневного рациона и по степени сохранения традиционных элементов выделилось несколько различных типов питания. Особенно резко обозначилось расхождение между питанием социальной верхушки и городской бедноты. Материально обеспеченным слоям городского населения было свойственно, с одной стороны, сохранение и дальнейшее совершенствование национальных традиций в пище, с другой — излишества и изощренность вкусов, отход от этих традиций. В питании же беднейшей части горожан, хотя и вырабатывались многие рациональные черты, но из-за материальной необеспеченности подчас происходило и крайнее упрощение пищи, потеря калорийности; до минимума сокращался ассортимент блюд, практически забывались многие истари распространенные кушанья, т. е. происходило известное разрушение национальных традиций.

После Октябрьской революции в развитии материальной культуры городского населения наступил решительный перелом. Дальнейшие изменения в ней самым непосредственным образом были связаны с перестройкой экономики страны, с созданием новой социальной структуры общества, с построением социализма, с ростом культуры.

Формирование основных черт, характеризующих материальный быт городского населения социалистической эпохи, началось сразу же после установления Советской власти, но сравнительно долго оно протекало на фоне тех трудностей и материальных недостатков, которые переживала наша страна. В настоящее время эти черты получили свое дальнейшее развитие в условиях нового подъема экономики и культуры, связанного с построением развитого социалистического общества и созданием материально-технической базы коммунизма.

Современные поселения, жилища, одежда и пища городского населения также многообразны, но различия в них носят совсем иной, чем прежде, характер. Важнейшей особенностью их развития в настоящее время является отсутствие контрастов, которые порождались классовой

дифференциацией и были одной из форм ее выражения. Теперь материальная культура всех групп горожан развивается в равной мере. Это достигается в значительной степени благодаря тому, что уже сейчас созданы единые социальные основы быта для всех граждан нашего общества². Различия в жилище, одежде и пище определяются не столько социальным составом населения, сколько исторически сложившейся ситуацией: постоянным пополнением городов выходцами из села, неоднородностью того, что было унаследовано в этой области от прошлого (например, в поселениях, в жилом фонде)³, а также особенностями профессиональных занятий горожан (например, в питании) и традициями, бытующими в той или иной среде.

Особенно наглядно это проявляется в развитии городских поселений. Следствием коренных изменений в жизни городов явилось уничтожение бывшей социальной топографии; понятие «городская окраина» потеряло свой прежний социальный смысл. В настоящее время население центральных и окраинных районов в целом однородно, а условия жизни в них в основном одинаковы. Можно сказать даже, что в новых районах, возникающих за прежней городской чертой, они нередко значительно лучше, чем на центральных улицах. Как наследие прошлого в городах еще встречаются малоудобные районы с неблагоприятными бытовыми условиями, но по мере развития городов они постоянно улучшаются: реконструируются и благоустраиваются.

В отличие от прошлого в городах прекратилось стихийное распределение жилплощади между населением на основе частной собственности. Основным принципом при ее распределении в условиях советской действительности при господстве общественной собственности стали представления о равных на нее правах всех граждан.

На первый план выдвигаются основные потребности людей, а не их социальное положение: учитывается численность семьи, ее состав, состояние здоровья ее членов, а отчасти и особенности их трудовой деятельности. Различия в жилищно-бытовых условиях горожан объясняются, главным образом, неоднородностью наличного жилого фонда, складывающегося на протяжении длительного времени и включающего наряду с новыми множество старых построек, а также, до некоторой степени, быстрыми темпами роста городского населения за счет притока извне, которые опережают темпы увеличения жилого фонда и его обновления. В социальном плане эти различия более всего связаны с историей формирования современного населения из местных и приезжих (сельских, городских) элементов, с развитием разных отраслей хозяйства того или иного города, стимулировавших приток отдельных контингентов рабочих и служащих.

Различия в питании (в калорийности, в составе и распорядке трапез, в соотношении домашнего и общественного питания) более всего отражают особенности труда и трудового режима городских жителей и зависят от численности и состава семьи, в частности, от того, есть ли в ней женщины, не занятые в общественном производстве. Некоторые специфические черты отличают питание и тех горожан, которые поддерживают тесные связи с сельскими родственниками и пользуются отчасти продуктами их личного хозяйства. Естественно, что подобные различия далеко не всегда совпадают с социально-профессиональными, тем более, что современную городскую семью обычно трудно бывает целиком отнести к той или иной группе.

В этих условиях и одежда утратила функции социального знака. В целом городская одежда стала единой. По одежде теперь невозможно

² «Социализм и коммунизм. Строительство коммунизма и развитие общественных отношений», М., 1966, стр. 4, 315.

³ Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева, Некоторые вопросы развития современного городского жилища, «Сов. этнография», 1972, № 3, стр. 100—101.

определить социальную принадлежность ее владельца. При отсутствии резких социальных разграничений в нашем обществе потеряли былое значение и престижные моменты в развитии одежды, непосредственно связанные прежде с процессом социального утверждения и продвижения горожан.

— Для развития материальной культуры городского населения в настоящее время решающее значение имеет постоянно расширяющееся обобществление сферы удовлетворения его материальных и духовных потребностей, подчинение этой сферы единым законам управления и планирования, принятым в социалистическом государстве. В Программе Коммунистической партии Советского Союза сказано: «Цель социализма — все более полное удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей народа путем непрерывного развития и совершенствования общественного производства»⁴. Многие элементы материальной культуры как бы вышли из компетенций личной и семейной инициативы и стали частью народного хозяйства. Так, например, современное городское жилище в корне отличается от дореволюционного прежде всего тем, что оно, за небольшим исключением, стало общественной собственностью и находится в ведении местных советов депутатов трудящихся, которые заботятся о содержании, улучшении, расширении жилого фонда, а также о его рациональном распределении. Индивидуальные дома, находящиеся в личном владении отдельных граждан, составляют примерно $\frac{1}{4}$ всей имеющейся в городах жилплощади, и на них также распространяется забота государства (в смысле благоустройства, улучшения санитарного состояния, предоставления застройщикам долгосрочных денежных ссуд и необходимых материалов и т. д.). Однако в условиях быстрого роста городов и благоустройства быта населения небольшие индивидуальные постройки становятся все более невыгодными и для горожан, и для самого города, и потому из года в год происходит сильное сокращение индивидуального строительства, а также застройка старых кварталов новыми большими домами, коммунальными и кооперативными.

Изготовление одежды, обуви, головных уборов окончательно ушло из сферы домашнего и ремесленного производства. Домашнее изготовление одежды (более всего шитье и вязание) сохраняется среди некоторой части горожан преимущественно как рукоделие, т. е. отвечает не только практическим целям, но и эстетическим запросам. Изготовление одежды частным образом и пережиточные формы работы на заказчика и для продажи на рынке встречаются редко. Одежда, которую носят теперь городские жители, изготавливается на специализированных промышленных предприятиях, выпускающих товары массового потребления, или в государственных мастерских индивидуального обслуживания.

Питание в городах базируется на продуктах, предоставляемых населению централизованной государственной торговлей. Имеющиеся сельскохозяйственные рынки служат лишь дополнительным источником приобретения продуктов (главным образом сезонных) для непосредственного потребления и, особенно, для заготовок впрок. Личное подсобное хозяйство, которое в различных формах встречается у некоторой части горожан, обычно весьма невелико, носит преимущественно любительский характер и служит лишь небольшим подспорьем в питании семьи. Большую роль в городе играет общественное питание в различных его проявлениях. Заняв прочные позиции в производственном быту, общественное питание оказывает теперь сильное воздействие и на домашний быт: оно частично заменяет домашнюю кухню, изменяет домашний пищевой режим, меню, кулинарию и весь процесс приготовления пищи.

⁴ «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., 1964, стр. 15.

Тенденция к обобществлению сферы удовлетворения материальных потребностей развивается очень быстро. Можно сказать, что дальнейшие изменения в жилище, одежде, питании городского населения в первую очередь будут связаны с расширением многообразного общественного обслуживания бытовых нужд трудящихся и общественного строительства. Участие в этом процессе крупной высокоразвитой промышленности (строительной, легкой, пищевой), ориентирующейся на последние достижения науки и техники, применение профессионального труда различных специалистов и квалифицированных рабочих, развитие творческой мысли в условиях социалистической действительности создают благоприятные условия для того, чтобы в области материальной культуры удовлетворение нужд и запросов людей было бы не только достаточным, но и соответствовало определенным экономическим, практическим, эстетическим требованиям. Все это приводит к развитию наиболее эффективных и экономических способов использования предметов материальной культуры, а в целом — к быстрому ее усовершенствованию и прогрессу.

Этот прогресс выражается в бурном росте жилого фонда, в изменении его состава, а следовательно, в улучшении жилищных условий массы городских жителей. Теперь главное место в городском жилище заняли многоэтажные, многоквартирные дома, оборудованные в соответствии с современными требованиями благоустройства. В городах многое было сделано и делается сейчас для улучшения условий жизни в старых домах и приближения их по уровню благоустройства к новым строениям.

Почти ушло из жизни жилище, снимаемое частным образом. Этот вид жилья, столь характерный для дореволюционного города, теперь не имеет ни широкого распространения, ни ярко выраженных специфических форм, как это было прежде (доходные дома, отдельные флигели, «углы», приспособленные под сдачу). Постепенно уходят из быта и общие многонаселенные квартиры, распространившиеся в городах в годы острого жилищного кризиса в конце 20-х и в 30-е годы. Сокращается, как уже говорилось, и индивидуальный сектор наличного жилого фонда городов. С развитием коммунального и кооперативного строительства самым распространенным видом жилища становится отдельная квартира для каждой семьи, снабженная всеми видами удобств. В качестве временного жилья для одиночек служат общежития с высоким уровнем бытового обслуживания.

Одежда населения изучаемых городов в настоящее время характеризуется развитием современных общеевропейских форм, изменяющихся согласно прогрессу в промышленности и в соответствии с принятой модой. Рост материального благополучия горожан, стремление следовать моде, которое стало всеобщим, пропаганды целесообразности в костюме и хорошего вкуса способствуют ликвидации консервативности, свойственной в прошлом одежде широких слоев городских жителей, и приводит к быстрой смене одежды. Отошло в прошлое отношение к ней, как к своего рода капиталу (заготовка одежды впрок), что препятствовало ее обновлению. Важное значение для развития массовой одежды получил фактор морального старения вещей. Спрос всех групп городского населения ориентируется на современные профессионально выполненные изделия. Большое распространение получили специализированные виды костюма: (профессионального, спортивного, домашнего и т. п.), изготовляющегося на промышленных предприятиях. В таких условиях массовая одежда жителей периферийных городов все более и более утрачивает провинциальные черты, которые были свойственны ей прежде.

В связи с ростом материального достатка трудящихся, подъемом их общей культуры, внедрением бытовой техники происходят и дальнейшие качественные изменения в питании горожан. Интересно отметить, что на

первый план теперь выдвигаются проблемы культуры питания: например, широко распространяются представления о рациональном питании, о диете, о витаминах, о калориях; становятся обычными заботы о соблюдении наиболее целесообразного пищевого режима для всей семьи в целом и для отдельных ее членов, о лучших способах приготовления блюд (в смысле улучшения их вкуса и совершенствования технологии) и т. п. Наибольшие успехи достигнуты в детском питании, которое одинаково быстро меняется у всех групп городского населения.

Но вместе с тем одним из следствий обобществления сферы удовлетворения потребностей и дальнейшей урбанизации материальной культуры наряду с быстрым прогрессом является значительная ее стандартизация и унификация. Они неизбежно возникают, несмотря на постоянное стремление планирующих и производящих организаций учитывать все разнообразие вкусов и запросов людей, назначение тех или иных предметов, их роль в повседневном и праздничном быту. Так например, развитие массового типового строительства заметно сказывается как на внешнем облике жилых домов, так и на внутренней организации жилища семьи, создавая заметное единообразие. Стандартность размещения и планировки квартир при примерно одинаковой их населенности, приобретение стандартной мебели и предметов убранства приводит к возникновению сравнительно ограниченного числа типов жилища, его функционального распределения и мебелировки. Одинаковое деление помещений на зоны с определенным назначением, сходство в размещении мебели весьма характерны для современного жилища в типовых домах.

Еще большим единообразием отличается городская одежда. Проявляется оно главным образом в широком распространении во многом одинакового готового платья, о котором уже шла речь, в массовом изготовлении модных образцов костюма, тканей, отделки и т. д. В питании стандартизация коснулась не только общественных его форм, но и домашних, что отражается на составе наиболее потребляемых продуктов, на ежедневном меню, на рецептах приготовления блюд. Развитие этой тенденции приводит к известному «упрощению» пищи, т. е. к стремлению готовить сравнительно простые блюда. Правда, при этом необходимо отметить, что наиболее значительному воздействию стандартизации подвергается повседневный быт, в то время как праздничный имеет тенденцию к дальнейшему обогащению и усовершенствованию и содержит значительно больше специфических (групповых и индивидуальных) черт.

В современных условиях остро встает проблема традиций в городской материальной культуре, проблема национальных и местных ее форм. Как показывает этнографическое изучение городского населения, специфические особенности его материальной культуры, связанные с национальными и местными традициями, как, впрочем, и с индивидуальными вкусами, а в некоторых случаях и с профессиональными навыками, с характером труда горожан, в настоящее время проявляются не столько в самих вещах (в их форме, структуре), сколько в характере их использования, в отношении к ним, в тех функциях, которые они выполняют в нашей жизни. В жилище, одежде и пище это во многом разрешается по-разному.

В жилище национальные и местные черты еще отчетливо прослеживаются в устройстве индивидуальных домов, которые являются прямыми наследниками старого традиционного жилища (городского и сельского). В целом же в современном городском жилище специфические особенности (в том числе общенациональные и местные), несмотря на известную стандартность, заметно проявляются в особенностях интерьера, а также в выдвигании на первый план тех или иных функций отдельных зон и помещений в зависимости от характера запросов и традиций семьи. Вообще внутренняя обстановка жилища, обладающая

значительно большей подвижностью, чем само жилище, более непосредственно отражает вкусы людей, их бытовые привычки, эстетические понятия. Особенно это свойственно убранству жилища; оно проявляет большую гибкость как в быстром утверждении новых форм, так и в сохранении многих старых, традиционных, в приспособлении их к современным условиям.

Из элементов традиционного костюма в городах встречаются чаще всего некоторые виды головных уборов (например, женские платки, ша-ли), обуви (например, валенки, сапоги), верхней одежды (прямошпинные ватные пиджаки, плюшевые жакеты), которые отвечают известным требованиям целесообразности и широко распространены среди русских на всем пространстве их расселения, а отчасти и у других народов, разнообразно сочетаясь с современными формами одежды. Традиционные черты в костюме чаще, чем у других, встречаются у тех горожан, которые недавно приехали из села, хотя, как показывают наши материалы, смена одежды в городской среде происходит довольно быстро, особенно у молодежи. Сохранение и развитие традиционных особенностей в одежде проявляется в рукоделии, в представлениях о нарядности, модности одежды, о необходимом составе гардероба разных поколений и т. д.

В питании традиционные особенности сохраняются более стойко, чем в жилище и одежде. Пища городского населения, несмотря на многие изменения в ней, и теперь продолжает оставаться в целом национальной. Это сказывается в характере наиболее потребляемых продуктов, в составе любимых блюд, в заготовках припасов впрок, в привычной кулинарии, а отчасти и в пищевом режиме. Блюда традиционной национальной кухни, к которым добавляются готовые покупные изделия и кушанья, приготовленные по новым рецептам, в том числе и заимствованным у других народов, составляют основу праздничного стола горожан. В изучаемых городах все эти специфические особенности продолжают сохраняться в значительной степени благодаря тесным связям горожан с близким сельским окружением, в частности, благодаря связям между сельскими и городскими родственниками⁵. Село в данном случае выступает в известном смысле и как источник поступления некоторых натуральных продуктов в хозяйство горожан, и как важный фактор, способствующий сохранению бытовых традиций в их жизни.

Но в целом судьбы национальных традиций во всех этих областях материальной культуры, их сохранение, обогащение и дальнейшее развитие в условиях города в настоящее время все более и более связываются со сферой общественного обслуживания, зависят от активности действий в этом направлении самого общества, организующего соответствующим образом развитие промышленности и профессионального творчества архитекторов, инженеров, конструкторов, модельеров и т. д.

За последние 10—15 лет в нашем обществе оживился интерес к народным традициям. В планирующих и творческих организациях стремятся использовать богатый, накопленный веками опыт при создании новых образцов одежды, украшений, домашнего убранства, изделий пищевой промышленности и т. п. Все это находит живой отклик в быту городского населения, которое в большей степени, чем сельское, восприимчиво к новому. На этом сложном пути уже достигнуты значительные успехи. Однако предстоит еще разрешить множество трудных проблем.

Итак, материальная культура русского городского населения за последнее столетие претерпела огромные изменения, в которых отразились исторические преобразования, происшедшие за этот период в нашей стране. В целом в развитии жилища, одежды, пищи прослеживается

⁵ См. Д. М. Коган, Связи городского и сельского населения как одна из проблем этнографии города, «Сов. этнография», 1967, № 4, стр. 64 и сл.

ярко выраженная тенденция к нивелировке, интернационализации и индустриализации. Отсутствие резких социальных различий в социалистическом обществе, быстрые темпы роста промышленности, неуклонный подъем культуры еще более усиливают этот процесс в настоящее время и вместе с тем создают благоприятные условия для дальнейшего усовершенствования сферы материального быта с использованием опыта традиционной национальной культуры. Изучение показывает, что в материальной культуре городских жителей наиболее стойкими оказываются специфические национальные черты, связанные с особенностями природных и хозяйственных условий, с характером национальной экономики, а также обусловленные некоторыми традиционными вкусами и представлениями. Более всего они проявляются в тех формах и явлениях материальной культуры, которые тесно соприкасаются с удовлетворением духовных потребностей и запросов. Как отмечает Ю. В. Бромлей, этническая специфика в современных промышленно развитых странах вообще перемещается в область духовной культуры⁶. С этой точки зрения для исследователей современности большой интерес представляет изучение духовных аспектов материальной культуры, раскрывающих отношение людей к тем или иным ее типам, их представления о минимуме предъявляемых к вещам требований, о норме или идеале в этой области, определяемых национальной принадлежностью, соображениями социального престижа, семейным положением, личными вкусами и т. п., т. е. различных ориентаций и установок.

**ON CERTAIN IMPORTANT TENDENCIES IN THE EVOLUTION
OF THE MATERIAL CULTURE OF URBAN RUSSIAN POPULATION DURING
THE LAST HUNDRED YEARS**

(ON THE BASE OF STUDIES CARRIED OUT
IN THE SMALL AND MIDDLE-SIZED TOWNS IN THE MIDDLE ZONE OF RUSSIA)

The material culture of urban Russian population has, in the last hundred years, undergone enormous changes which reflect the historical transformations in the country as a whole. The evolution of dwellings, dress and food show striking tendencies towards levelling off, internationalization and industrialization. This process is at present further strengthened by the absence of sharp social differences in socialist society, by the rapid rate of industrial and cultural development; this promotes favourable conditions for further improvements in the sphere of everyday material life by aid of accumulated experience drawn from traditional national culture.

⁶ Ю. В. Бромлей, *Этнос и этнография*, М., 1973, стр. 247.

В. А. Шнирельман

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА *

Вопрос о соотношении различных форм хозяйства на разных этапах человеческой истории был поставлен уже давно. Во второй половине XIX в. в науке господствовала так называемая «теория трех стадий», объединявшая различные виды хозяйственной деятельности (охота, скотоводство, земледелие) в иерархический ряд в определенной хронологической последовательности. Развитие этнографии показало ложность этого представления и привело к формированию в науке двух направлений¹. Э. Хан и его последователи считали, что одомашнивание животных возможно лишь при наличии по крайней мере мотыжного земледелия². Другие ученые полагали, что обе эти формы хозяйства появились независимо друг от друга у разных народов³, чему в немалой степени способствовало широко распространенное мнение о том, что кочевники благодаря зависимости от домашних животных могут обходиться без земледелия и даже без собирательства растений⁴. Однако без точных археологических данных прийти к единому решению оказалось невозможным. В зарубежной науке вслед за Г. Чайлдом К. Йетмар показал, что важнейший центр доместикации животных в Старом Свете находился в Передней Азии⁵. Появившиеся с тех пор новые археологические материалы подтверждают этот вывод. Плодотворность принятой методики доказывает работа А. Вайды, который на огромном археологическом материале доказал, что никакой доместикации оленя в каменном веке, на чем настаивали многие представители Венской культурно-исторической школы, не было и не могло быть⁶. Вместе с тем нельзя упускать из виду, что археология дает лишь факты, осмысление которых при изучении первобытной экономики, не говоря уже о надстроечных явлениях, требует более широкого подхода.

* Некоторые положения статьи представляются спорными.— *Ред.*

¹ Историографию вопроса см.: В. С. Титов, Первое общественное разделение труда, «Кр. сообщения Ин-та археологии АН СССР», вып. 88, М., 1962, стр. 12; С. И. Вайнштейн, Проблемы происхождения оленеводства в Евразии, «Сов. этнография», 1970, № 6; К. Jettmar, Ethnologie und Domestikationsproblem, «Studium Generale», 20 Jg., 1967, Hf. 3, S. 152—154; L. Vajda, Untersuchungen zur Geschichte der Hirtenkulturen, Wiesbaden, 1968, S. 35—96.

² E. Hahn, Waren die Menschen der Urzeit zwischen der Jägerstufe und der Stufe des Ackerbaus Nomaden? «Ausland», 64 Jg., № 25, 1891; его же, Die Haustiere und ihre Beziehungen zur Wirtschaft des Menschen, Leipzig, 1896; Г. Кунов, Всеобщая история хозяйства, М.—Л., 1929, т. I; C. D. Ford, Habitat, economy and society, London, 1963.

³ См., например: O. Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit, Wien, 1931; W. Schmidt, Zu den Anfängen der Herdentierzucht, «Zeitschrift für Ethnologie», 1951, Bd 76, Hf. 1.

⁴ J. L. Myres, Nomadism, «Journal of Royal Anthropological Institute», 1941, vol. 1, № 1, p. 19.

⁵ K. Jettmar, Les plus anciennes civilisations d'éleveurs des steppes d'Asie Centrale, «Cahiers d'Histoire Mondiales», 1954, vol. I, № 4, p. 761—777.

⁶ L. Vajda, Указ. паб.

С проблемой domestikации животных связан важный вопрос о наличии предпосылок для нее в обществах с присваивающим хозяйством. Существует мнение, что охотники убивают столько животных, сколько нужно для пропитания, но не больше, чтобы не подорвать основы своего существования⁷. Вместе с тем в настоящее время ученые располагают данными, которые говорят о хищническом характере охоты в палеолите. Дискутируется лишь вопрос о том, какой из факторов явился решающим для вымирания целого ряда видов животных в конце плейстоцена: охота или причины естественного порядка⁸. Столь же катастрофические последствия для некоторых животных имела охота в недавнем прошлом. Так, например, исчезли страус эму и кенгуру в Тасмании⁹. Не менее показательна охота шошонов, которая наносит популяциям животных такие потери, что они восстанавливаются полностью лишь через несколько лет. При этом иногда добывается больше мяса, чем люди могут потребить сразу, а поскольку способы консервации здесь неизвестны, оно портится¹⁰.

В последнее время не без основания считают, что условия для domestikации животных были подготовлены в ходе специализированной охоты¹¹, однако в связи с этим наметилась тенденция объявлять чуть ли не все археологические данные об охоте такого рода свидетельствами domestikации¹². Это неверно. Пример специализированной охоты на диких туров, которая не переросла в domestikацию, дает эпилеолит Северной Африки¹³. Известно также, что ведущаяся издавна охота на гуанако в Патагонии, на карибу и бизона в Северной Америке отнюдь не привела к одомашниванию этих животных. И не они этому виной. Ныне доказано, что домашние лама и альпака происходят от диких гуанако¹⁴; возможность же domestikации дикого тура и северного оленя настолько очевидна, что в комментариях не нуждается.

Таким образом, специализированная охота является важным, но далеко не достаточным условием domestikации. Сохранение жизни диким животным, которые служат главным объектом охоты, и их содержание, без чего невозможно не только одомашнивание, но и приручение, становится реальным, во-первых, лишь в условиях относительно хорошего снабжения пищей, во-вторых, если это снабжение создается не за счет (или не только за счет) охоты на этих животных (в противном случае их бы съели), а за счет качественно иной формы хозяйства. Такой формой может быть только земледелие или усложненное собирательство растительной пищи. Рыболовство, видимо, мало способствует становлению местного производящего хозяйства, возможно, именно потому, что само является относительно надежным источником питания. В таких первичных центрах происхождения производящего хозяйства, как, например, горы Загроса (пограничные ирано-иракские районы) и долина Техуакана (Мезоамерика), роль рыболовства была минимальной. Что же касается земледелия, то этнография показывает, что кочевничество

⁷ С. Н. Боголюбский, Происхождение и преобразование домашних животных, М., 1959, стр. 223.

⁸ Н. К. Верещагин, Охота первобытного человека и вымирание плейстоценовых млекопитающих в СССР, в сб. «Материалы по фауне антропогена СССР», Л., 1971, стр. 215, 225; М. И. Будыко, Человек и биосфера, «Вопросы философии», 1973, № 1, стр. 64—65.

⁹ R. Jones, Tasmanian aborigines and dogs, «Mankind», 1970, vol. 7, p. 268.

¹⁰ J. H. Steward, Theory of culture change, Urbana, 1955, p. 105.

¹¹ G. Clark, World prehistory: a new outline, Cambridge, 1969, p. 73.

¹² См. статьи Е. С. Хиггса и М. Р. Джермана, П. Ф. Уилкинсона, А. Д. Лэгга, М. Р. Джермана в сб. «Papers in economic prehistory» (далее — PEP), London, 1972.

¹³ E. S. Higgs, Faunal fluctuation and climate in Lybia, in: «Background to evolution in Africa», Chicago, 1967, p. 156—162.

¹⁴ W. Herre, Züchtungsbiologische Betrachtungen an primitiven Tierzuchten, «Zeitschrift für Tierzucht und Züchtungsbiologie», 1958, Bd 71, Hf. 3, S. 256—257.

невозможно без общения в той или иной форме с сельскохозяйственной средой. Даже такие классические кочевники, как бедуины Аравии и скотоводы Сахары, прямо или косвенно связаны с земледелием¹⁵. Более того, пример индейцев североамериканских прерий доказывает, что даже специализированная охота нуждается порой в таких связях¹⁶. Известно, сколь губительны для скота бывают последствия природных катаклизмов, эпидемий, вражеских набегов и т. д. История апачей и навахов учит, что в этих случаях именно земледелие помогает быстрее восстановить скотоводческое хозяйство¹⁷. Еще более значительной роль земледелия должна была быть в период становления скотоводства.

Бурные споры всегда вызывал вопрос о причинах одомашнивания животных. Думается, что его нельзя решать, не определив предварительного, о каких именно животных идет речь и какую роль в данной культуре эти животные играли. В свое время Ф. Цейнер считал, что важнейшим для понимания domestikации является «институт любимчиков»¹⁸. Однако еще Э. Хан показал, что многие известные бесписьменным народам животные, прирученные ими для забавы, не являются домашними, поскольку не размножаются в неволе¹⁹. Уместно заметить, что такого рода приручение охватывало лишь тех животных, к которым первобытная экономика была безразлична. Иначе обстояло дело с животными, которые были одомашнены и которые в предшествующий domestikации период представляли собой один из важнейших объектов охоты (коза, овца, бык, свинья, лама). Здесь возможны два предположения. Либо domestikация этих животных преследовала экономическую цель, либо была связана с определенными надстроечными явлениями (например, религия). Если исходить из давно доказанного положения, что вторичные продукты животноводства начали использоваться не сразу, то первое предположение приводит к выводу о том, что древнейшей формой использования домашних животных было мясное животноводство²⁰. Однако ясно, что при низком уровне развития культуры эта форма содержит в самой себе причину гибели, постоянно уничтожая свою основу (домашних животных). Так, например, поголовье свиней на Новой Гвинее после «поросячьего праздника» восстанавливается только через 5—10 и более лет²¹. В этих условиях животноводство может существовать только при поддержке со стороны более прочной формы хозяйства — земледелия²². Вот почему отделение скотоводства от земледелия становится реальным лишь тогда, когда главными продуктами животноводства становятся вторичные продукты. История показывает, что это отделение произошло довольно поздно²³. Еще в начале II тысячелетия до н. э. в Передней Азии, например, обитали скотоводческие племена,

¹⁵ А. И. Першиц, Хозяйство и общественно-политический строй Северной Аравии в XIX — первой трети XX в. «Труды Ин-та этнографии АН СССР» (ТИЭ), т. LXIX, М., 1961, стр. 31; M. Gast, Alimentation des populations de l'Ahaggar, Paris, 1968, p. 70.

¹⁶ P. Holder, The hoe and the horse on the plain, Lincoln, 1970, p. 114.

¹⁷ P. Kunstadter, Southern Athabaskan herding patterns and contrasting social institutions, in: «Man, culture and animals» (далее — MCA), Washington, 1965, p. 79.

¹⁸ F. E. Zeuner, The domestication of animals, «Scientia», 1956, vol. 91, № DXXV, ser. VI, № 1, p. 24—25.

¹⁹ E. Hahn, Waren die Menschen der Urzeit Zwischen der Jägerstufe und der Stufe des Ackerbaus Nomaden? S. 484.

²⁰ М. О. Косвен, Очерки истории первобытной культуры, М., 1953, стр. 79.

²¹ R. A. Rappaport, Ritual regulations of environmental relations among a New Guinea people, «Ethnology», 1967, vol. 6, № 1, p. 24.

²² Под земледелием в период становления производящего хозяйства я понимаю также и такое усложненное собирательство, из которого вырастает настоящее земледелие. Примером является Передняя Азия, где первые попытки domestikации животных имели место еще в период усложненного собирательства.

²³ С. И. Руденко, К вопросу о формах скотоводческого хозяйства и кочевниках, «Географическое общество СССР. Материалы по этнографии», 1961, ч. 1, стр. 3; Г. Е. Марков, Некоторые проблемы возникновения и ранних этапов кочевничества в Азии. «Сов. этнография», 1973, № 1.

занимающиеся земледелием²⁴. Отмеченная выше особенность мясного животноводства известна многим народам. Именно поэтому мясо домашних животных является деликатесом не только у скотоводов²⁵, но и там, где использование вторичных продуктов животноводства неизвестно (Океания)²⁶. И тот факт, что запреты есть мясо часто облакаются в религиозную оболочку, не должен скрывать от нас настоящую причину появления этих запретов, которая кроется в понимании указанными народами экономической необходимости.

Предположение о связи одомашнивания животных с религиозными мотивами имеет длинную историю и восходит еще к Э. Хану²⁷. Оно опровергается тем, что древнейшие домашние животные произошли от особей, игравших важную роль в охоте. Возможно, такие животные стали объектами культа уже в период присваивающей экономики, что и создало иллюзию их одомашнивания из религиозных соображений.

Первую попытку гипотетически реконструировать условия, при которых происходила древнейшая domestикация, предпринял Г. Чайлд, выдвинувший известную «оазисную теорию». Он считал, что стимулом к domestикации стала усиливающаяся засуха, заставившая людей и животных концентрироваться у источников воды, в результате чего и произошло одомашнивание²⁸. Позже эту теорию справедливо критиковали за то, что в ней недостаточно учитывались данные о поведении диких животных, и за несоответствие переднеазиатским материалам²⁹. Вместе с тем она содержала и рациональное зерно, связывая возникновение производящего хозяйства с теми грандиозными переменами в природной обстановке всего земного шара, которые наступили в постгласиальную эпоху. Период этот положил начало формированию целого ряда своеобразных хозяйственно-культурных областей; наиболее характерной его чертой было усиление роли собирательства растительной пищи³⁰. На базе такого собирательства в некоторых областях, где имелись дикие предки домашних животных и культурных растений, и сложились предпосылки для перехода к производящему хозяйству. Таких областей (первичных очагов), где переход к производящему хозяйству произошел самостоятельно, было очень немного, что является сейчас бесспорной истиной³¹, которую некоторые ученые до сих пор игнорируют³².

Теория Г. Чайлда содержала в зародыше мысль о domestикации животных в условиях симбиоза, развитую позже Ф. Цейнером³³ и подхваченную ныне некоторыми английскими учеными³⁴. Сторонники этой идеи

²⁴ H. Klengel, *Zwischen Zelt und Palast*, Leipzig, 1972, S. 168—176.

²⁵ B. A. L. Cranstone, *Animal husbandry: the evidence from ethnography*, in: «Domestication and exploitation of plants and animals» (далее — DEPA), London, 1969, p. 251—253.

²⁶ M. Urban, *Das Tier in den Kulturen der Südsee*, «Studium Generale», 20 Jg., 1967, Hf. 3, S. 192.

²⁷ E. Hahn, *Die Haustiere und ihre Beziehungen zur Wirtschaft des Menschen*, S. 134.

²⁸ V. G. Child, *Man makes himself*, London, 1941, p. 77—78; Г. Чайлд, *Древнейший Восток в свете новых раскопок*, М., 1956, стр. 57—58.

²⁹ C. A. Reed, *A review of the archaeological evidence on animal domestication in the prehistoric Near East*, in: R. J. Braidwood, B. Howe, *Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan*, Chicago, 1960, p. 122—123.

³⁰ L.-R. Nougier, *L'économie préhistorique*, Paris, 1970, p. 49—55; L. A. Brennan, *American dawn, A new model of American prehistory*, London, 1970, p. 181—229.

³¹ «Возникновение и развитие земледелия», М., 1967, стр. 10—11.

³² См., например: L.-R. Nougier, *Указ. раб.*, стр. 52—55.

³³ F. E. Zeuner, *Domestication of animals*, in: «A history of technology», Oxford, 1954, p. 324—340; *еро же*, *The domestication of animals*, «Scientia», 1956, vol. 91, № DXXV, ser. VI, № 1, p. 23—27; *еро же*, *A history of domesticated animals*, London, 1963, p. 36—64.

³⁴ E. S. Higgs, M. R. Jarman, *The origins of animal and plant husbandry*, in: ПЕР, p. 12.

объясняют процессы доместикации, исходя из примеров тесного сосуществования некоторых видов животных между собой. Современные эксперименты по одомашниванию животных показывают, что процесс этот сложен и не может быть объяснен теорией симбиоза³⁵. Дикие животные крайне пугливы, что в особенности относится к тем, на которых человек охотился и которые поэтому не только не стремились к нему, а, наоборот, старались его избегать. Они могли быть одомашнены только насильно. Убедительную критику теории симбиоза дал в свое время А. Н. Максимов, показавший трудности одомашнивания дикого оленя³⁶. К теории симбиоза восходит и «теория сопровождения» Г. Польхаузена, по которой доместикация выросла будто бы из сопровождения стад оленей общинами охотников³⁷. Недавние исследования, проведенные у эскимосов-карибу, показали, что ни один из способов охоты на оленей не предполагает движения за стадом, невозможного в силу физических различий человека и животного³⁸.

Другая мысль Ф. Цейнера, заслуживающая внимания, заключается в отрицании им целенаправленности процесса доместикации. Он приводит такую аргументацию: «...в мезолите было проще добывать пищу охотой, чем связываться с одомашниванием, которое дает эффект лишь через несколько поколений»³⁹. При этом автор не учитывал конкретной исторической ситуации, в которой происходила доместикация. Действительно, во многих областях, где имелись благоприятные условия для охоты и рыболовства, доместикации не было, а формы производящего хозяйства проникали сюда с трудом. Иное положение сложилось в Передней Азии, где процессы доместикации протекали на особом экологическом фоне. Ф. Цейнер прав лишь в том, что, конечно, первобытный человек не мог предвидеть последствий доместикации. В этом смысле процесс действительно не был целенаправленным. При этом нельзя, однако, отрицать стремления человека оставить подле себя животное в качестве потенциального источника мяса на случай нужды.

Нарисованная выше картина одомашнивания животных подтверждается материалами из таких первичных очагов, как Передняя Азия и Анды. На рубеже плейстоцена и голоцена коза, овца и бык были важнейшими объектами охоты в Передней Азии. Причем специализированная охота на козу отмечается в Южной Палестине⁴⁰, тур имел большое значение в Северной Сирии⁴¹ и Южной Анатолии⁴², а коза и овца — в горах Загроса⁴³. Именно в этих областях указанные животные и были одомашнены. Интересно, что первые шаги к доместикации овцы фиксируются еще в период усложненного собирательства, которое постепенно перерастает в земледелие. В этот же период отмечается особая культо-

³⁵ С. Н. Боголюбский, Указ. раб., стр. 231—234.

³⁶ А. Н. Максимов, Происхождение оленеводства. «Ученые записки Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук», 1929, т. 3, стр. 6—7.

³⁷ H. Pohlhausen, Das Wanderhirtentum und seine Vorstufen, 1954, S. 155—160.

³⁸ E. S. Burch, The caribou wild reindeer as a human resource, «American Antiquity», 1972, vol. 37, № 3, p. 345—347.

³⁹ F. E. Zeuner, Domestication of animals, p. 325.

⁴⁰ D. Perkins, The fauna from Madamagh and Beidha, «Palestine Exploration Quarterly», 1966, jan.—june, p. 66—67; P. Ducos, L'origine des animaux domestiques en Palestine, Bordeaux, 1968, p. 79—80.

⁴¹ M. van Loon, The Oriental institute excavations at Mureybit, Syria «Journal of the Near Eastern Studies», 1968, vol. 27, p. 279.

⁴² D. Perkins, Fauna from Catal Hüyük: evidence for early cattle domestication in Anatolia, «Science», 1969, vol. 164, p. 178.

⁴³ F. Hole, K. V. Flannery, The prehistory of Southwestern Iran: a preliminary report, «Proceedings of the Prehistoric Society», 1968, vol. 33, p. 161; D. Perkins, The faunal remains of Shanidar cave and Zawi Chemi Shanidar: 1960 season, «Sumer», 1960, vol. 16, p. 77—78; ерo же, Prehistoric fauna from Shanidar, Iraq, «Science», 1964, vol. 144, p. 1565; R. J. Braidedwood, B. Howe, Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan, p. 58—59, 169.

вая роль у указанных животных. Так, культ быка возникает уже в мезолитическом Мурейбите и достигает особого расцвета в докерамическом неолите Чатал Гуюка⁴⁴; косвенные данные о культе козы отмечены в Южной Палестине⁴⁵. О том же, несомненно, говорят находки глиняных фигурок животных, в изобилии встречающиеся в Передней Азии, начиная с раннего неолита.

Не менее важную роль, чем все вышеупомянутые животные, в охоте в некоторых частях Передней Азии в период мезолита играла газель. Сложилось даже мнение о вероятности ее domestikации здесь⁴⁶. Следует заметить, что первые опыты по одомашниванию охватывали несравненно большее количество видов, чем было одомашнено впоследствии. Домestikация в отдельных областях вполне определенных животных зависела, видимо, от того, что именно они в данной конкретной ситуации наиболее для этого подходили. Если бы газель была действительно одомашнена в Палестине, вряд ли коза вытеснила бы ее так быстро, как это случилось в позднем докерамическом неолите.

Изучение domestikации животных в Передней Азии показывает, что процесс этот занял, вероятно, не более трех — четырех тысяч лет⁴⁷.

Все указанные закономерности domestikации выявляются в ходе новейших исследований и в Андах, где уже 12 000 лет тому назад велась специализированная охота на лам и оленей⁴⁸. Археологические данные говорят о том, что по меньшей мере с VI тысячелетия до н. э. охотники на лам уже знали земледелие⁴⁹. Таким образом, можно считать, что и в Андах становление земледелия и животноводства происходило у одних и тех же групп населения, как и в Передней Азии. Тесная связь земледелия и животноводства в Андах не раз отмечалась этнографами⁵⁰. Там же зафиксирована и важная культовая роль ламы⁵¹.

Приведенные примеры говорят о том, что domestikация животных возможна не только на базе специализированной охоты, если понимать под последней охоту исключительно на один-два вида животных (такая охота имела место лишь в особых экстремальных условиях, например, в Арктике). Важно, однако, то, что все древнейшие домашние животные происходят от особей, которые являлись главными, хотя порой и далеко не единственными, объектами охоты.

Следующая проблема связана с распространением животноводства из первичных центров и его закономерностями. В настоящее время этот процесс лучше всего прослежен археологами в областях, прилегающих

⁴⁴ Cp. M. van Loon, Указ. раб., p. 271 и J. Mellaart, Catal Hüyük, A neolithic town in Anatolia, London, 1967, p. 101.

⁴⁵ P. Ducos, Указ. раб., p. 134—135.

⁴⁶ A. J. Legge, Prehistoric exploitation of the Gazelle in Palestine, in: PEP, p. 122.

⁴⁷ В связи с этим нельзя не затронуть вопрос о domestikации динго в Австралии, где они обитали по крайней мере с VII—VI тысячелетий до н. э. (D. J. Mulvaney, The prehistory of Australia, London, 1969, p. 65, 179), т. е. с того времени, когда австралийцы обладали уже вполне мезолитической техникой (В. Р. Кабо, Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии, М., 1969, стр. 238—239). Тем не менее за прошедшие с тех пор 7—8 тыс. лет динго так и не были одомашнены (M. J. Meggit, The association between Australian aborigines and dingoes, In: MCA). С учетом этого, возможно, следует более критически относиться к утверждениям об одомашнивании собак мезолитическими охотниками.

⁴⁸ T. F. Lynch, Preceramic transhumance in the Callejon de Huaylas, Peru, «American Antiquity», 1971, vol. 36, № 2, p. 145—146.

⁴⁹ L. Kaplan, T. F. Lynch, C. B. Smith, Early cultivated beans from an intermontane Peruvian valley, «Science», 1973, vol. 179, p. 76—77.

⁵⁰ J. V. Murra, Herds and herders in the Inca state, in: MCA, p. 187—188; S. Webster, Native pastoralism in the South Andes, «Ethnology», 1973, vol. 12, № 2, p. 115—117.

⁵¹ J. V. Мурга, Указ. раб.

к переднеазиатскому центру⁵². В результате в таких областях возникали вторичные очаги domestikации, в которых на основе заимствования домашних животных и скотоводческих навыков происходило одомашнивание местных животных либо того же вида, что и привнесенные домашние, либо другого. Вопрос о соотношении первичных и вторичных очагов чрезвычайно сложен, поскольку археологические данные часто допускают различное толкование. Так, например, стоянка, на которой обнаружены кости домашних животных, могла принадлежать как скотоводам-кочевникам, так и пастухам, пригнавшим скот из сельскохозяйственных районов⁵³. С другой стороны, у охотников могут спорадически появляться домашние животные, попавшие к ним тем или иным способом, что, однако, не означает возникновения у них животноводства⁵⁴. Поэтому к появляющимся время от времени в печати сообщениям об открытии самостоятельных центров domestikации следует относиться крайне осторожно.

Современные исследования показывают, что производящее хозяйство распространялось из Передней Азии в комплексном виде. Именно так оно попало в Грецию, на Балканы, в Западную Европу и в Северное Причерноморье⁵⁵. О том же говорят последние данные по хозяйству джейтунской культуры⁵⁶. Взгляд на гиссарскую культуру как культуру автохтонного скотоводства⁵⁷ в свете новейших исследований кажется ошибочным. Во-первых, есть основания сомневаться в том, что ранние гиссарцы не были знакомы с земледелием⁵⁸; во-вторых, домашняя овца была заимствована ими из Передней Азии⁵⁹. Таким образом, сейчас можно, по-видимому, допустить, что в Среднюю Азию производящее хозяйство попало в комплексном виде. Сложнее обстоит дело с проблемой появления животноводства в Северной Африке, которая еще плохо исследована. Вместе с тем уже те немногие археологические данные, которые имеются (пещера Хауа Фтех и Уан Мухуджиаг), свидетельствуют о переднеазиатском влиянии, поскольку среди древнейших домашних животных упоминаются козы и овцы⁶⁰, диких предков которых здесь

⁵² В. Н. Даниленко, *Неолит Украины*, Киев, 1969, стр. 176; В. М. Массон, *Поселение Джейтун*, Л., 1971, стр. 120—125; С. В. Титов, *Первое общественное разделение труда. Древнейшие земледельческие и скотоводческие племена*, «Краткие сообщения Ин-та археологии АН СССР» (далее — КСИА), 1962, вып. 88, стр. 21—22; А. А. Формозов, *К истории древнейшего скотоводства на юге СССР*, в сб. «Основные проблемы териологии», М., 1972, стр. 19—24; В. И. Цалкин, *О времени и центрах происхождения домашних животных в свете данных современной археологии*, «Известия АН СССР. Серия географическая», 1972, № 1; J. D. Clark, *The prehistory of Africa*, London, 1970.

⁵³ K. J. Narr, *Viehuchtproblem und archäologischsteologische Quellen*, «Anthropos», 1958, vol. 53, fasc. 3—4, p. 422.

⁵⁴ K. J. Narr, *Zur Domestikation und Frühgeschichte der Haustiere*, «Germania. Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts», 1964, Bd 42, S. 375.

⁵⁵ S. Payne, *Can Hasan III, the Anatolian aceramic and the Greek neolithic*, in: РЕР, р. 191—194; В. С. Титов, *Древнейшие земледельцы в Европе*, в сб. «Археология Старого и Нового Света», М., 1966, стр. 25—37; Д. Я. Телегин, *История племен днепро-донецкой культуры*. Автореф. докт. дис., Киев, 1967, стр. 33—34; В. И. Маркевич, *Неолит Молдавии*. Автореф. канд. дис., М., 1968, стр. 6—19.

⁵⁶ Ср.: В. М. Массон, *Указ. раб.*, стр. 122 и В. И. Цалкин, *Древнейшие домашние животные Средней Азии*, «Бюллетень Московского общества преобразования природы, отд. биол.», 1970, т. 75, вып. 1, 2.

⁵⁷ В. А. Ранов, Г. Ф. Коробкова, *Туткаул — многослойное поселение гиссарской культуры в Южном Таджикистане*, «Сов. археология», 1971, № 2, стр. 146.

⁵⁸ Г. Ф. Коробкова, В. А. Ранов, *Древнейшие землекопные орудия Средней Азии*, КСИА, 1973, вып. 136, стр. 77—80.

⁵⁹ Г. Ф. Коробкова, *К проблеме неолитических скотоводов Средней Азии*, «Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 г. в СССР», Ташкент, 1973, стр. 209.

⁶⁰ С. В. М. McBurney, *The Haua Fteah (Cyrenaica) and the stone age of south-east Mediterranean*, Cambridge, 1967, p. 313—317; F. Mori, *Tadrart Acacus: arte rupestre e culture del Sahara preistorico*, Turin, 1965, p. 225.

не было⁶¹. Эти находки не сопровождаются никакими материалами, прямо говорящими о земледелии. Следует, однако, отметить большие трудности, связанные с выявлением раннего земледелия. Рисунки, относящиеся к скотоводческому периоду и изображающие занимающихся земледельческим трудом женщин⁶², говорят о возможности существования земледелия. Таким образом, сейчас нет бесспорных доказательств не только в пользу того, что одомашнивание животных в Северной Африке происходило независимо от земледелия, но даже и в пользу того, что здесь существовал первичный очаг domestikации (на этом настаивал С. Н. Боголюбский⁶³).

Механизм проникновения животноводства в новые районы почти совершенно не изучен. Широкие возможности для исследований в этой области открывает комплексный археолого-этнографический подход. Первое, что следует учитывать при анализе этого явления,— консерватизм первобытной экономики. Практика показывает, что распространение форм производящей экономики в те районы, где возможности присваивающего хозяйства еще не исчерпаны, происходит с большим трудом⁶⁴. Известен, например, ответ бушменов на вопрос о причине отсутствия у них земледелия: «Зачем нам выращивать растения, когда в мире имеется так много орехов монгонго?»⁶⁵ С другой стороны, адаптация производящей экономики к новым природным условиям происходит далеко не сразу. В болотистых краях Карпатского бассейна животноводство долго развивалось на основе козоводства и овцеводства, привнесенных сюда извне. Позже здесь одомашнивали местных животных, туров и диких свиней, которые являлись важнейшими объектами охоты местных племен⁶⁶. Очевидно, ознакомившееся с новыми формами хозяйства туземное население не ограничилось слепым подражанием, а применило полученные знания для приспособления производящей экономики к местной экологии.

Весьма существенные закономерности распространения производящего хозяйства выявляются с привлечением этнографических материалов, что уже отмечалось в науке⁶⁷. Здесь следует выделять два типа явлений: во-первых, передачу обеих форм производящего хозяйства вместе, либо передачу животноводства племенам, уже знающим земледелие; во-вторых, проникновение животноводческих навыков к бродячим охотникам. Исследования показывают, что лишь в первом случае животноводство становится либо главной формой экономики, либо одной из главных наряду с земледелием. Так, обе эти формы стали доминирующими только у тех ченчу (Индия), к которым они попали в комплексном виде, тогда как ченчу, населяющие возвышенности, хотя и переняли некоторых домашних животных, живут главным образом за счет охоты и собирательства⁶⁸. Еще более показателен пример навахов, которые переняли животноводство у испанцев, будучи уже земледельческим народом. Среди исследователей существуют разногласия по поводу относительной роли животноводства в их экономике, однако все они признают, что яллагное скотоводство составляет важную часть их

⁶¹ F. E. Zeuner. A history of domesticated animals, p. 129, 155.

⁶² А. Лот, В поисках фресок Тассили, М., 1962, стр. 47, 79, 128.

⁶³ С. Н. Боголюбский, Указ. раб., стр. 37—43, 170—171.

⁶⁴ В. Н. Даниленко, Указ. раб., стр. 165; M. R. Jarman, European deer economies and the advent of the neolithic, in: PER, p. 136—138.

⁶⁵ R. B. Lee, What hunters do for a living, or, how to make out on scarce resources, in: «Man the hunter», Chicago, 1968, p. 33.

⁶⁶ S. Bökönyi, Archaeological problems and methods of recognizing animal domestication, in: DEPA, p. 226, 227.

⁶⁷ C. D. Forde, Указ. раб., стр. 394; R. Jones, Указ. раб., стр. 256; С. И. Вайнштейн, Ю. И. Семенов, Рец. на книгу Ю. П. Аверкиевой «Индийское кочевое общество XVIII—XIX вв.», «Сов. этнография», 1971, № 6, стр. 189.

⁶⁸ C. von Fürer-Haimendorf, The Chenchus, London, 1943, p. 57, 298—302.

годового хозяйственного цикла⁶⁹. Подобным же образом животноводство было воспринято и некоторыми племенами Южной Америки, знаковыми с земледелием⁷⁰.

Иные последствия имело заимствование домашних животных бродячими охотниками, которое необходимо рассмотреть в связи с имеющимся в науке мнением о том, что кочевое скотоводство могло частично возникнуть именно таким способом⁷¹. Весьма уместным в этом отношении представляется изучение вопроса о распространении лошадей в Америке. Известно, что диких лошадей в Америке не было. Лошади завезены сюда испанцами, которые и передали местному населению навыки обращения с ними. Последнее чрезвычайно показательное. Самостоятельной, независимой от внешних влияний домостроения не произошло не только у охотников, которые видели в домашних животных всего лишь дичь⁷², но и у земледельцев, которые теоретически могли одомашнивать одичавших животных. Это еще раз доказывает, что такая домостроения является длительным процессом. В Америке этот процесс был ускорен внешним влиянием, поскольку люди, однажды научившись обращаться с домашними животными, смогли теперь самостоятельно одомашнивать диких. Любопытное описание этого явления оставил Ч. Дарвин. По его словам, племя, живущее у залива Грегори, отдавало своим соседям плохих лошадей, зимой же несколько самых ловких мужчин отправлялись на ловлю диких лошадей⁷³. Подобная же картина наблюдается и в неолитической Европе, где С. Бекени отмечает несколько волн одомашнивания⁷⁴.

Проникновение домашних лошадей к индейцам Америки отнюдь не привело к формированию у них скотоводческой экономики. Главной формой хозяйства у племен североамериканских равнин была охота на бизонов⁷⁵, а у индейцев Патагонии — охота на одичавших животных, а также грабеж⁷⁶. Их годовой хозяйственный цикл не включал никаких элементов скотоводства⁷⁷. Вместе с тем, было бы ошибкой полностью игнорировать скотоводческие элементы в указанных культурах. Само наличие домашних животных уже требует хотя бы элементарной заботы о них⁷⁸. Однако нельзя и переоценивать роль этих элементов. Так, например, индейцы чако, хотя и имели лошадей, но не разводили их. Единственным средством пополнения стада у них был грабеж⁷⁹. Интересно отметить тот факт, что многие из упомянутых племен в доколониальный период знали земледелие, хотя бы и в небольших масштабах, поэтому их переход к конной охоте можно считать в какой-то мере регрессом. Причиной этому послужил целый ряд факторов, к важнейшим

⁶⁹ K. Luomala, *Navaho life of yesterday and today*, Berkeley, 1938, p. 51, 36—61; C. Kluckhohn, D. Leighton, *The Navaho*, Cambridge, 1948, p. 7, 19—20; P. Kunstadter, Указ. раб., стр. 71—72.

⁷⁰ J. H. Steward, L. C. Faron, *Native peoples of South America*, N. Y., 1959, p. 359—360.

⁷¹ С. И. Вайнштейн, *Историческая этнография тувинцев*, М., 1972, стр. 178—180; его же, *Проблема происхождения и формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии*, «Доклады советской делегации на IX Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, Чикаго, 1973», М., 1973.

⁷² Ю. П. Аверкиева, *Индийское кочевое общество XVIII—XIX вв.*, М., 1970, стр. 21; J. H. Steward, L. C. Faron, Указ. раб., стр. 421.

⁷³ Ч. Дарвин, *Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»*, М., 1954, стр. 270.

⁷⁴ S. Bökönyi, Указ. раб., стр. 222.

⁷⁵ Ю. П. Аверкиева, Указ. раб., стр. 29, 37; P. Holder, Указ. раб., стр. 89.

⁷⁶ J. H. Steward, L. C. Faron, Указ. раб., стр. 378, 421.

⁷⁷ См., например: J. C. Ewers, *The horse in Blackfoot. Indian culture*, Washington, 1955, p. 123—124.

⁷⁸ Ю. П. Аверкиева, Указ. раб., стр. 13—25.

⁷⁹ J. H. Steward, L. C. Faron, Указ. раб., стр. 421.

из которых следует отнести давление со стороны европейцев и вызванное им массовое передвижение племен, что, несомненно, облегчало переход к новому образу жизни⁸⁰.

Любопытен вопрос об использовании заимствованных животных. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вместе с животными передавались и те их функции, которые они имели у культуры-донора. Так, американские индейцы использовали лошадь в качестве верхового и вьючного животного⁸¹, как и научившие их этому европейцы. Аборигены Австралии ловили одичавших ослов и верблюдов, ознакомившись с европейскими методами их использования. Животных приручали и употребляли как гужевой транспорт. Тасманийцы, перенявшие умение охотиться с собаками, сами стали приручать их и использовать для охоты⁸². Ченчу вместе с коровами восприняли и индуистский обычай есть их мяса⁸³. Нельзя, однако, думать, что во всех этих случаях происходило слепое копирование уже разработанных методов. Американские материалы показывают примеры творческого подхода к изготовлению седел, стремян, конской сбруи⁸⁴.

Следующий важный момент, который следует подчеркнуть,— это сравнительно быстрые сроки распространения домашних животных. Так, проникновение лошадей во все области современных США произошло не более чем за 250 лет⁸⁵. Чрезвычайно быстро заимствовали собак и тасманийцы (в течение двух лет)⁸⁶. Может сложиться впечатление, что эти данные противоречат высказанному выше утверждению о том, что проникновение производящей экономики в новые области испытывает большие трудности. Это неверно. Проникновение производящей экономики и проникновение отдельных домашних животных — далеко не равнозначные явления.

В первом случае происходит постепенное вытеснение старых форм хозяйства производящей экономикой, которая становится ведущей, во втором — проникновение домашних животных приводит лишь к интенсификации старой формы хозяйства — охоты.

В связи с рассматриваемой проблемой нельзя не остановиться на вопросе о происхождении и распространении оленеводства, поскольку именно оно довольно долгое время давало пищу сторонникам идеи происхождения скотоводства непосредственно из охоты. В настоящее время убедительно доказано происхождение евразийского оленеводства из единого саянского очага⁸⁷. Причем, независимо от того, приручали ли оленя самодийцы⁸⁸ или тунгусы⁸⁹, ясно, что в любом случае становление оленеводства произошло под влиянием разведения других животных⁹⁰. Своеобразием domestikации оленя было, во-первых, то, что она произошла гораздо позднее, чем одомашнивание других важнейших домашних животных (коза, овца, бык, свинья, лошадь), а во-вторых, то, что очаг его domestikации далеко отстоял от центров древнейшего земледелия. Подобно лошади в Америке, олень был заимствован охотничьими культурами Сибири, которые, однако, не стали от этого оленеводческими культурами в полном смысле этого слова. Вплоть до недавнего времени

⁸⁰ Ю. П. Аверкиева, Указ. раб., стр. 6—10. P. Holder, Указ. раб., стр. 84—85.

⁸¹ Ю. П. Аверкиева, Указ. раб., стр. 22.

⁸² R. Jones, Указ. раб., стр. 256, 259, 261, 263.

⁸³ C. von Föüger-Haimendorf, Указ. раб., стр. 73—74.

⁸⁴ Ю. П. Аверкиева, Указ. раб., стр. 23—24; J. H. Steward, L. C. Fagon, Указ. раб., стр. 413; J. C. Ewers, Указ. раб., стр. 328—329.

⁸⁵ Ю. П. Аверкиева, Указ. раб., стр. 11—13.

⁸⁶ R. Jones, Указ. раб., стр. 261.

⁸⁷ С. И. Вайнштейн, Историческая этнография тувинцев, стр. 99—125.

⁸⁸ Там же, стр. 110.

⁸⁹ Г. М. Василевич, Эвенки, М., 1969, стр. 80.

⁹⁰ С. И. Вайнштейн, Историческая этнография тувинцев, стр. 106; Г. М. Василевич, Указ. раб., стр. 80.

главным видом деятельности здесь оставалась охота, с которой связывался годовой хозяйственный цикл⁹¹. Еще А. Н. Максимов в свое время показал, что у большинства народов Сибири олень используется в основном как верховое или транспортное животное⁹². Таким образом, оленеводство у охотничьих народов существовало лишь в качестве отдельных скотоводческих элементов, не определяя основного направления хозяйства. Так было до тех пор, пока эти народы обитали в тайге, где выработался их охотничий образ жизни. Иначе обстояло дело в тундре, где в связи с миграционными процессами и заимствованиями характер оленеводства изменился: олень стал основным источником существования⁹³. Таким образом, при определенных условиях (ухудшение возможностей для охоты, влияние со стороны других культур) охотничьи культуры могли стать скотоводческими, однако процесс этот в настоящее время еще очень мало изучен. Аргументом в пользу того, что охотничьи племена Центральной Азии перешли непосредственно к скотоводству, минуя период оседло-земледельческого быта, С. И. Вайнштейн считает наличие у них юрты, которая восходит к охотничьему чуму⁹⁴. На это уместно заметить, что у навахов до сих пор сохранилось жилище, возникшее еще в период доземледельческого быта, хотя хозяйство их с тех пор претерпело весьма существенные изменения.

Приведенный обзор современных данных о происхождении животноводства позволяет сделать ряд общих выводов, а также наметить направления дальнейших исследований. Несомненным представляется тот факт, что древнейшее одомашнивание животных было тесно связано со становлением земледелия. Распространение домашних животных из первичных очагов domestikации началось очень рано и охватило значительные территории, однако оно, как правило, лишь тогда приводило к сложению животноводства, когда сопровождалось распространением земледелия. В противном случае домашним животным отводилась подсобная роль в рамках присваивающего хозяйства.

Многие проблемы, затронутые в настоящей статье, требуют дальнейшей разработки. Так, например, совершенно не изучен вопрос о характере специализированной охоты и условиях ее существования. В дальнейшем, видимо, следует уделить особое внимание особенностям одомашнивания и распространения разных видов животных, в зависимости от их темперамента и повадок. Очень важно изучение особенностей распространения производящего хозяйства в различные области и последствий этого процесса. При этом следует иметь в виду, что культурареципиент может в дальнейшем обогнать в развитии культуру-донора. Интересен вопрос о ранних формах животноводства, решение которого невозможно без привлечения широкого круга этнографических источников. Далеко не всегда ясна археологическая картина рассмотренных явлений. Процесс domestikации оленя, например, археологами еще не зафиксирован. Есть также много других вопросов, которые ждут своих исследователей. Вместе с тем современное развитие науки, поднявшейся за последние 20 лет на качественно новую ступень, позволяет надеяться, что большинство из них можно будет решить в самом ближайшем будущем.

⁹¹ См., например: Г. М. Василевич, Указ. раб., стр. 42—53; А. В. Хомич, Ненцы, М.—Л., 1966, стр. 50—51; Е. А. Алексеенко, Оленеводство у кетов, «Кетский сборник», М., 1969, стр. 114.

⁹² А. Н. Максимов, Указ. раб., стр. 8—10.

⁹³ А. В. Хомич, Указ. раб., стр. 51; Б. О. Долгих, Очерки по этнической истории ненцев и энцев, М., 1970, стр. 133—134.

⁹⁴ С. И. Вайнштейн, Проблема происхождения и формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии, стр. 7—8.

TOWARDS THE PROBLEM OF THE ORIGIN AND SPREAD OF ANIMAL HUSBANDRY

The problem under consideration is not a new one in science. However, it is only in our own time that the development of archaeological studies has made it possible to localize the centres of primary domestication and to elucidate the main features and consequences of this process. Data on the West Asiatic and the Andean centres show that the process of the domestication of animals was inseparably linked with the rise of earliest agriculture. Another pre-condition of domestication is the specific role of the animals in question as hunting objects. This role also gives rise to their importance as objects of religious cult. Once domesticated such animals expanded far beyond the primary centre of their domestication. Ethnographic data are of great importance for studying this process: they let us note several modes, by which such expansion is achieved. In some cases domestication leads to the expansion of a complex productive economy or to the introduction of domestic animals into an agricultural economy; in others—domestic animals are acquired by huntsmen. Different modes of expansion lead to different consequences.

А. П. Окладников

ЛОСИ НА ДОЛГОМ ПОРОГЕ

(ПЕРИОДИЗАЦИЯ НИЖНЕАНГАРСКИХ
НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ)

10 августа 1937 г. рыбацья лодка, в которой плыли вниз по Ангаре три молодых в то время человека, участники археологической экспедиции Иркутского краеведческого музея — А. П. Окладников, А. Д. Фатьянов и А. Н. Мельников, причалила к каменистому левому берегу Ангары посредине одного из грозных ангарских порогов — Долгого, как его издавна называли местные жители, или Дубинского порога. Изумленные, они остановились у огромной глыбы траппа, которая уже издали, с середины реки, привлекала внимание своей величиной и необычной формой. Она стояла вертикально, как параллелепипед, как гигантская призма. Собственно, именно эта глыба, так эффектно и необычно выглядевшая среди других бесчисленных глыб и валунов, усеивающих берега реки вдоль Долгого порога, и заставила нас повернуть лодку к ней.

Местные жители, обитатели деревни Дубинино, расположенной в 7 км выше на том же левом берегу, а также рыболовы и охотники, постоянно проплывавшие мимо, конечно, тоже видели этот камень, но никто из них не знал, что на его поверхности сохранились рисунки глубокой древности — фигуры двух лосей и несколько антропоморфных изображений. На близлежащем Ушканьем острове тогда же были найдены наскальные рисунки, тоже ранее неизвестные в литературе по археологии Сибири.

Художник нашей экспедиции А. Д. Фатьянов (ныне директор Иркутского художественного музея), зарисовал на глаз изображения, обнаруженные на Долгом пороге и на Ушканьем острове. Все эти изображения были довольно подробно описаны в дневнике экспедиции. Они упоминались затем в моей книге «Неолит и бронзовый век Прибайкалья»¹. В 1966 г. они были описаны по дневникам экспедиции 1937 г. и по рисункам А. Д. Фатьянова в другой моей книге о петроглифах Ангары².

После длительного перерыва мне и моим сотрудникам, участникам Усть-Илимской археологической экспедиции Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР, довелось снова вернуться к этим наскальным изображениям. Они оказались в зоне затопления Усть-Илимской гидроэлектростанции, и перед нами встал вопрос о более тщательной их фиксации, а также о возможности переправить глыбу с рисунками в безопасное место. Ранее это было сделано нами с частью наскальных рисунков Каменных островов, ныне затопленных водами Братского моря, водохранилища Братской ГЭС.

Участники Усть-Илимской экспедиции неоднократно посещали места, где находятся камни с изображениями. Был образован и специальный

¹ А. П. Окладников, Неолит и бронзовый век Прибайкалья, ч. I—II, «Материалы и исследования по археологии СССР», № 18, 1950, стр. 281.

² А. П. Окладников, Петроглифы Ангары, Л., 1966.



Рис. 1. Общий вид камня с изображениями лосей на пороге Долгом

небольшой отряд под руководством Э. А. Скорыниной, который сфотографировал рисунки в районе Долгого порога и острова Ушканьего, а также сделал с них эстампажи.

В результате появилась возможность полнее и точнее их описать, а также уяснить место этих замечательных памятников в истории искусства древних обитателей сибирской тайги.

Остановимся на двух самых монументальных фигурах лосей на «призматической», вертикально стоящей глыбе траппа, о которой шла речь выше.

Верхушка глыбы скруглена и как бы окатана. Боковые же четыре грани шероховатые, плоские. Основанием, всей многотонной тяжестью, глыба опирается непосредственно на скалистую плоскость берегового уступа. С боков она прочно зажата и, можно сказать, «заклинена» большими остроугольными кусками траппа. Изображенные на ней две фигуры лосей показаны идущими в одном направлении справа налево, т. е. с запада на восток, вверх по реке.

Уточняя прежнее описание (1937 г.), остановимся сначала на задней, правой фигуре лося. У него широкое, почти овальное по очертаниям туловище с округлым массивным крупом. Спина слегка вогнутая. На ней выступает плавно очерченный, но вполне отчетливо показанный горб над лопатками. Шея относительно короткая, но пропорциональная по размерам. Голова лося длинная. На ней подчеркнуто, но сдержанно, без утрировки, показана массивная, слегка нависающая верхняя губа — отличительный признак морды лося. Пасть открыта, нижняя губа короткая. Под шеей изображена коротким выступом характерная для оленя «кисть» или «серьга». На морде животного круглой, старательно выбитой ямкой, обозначен глаз. Рога отсутствуют, но зато тщательно выбиты уши, откиннутые назад. Ноги животного тонкие, длинные, внизу переходящие почти в острие. Спереди изображены две ноги, раскинутые в стороны, как бы в быстром беге. Одна задняя нога вытянута вперед. Вто-

рой ноги нет, так как она не уместилась на глыбе. На крупе сверху имеется тонкая полоса, очевидно, изображающая короткий хвостик зверя. Правда она находится выше, чем следует для хвоста. Но такое положение хвоста тоже, должно быть, определяется отсутствием места на камне.

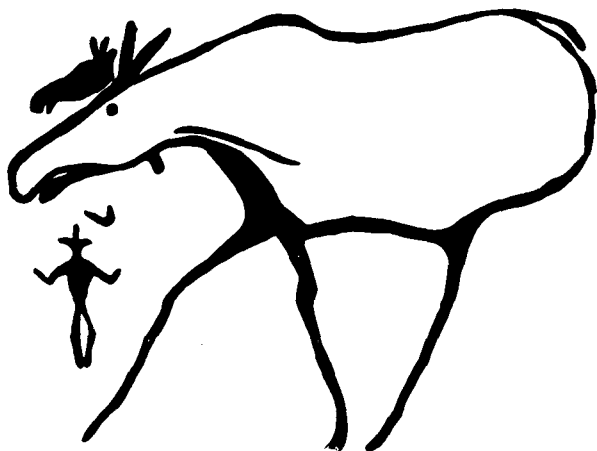


Рис. 2. Задняя фигура лося на пороге Долгом

Вся эта мощная фигура полна динамики и внутренней сдержанной экспрессии. Такое впечатление создается как общим наклоном туловища зверя, так и вытянутой вперед шеей и головой с раскрытой пастью. Как будто зверь ломится сквозь тайгу, одержимый страстью. Размеры фигуры: длина — 136, высота — 110 см.

Вторая, передняя фигура лося, расположенная на соседней широкой плоскости глыбы траппа, почти такого же размера, как задняя. Длина ее — 173, высота — 165 см. У нее такое же овальное по общим очертаниям туловище, но не столь широкое, не такое массивное. На чуть вогнутой спине виден обычный горб. Шея короткая. Голова лося длинная, с длинной мордой и нависающей верхней губой. Пасть приоткрыта, как и у задней фигуры. Нижняя губа тоже короткая, узкая. Глаз обозначен ямкой. На голове отчетливо видны два узких длинных уха, откинутых назад. Перед ушами поднимаются два рога, оба ветвистые — с отростками. Рога и отростки наклонены вперед. В целом же уши и рога раскинуты веерообразно. У животного четыре ноги. Передние ноги раскинуты в стороны, задние вытянуты вперед. Копыта у лося оформлены в виде изящных «туфелек». Лось этот шагает или бежит, широко раскидывая ноги. Однако в нем нет столь резко выраженной динамики и такой устремленности, как в правой фигуре. Обе фигуры лосей выполнены в одинаковой технике: камень внутри контуров фигуры выбран мелкими точечными ударами тупого инструмента, таким образом фигура лося была углублена на 1—2 мм. Затем, после такой «точечной ретуши», древний мастер прошлифовал сплошь выбитую поверхность. Местами шлифовка оказалась более глубокой, желобком. Таким способом обозначен рот на правой лосиной фигуре.

На том же левом берегу Ангары в районе Долгого порога имеется еще одна фигура лося. Рисунок этот, как отмечалось в дневнике 1937 г., «выбит неглубоким желобком на верхней плоскости большого плоского камня на правой стороне от устья небольшой р. Долгой. Изображена фигура лося с большим и массивным отвислым брюхом. Горб его крутой. Морда тяжелая и массивная. Глаз выбит ямочкой. На голове торчат развилкой два рога. Круп зверя округлый, на нем сзади виден короткий

хвостик. Ног — четыре. Манера, в которой изображен этот лось, отличается от той, в которой выполнены другие, описанные ниже рисунки лосей. В то время как последние вполне реалистичны, здесь фигура животного сильно стилизована и уплощена. Она обрисована одним плавным, как бы облегающим ее контуром. Бросается в глаза стремление древнего художника обобщить, округлить тело и голову зверя. Голова дана в виде короткого, параболического выступа и скорее напоминает голову сайги, чем лося. Ноги тоже стилизованы, и в их передаче ощущается склонность к плавной кривой линии. Они, особенно передняя

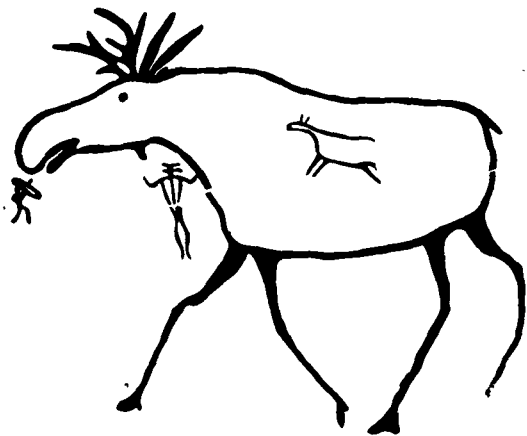


Рис. 3. Передняя фигура лося на пороге Долгом

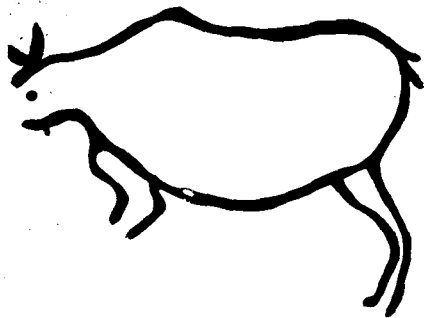


Рис. 4. Фигура лося на левом берегу Ангары в районе порога Долгого

пара, даже утрированно выгнуты. По своеобразной манере стилизации этот рисунок напоминает некоторые рисунки на Втором Каменном острове у дер. Егоровой»³.

К этому нужно добавить, что кончик морды животного отсутствует. Скорее всего он просто не поместился на глыбе, где для него не хватило места. Ноги лося спереди короткие, изогнутые, почти в виде зигзага. Задние ноги длиннее. Они тоже изогнуты, и концы их образуют как бы ступни. Длина рисунка 88, ширина 68 см.

Монументальные фигуры лосей на призматической глыбе были выбиты на свободной, ничем еще не занятой поверхности, и для них полностью была использована поверхность двух ее плоскостей.

Однако они здесь не единственные и сопровождаются другими изображениями меньшего размера, явно помещенными на оставшиеся свободными второстепенные участки скальной поверхности. Это не просто второстепенные по значению, а сопровождающие рисунки, своего рода «сателлиты» больших лосей. Таково, прежде всего, небольшое изображение лося, вписанное внутрь туловища переднего, левого лося. Изображение это выполнено узкой прошлифованной бороздкой и схематично по стилю. У животного почти прямоугольное, лишь слегка округленное широкое туловище, вытянутая вперед узкая голова, на которой торчат две короткие полоски — рога или уши. Ног четыре, они прямые и вытянуты попарно вперед и назад, параллельно друг другу.

Прямоугольная форма туловища, схематично очерченная голова, как и прямые ноги контрастно противоположны по своей трактовке большим фигурам лосей. Отсюда ясно, что в этом рисунке явственно выступают принципиально другая стилистическая манера и, более того, другое художественное мировоззрение. Это, очевидно, позднейший рисунок, впи-

³ А. П. Окладников, Петроглифы Ангары, стр. 98.

санный на свободное место в древнем изображении. Однако вписан он внутри тела лося явно не случайно, а намеренно помещен на определенном месте, в его «чреве». Речь идет, должно быть, о магии плодородия, о том, что позднейший мастер, работавший в схематизирующей, или, как сказал бы Герберт Кюн, «имажинитивной» манере, ставил перед собой именно эту, а не какую-либо иную цель: усилить воспроизводящую мощь природы, увеличить количество лосей в тайге.

Что именно так следует понимать связь двух изображений (раннего — реалистического и позднего — схематизированного) свидетельствуют этнографические материалы, изданные в свое время А. Ф. Анисимовым и Г. М. Василевич; например, охотничья мистерия тунгусских племен — «иконипка» и «шингкэлавун»⁴.

Около того же левого, переднего лося на нашей глыбе траппа видны две антропоморфных фигуры. Первая фигура, выполненная узким желобком, помещена непосредственно около морды животного. Изображен человек с луком и стрелой, направленной прямо в пасть зверю. Человек маленький, крохотный по сравнению с огромным лосем. Он показан в профиль, в живой позе, в движении, с двумя широко развернутыми ногами, узкой талией и круглой головой.

Вторая антропоморфная фигура на камне изображена строго в фас. Она выполнена контурными линиями. У нее длинное треугольное тело, разделенное на две половины вертикальной линией, «позвоночником». Ноги согнуты в коленях «ромбом». Ступни их слегка выгнуты в стороны. Обе руки подняты вверх в молитвенном жесте адорации, поклонения. Оригинально изображена голова: в виде двух коротких горизонтальных полосок пересекающих продолжение «позвоночника», шею фигуры. Очень близкая по трактовке схематическая антропоморфная фигура, но более массивная и крупная по размеру, помещается и под головой левой фигуры лося. Она тоже показана в фас. Ноги ее точно так же согнуты ромбом, руки, согнутые в локтях, воздеты кверху в молитвенном жесте обращения к высшей силе. Голова изображена в виде тройной развилки. Так передана, видимо, не только сама голова, но и развилчатый, рогатый головной убор. Над головой виден изолированный знак в виде опрокинутого угла.

Две последние антропоморфные фигуры не только повторяют друг друга по манере изображения тела, по позе — ритуального (шаманского) танца, но и столь же несомненно имеют одинаковую семантическую основу — они передают одинаковые идеи, связанные с шаманским ритуалом и мифологией. В них выражены, очевидно, представления, связанные с культом божественного зверя — лося. Эти представления сохранились и дошли до нашего времени в мифологическом комплексе охотников тайги, у которых с образом мифического лося связана картина живой вселенной в зверином облике (лося), а также мифической матери и властительницы зверей, обеспечивающей пищу для голодной общины. Такая мать зверей, владычица звериного царства, носит у тунгусов наименование «бугады».

Это, несомненно, древнейший пласт представлений, связанных с образом лося на наскальных изображениях таяжных племен каменного века, в полном смысле слова архаический и исходный для всего дальнейшего развития этого искусства. Но для того чтобы глубже понять историю изображений на камне у Долгого порога и отраженную в них эволюцию мировоззрения племен тайги, следует учесть, что тот же образ лося характерен и для другого комплекса представлений — о шамане у якутов, тунгусов и других охотничьих племен тайги и тундры. «Мать-зверь» шамана, как показывал Г. В. Ксенофонов, воспитывает души ша-

⁴ А. П. Окладников, Неолит и бронзовый век Прибайкалья, ч. I—II, стр. 316—318.

манов до их рождения, пока те находятся на священном шаманском дереве в своих гнездах. Мать-зверь сопровождает шаманов и впоследствии, когда они выступают в качестве взрослых шаманов, посредников между миром земных людей и сверхъестественными мирами. Она их оберегает, она борется за них с Матерью-зверем другого шамана⁵.

Можно думать, таким образом, что поздние мастера, выбивая антропоморфные фигуры под древними монументальными изображениями лосей, стремились выразить в таком сочетании древнего и нового рисунков свои представления о божественном лосе — бугады, о матерях не только зверей, но и шаманов. Речь идет, следовательно, о вполне сложившемся шаманизме, об устоявшихся шаманских ритуалах и мировоззрении.

Таким образом, древние изображения лосей, в которых, по-видимому, воплощалась идея о божественном лосе и о матери зверей, в конечном счете — идея плодородия, приобрели теперь новую семантическую нагрузку, более сложное и развитое содержание, в основе которого находится шаманистический комплекс. Когда же это произошло и каков, следовательно, возраст антропоморфных изображений, сопровождающих древние фигуры лосей? По аналогии с другими изображениями, выполненными в том же духе, в тех же традиционных формах (треугольные туловища; ноги согнутые ромбом — в позе ритуального танца; руки, воздетые в жесте преклонения и просьбы о помощи выше), следует полагать, что человечки на глыбе с Долгого порога, как и все другие антропоморфные фигуры такого рода, могут быть отнесены к зрелой культуре эпохи бронзы. В абсолютных датах это скорее всего вторая половина II — начало I тысячелетия до н. э.

Что же касается датировки изображений двух больших лосей на Долгом пороге, о которых здесь шла речь, то они являются выдающимися произведениями зрелого реалистического стиля, который, по моему неоднократно высказанному ранее мнению, входит в число основных элементов развитой неолитической культуры таежных охотников сероволосы и отчасти китойского времени. Тем интереснее, что на той же уникальной трапной глыбе с Долгого порога и в непосредственной связи с первой, т. е. правой, фигурой лося находится еще одно лосиное изображение. На этот раз не полное, а частичное, парциальное. Над головой большого лося здесь выбита малая голова лося, ориентированная в том же направлении — вверх по реке. И для нее характерна та же вполне реалистическая по своей трактовке и форме манера исполнения. У нее явно видны два уха в виде развилки, горбатый крутой лоб, массивная и тоже сильно выгнутая губа. Пасть раскрыта, нижняя губа слегка отвислая. Голова в целом производит впечатление как бы отрезанной. Для понимания возраста и сущности этого рисунка важно, что парциальные изображения лосей, и притом именно лосиных голов, хорошо известны теперь и в других наскальных изображениях Сибири. Сюда относятся, прежде всего, целые серии стилизованных лосиных голов на Каменных островах Ангара, ныне залитых водами Братского моря. Головы эти выполнены на Каменных островах техникой шлифовки. К числу парциальных изображений такого рода принадлежит и замечательная «Лесная мадонна» на том же Втором Каменном острове, где мы видели серии вышлифованных лосиных голов⁶.

Парциальные изображения имеются не только в наскальных рисунках, но и в мелкой пластике. Они обнаружены в памятниках определенного этапа неолитического времени на Ангаре, в китойских погребениях вместе с выражено-китойским инвентарем, в могилах, где костяки засыпались по китойскому ритуалу красной охрой, «кровью мертвых».

⁵ Г. В. Ксенофонов, Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов, М., 1930; «Schamanengeschichten aus Sibirien (aus Russischen übersetzt und eingeleitet von Adolf Friedrich und Georg Budruss)», München, 1955, S. 95—208.

⁶ А. П. Окладников, Петроглифы Ангара, табл. 48—51, 61 и др.

Серия таких скульптур оказалась в погребениях замечательного могильника «Локомотив» (иначе — «Циклодром») в бывшем Глазковском предместье Иркутска. Оттуда же происходит единственная в своем роде, потрясающая коллекция лосиных головок, вырезанных из резцов самого лося. Лось представлен в них как бы вдвойне: и своим скульптурным обликом, и самым своим материальным веществом, зубами.

Парциальные головы лосей есть на скале «палимпсесте», обнаруженной мной по правому берегу речки Тальмы, впадающей в Куленгу. Они здесь налегают на самые ранние, неолитические фигуры лосей реалистического стиля. На миниатюрные головы лосей, выполненные красной краской, столь важной для погребального ритуала китойских племен, здесь в свою очередь наслаиваются глазковские по времени фигуры «танцующих» человечков, изображенных в профиль. Значит, головы лосей старше глазковских, но моложе неолитических памятников, иначе говоря, китойские по времени.

Из всего сказанного следует, что обычай изготавливать скульптурные парциальные головки лосей и рисовать их же на скалах вообще может быть с полной уверенностью датирован китойским временем. Так нужно определить возраст и парциальной головки лося на камне у Долгого порога: она пририсована здесь к большой полной лосиной фигуре именно в китойское время.

Итак, первыми пришли к камню у порога Долгого неолитические охотники на лосей. Их целью было магическое воспроизводство зверей в тайге, в первую очередь лосей. Они выбили на двух плоскостях камня, обращенных к реке, к бурлящему в брызгах и пене порогу, двух больших, реалистически трактованных лосей. Лоси шли на их рисунках друг за другом, гонимые инстинктом продолжения рода.

Со временем к священной скале, обиталищу матери зверей, подошел художник китойского времени и выбил на ней свой парциальный рисунок головы лося. Ему не требовалось изображать полную лосиную фигуру. Для него было достаточно и одной ее части, но зато самой важной, самой характерной — вместилища разума и души зверя, его головы.

А через несколько столетий, после глазковского времени, когда в тайге появились собственные дитейщики и, быть может, металлурги, искатели руд, к чтимой издревле скале снова пришли художники бронзового века и почтительно дополнили древнюю простую сцену новыми рисунками. Они выразили при этом в своей усложненной и обогащенной новыми сюжетами композиций новое отношение к миру зверей, к божественным лосям. А когда сложилось такое характерное явление в социальной и духовной жизни охотничьих племен Сибири, как шаманство, около божественных лосей появились первые шаманы, чудотворцы, маги и художники, ходатаи за своих сородичей, их защитники от видимых и невидимых врагов и несчастий.

THE ELKS AT DOLGIY POROG (TOWARDS THE PERIODIZATION OF THE LOWER ANGARA ROCK REPRESENTATIONS)

The author gives a detailed description of representations upon rocks of elks and anthropomorphic figures in the Lower Angara region. Analysis leads him to the conclusion that these representations belong to different chronological periods. The ancient realistic elk figures belong to the Neolithic taiga tribes, while the anthropomorphic drawings may be attributed to the mature Bronze culture (second half of the Second — to the beginning of the First Millennium B. C.) The author considers the semantic contents of the representations to have changed in the course of time: the ancient elk drawings reflected the idea of the divine elk, while later artists expressed, through a combination of ancient and new drawings, a firmly established shamanistic outlook.

М. В. Крюков

ДАЕТ ЛИ СИСТЕМА БРАЧНЫХ КЛАССОВ КЛЮЧ К РАЗГДКЕ «АВСТРАЛИЙСКОЙ КОНТРОВЕРЗЫ»!

Статья Ю. И. Семенова, посвященная проблеме перехода от материнского рода к отцовскому, имеет подзаголовок «Опыт теоретического анализа»¹. Автор демонстрирует в ней пример дедуктивного метода исследования: исходя из определенных первоначальных постулатов, Ю. И. Семенов путем строго логического рассуждения выводит те или иные структуры, которые затем проецирует в этнографическую действительность и находит в ней реальные формы социальной организации, соответствующие сконструированной им теоретической модели.

Результаты подобного анализа позволили Ю. И. Семенову открыть в раннеродовом обществе, в частности, такую социальную ячейку, которая ранее отсутствовала в предлагавшихся им схемах развития первобытного общества, — *сусу*. Функционированию этой ячейки и ее соотношению с парной семьей автор придает первостепенное значение, усматривая здесь исходный пункт нескольких различных путей, по которым могло пойти впоследствии развитие всей структуры родового общества. При этом наибольшее внимание автор уделяет тому пути развития, при котором возникает сочетание матрилинейности двух взаимообращающихся родов и патрилокальности поселения (последнее практически равнозначно патрилинейности локальной группы). При наличии указанных условий, по Ю. И. Семенову, возникает система четырех экзогамных групп, связанных между собой строго определенными брачными правилами.

«Существовала ли где-нибудь в действительности структура, подобная нами выведенной теоретически?» — задает вопрос Ю. И. Семенов и отвечает: «Да, существовала. Все то, что выше было описано, есть не что иное, как система брачных классов (секций) аборигенов Австралии. Совпадение, действительно, полное, до мелких деталей»².

Ю. И. Семенов связывает возникновение системы брачных классов с матрилинейностью рода и патрилинейностью локальной группы у аборигенов; отсюда следует весьма важный вывод, составляющий суть статьи: даже если этнографы и зафиксировали у того или иного австралийского племени патрилинейный род, сам по себе факт наличия у него брачных классов является свидетельством предшествовавшего бытования матрилинейной филиации. В этом Ю. И. Семенов видит решение известной «австралийской контрверзы».

М. А. Членов в своем отклике на статью Ю. И. Семенова высказал мнение о том, что предложенная им гипотеза возникновения брачных

¹ Ю. И. Семенов, Проблема перехода от материнского рода к отцовскому, «Сов. этнография», 1970, № 5.

² Ю. И. Семенов, Указ. раб., стр. 66—67.

классов, будучи «весьма изящным и внешне убедительным построением», не может тем не менее считаться разгадкой «австралийской контроверзы». М. А. Членов полагает, что брачные классы, подобные австралийским, в равной мере могут порождаться при соблюдении условий, прямо противоположных указанным Ю. И. Семеновым, т. е. при патрилинейности родов и матрилинейности локальных групп (матрилокальности). Тем самым выясняется, заключает М. А. Членов, что в модели Ю. И. Семенова признак материнской или отцовской филиации сам по себе не является существенным: таковым для нее оказываются только противоположные формы линейности и локальности³.

Тот факт, что патрилинейность может сосуществовать с матрилокальностью, М. А. Членов демонстрирует на примере ряда племен бассейна Амазонки. Но, ставя своей целью лишь проверку правомерности построенной Ю. И. Семеновым теоретической модели и найдя в ней логическую погрешность, он в сущности и ограничивается этим, отнюдь не пытаясь спроецировать в этнографическую реальность свою собственную модель. Поэтому М. А. Членов вообще не касается вопроса о том, почему же у патрилинейных и матрилокальных племен южноамериканских индейцев не возникли брачные классы, подобные австралийским.

Но это обстоятельство все-таки требует своего объяснения. Оно возвращает нас к вопросу о том, действительно ли австралийские брачные классы по своей сущности органически связаны с двойной филиацией у аборигенов.

Точка зрения, связывающая возникновение брачных классов с наличием двойной филиации, отнюдь не нова. Впервые она была высказана Ф. Галтоном еще в 1889 г., затем ее поддержал Э. Дюркгейм (1897 г.), а позднее к ней присоединились такие известные этнологи, как Б. Зэлигман (1927 г.), А. Дикон (1927 г.), У. Лоренс (1937 г.), Дж. Мёрдок (1940 г.) и т. д. Работы этих авторов дали Ю. И. Семенову основание утверждать, что взаимосвязь между двойной филиацией и возникновением брачных классов «была уже в достаточной степени убедительно раскрыта в ряде исследований»⁴. Однако тот вариант теории двойной филиации, который излагает сам Ю. И. Семенов, содержит ряд слабых мест, что делает степень его убедительности явно недостаточной.

Попробуем еще раз проследить весь ход мысли Ю. И. Семенова. Фактически он выделяет здесь три различных этапа родового строя.

На первом этапе существования родового общества повсеместно распространена дуально-родовая организация — система, состоящая из двух взаимобрачающихся материнских родов. При этом каждый из входящих в дуальную организацию родов (А и Б) делится на две обособленные одна от другой группы: первую, состоящую из мужчин (м), и вторую, состоящую из женщин и детей обоего пола (ж). Женщины всю жизнь оставались в одной и той же группе. Мальчики же по достижении определенного возраста покидали женскую группу (матерей и сестер) и переходили в мужскую группу своего рода (братьев матерей и братьев). Этот переход отмечался инициациями. Поскольку на этом этапе господствует дислокальный брак, структура дуально-родовых систем может быть представлена в виде схемы (см. рис. 1)⁵.

На втором этапе развития родового строя по мере эволюции отношений по распределению общественного продукта в обществе возникают потребительские ячейки двух типов: *сусу* (группа, состоящая из брата, сестры и ее детей) и парная семья. На этом этапе обнаруживают-

³ М. А. Членов, Можно ли считать «австралийскую контроверзу» решенной?, «Сов. этнография», 1971, № 4, стр. 70.

⁴ Ю. И. Семенов, Указ. раб., стр. 70.

⁵ Эта и все последующие схемы отсутствуют в тексте статьи Ю. И. Семенова. Я составил их для более наглядного изложения его точки зрения.

ся две возможности для дальнейшего развития социальной организации. Первый путь связан с оседлым образом жизни: в этих условиях сусу начинает преобладать над отношениями, характерными для парной семьи. Второй путь связан с бродячим образом жизни, при котором начинает проявляться тенденция к отрыву мужской и женской групп одного рода и соединение мужской и женской групп, принадлежащих к разным родам в рамках дуальной организации. Эта тенденция приводит к образованию так называемых локальных групп, или просто ло-

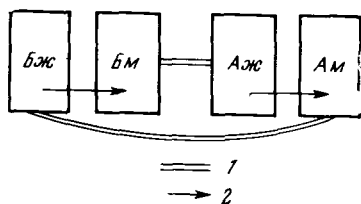


Рис. 1

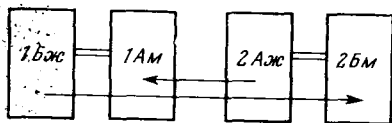


Рис. 2

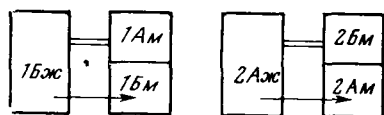


Рис. 3

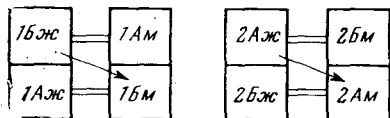


Рис. 4

Рис. 1. Структура дуально-родовой организации на первом этапе родового строя: 1 — брачная связь, 2 — переход мальчиков из женской группы в мужскую (то же относится к рис. 2, 3, 4)

Рис. 2. Структура дуально-родовой организации на втором этапе родового строя

Рис. 3. Структура дуально-родовой организации на третьем этапе родового строя в условиях бродячего образа жизни

Рис. 4. Система брачных классов австралийского типа

калей, с появлением которых структура дуальной организации претерпевает изменения. Так как женщины по-прежнему от рождения до смерти остаются членами одной группы, то тем самым они всю жизнь принадлежат к одному локалю. Мальчики по-прежнему по достижении определенного возраста покидают женскую группу и переходят в мужскую группу своего рода. Но так как теперь мужская и женская группы одного рода входят в состав разных локалей, то тем самым мальчики покидают свой родной локаль и переходят на жительство в другой. Соответственно структура дуально-родовой организации приобретает вид, показанный на схеме (рис. 2).

Третий этап развития родового общества начинается с того периода, когда потребительская ячейка (сусу или парная семья) превращается в ячейку хозяйствования и накопления. На этом этапе также намечается два варианта развития. В условиях перехода к оседлости происходит взаимопроникновение сусу и семьи; для этносов, у которых и после выделения двух локалей продолжает сохраняться бродячий образ жизни, характерен иной путь развития, как раз и связанный с возникновением брачных классов.

В условиях бродячего существования происходит ослабление отношений сусу и укрепление семейных отношений, что имеет весьма серьезные последствия. Если раньше мальчики из женской группы переходили в группу братьев матерей, то теперь они стали переходить в группу

отцов, что привело к существенным изменениям в структуре дуально-родовой организации. Мужская группа каждого локаля стала теперь состоять из двух подгрупп (см. схему на рис. 3).

Но если мужчины подгруппы 1Ам могли вступать в брак с женщинами группы Бж, то мужчины подгруппы 1Бм этого делать не могли в силу принадлежности к одному и тому же роду Б. Они могли вступить в брак только с женщинами группы Аж. Оставление мужчин внутри своих локалей должно было иметь неизбежным следствием переход женщин из одного локаля в другой. Переход этот происходил со вступлением в брак. В результате группа Бж разделилась на две подгруппы: в одну вошли старые женщины, матери, которые родились в локале 1 и оставались в нем всю жизнь, во вторую — младшие женщины, дочери, которые, родившись в локале 1, ушли с выходом замуж в локаль 2. Такое же деление произошло и в группе Аж (схема на рис. 4).

Такая структура представляет собой не что иное, как систему австралийских брачных классов. Подчеркивая, что совпадает здесь все, вплоть до мелких деталей, Ю. И. Семенов отмечает, в частности, что пути образования мужской и женской части каждого класса были в его схеме не вполне идентичными; в полном соответствии с этим «у большинства австралийских племен, имевших брачноклассовую организацию, мужская и женская части каждого класса рассматривались как особые группы. Они обычно имели свои названия, в то время как общего обозначения данного брачного класса в целом не существовало»⁶.

Важно подчеркнуть, что предложенная гипотеза возникновения брачных классов отнюдь не носит локального, чисто австралийского характера; она, по мнению Ю. И. Семенова, применима к любому обществу, идущему по данному пути развития. Поэтому, в частности, в своей рецензии на мою книгу «Система родства китайцев» Ю. И. Семенов писал: «В далеком прошлом у китайцев существовала система четырех брачных классов, которая аналогична той, что детально изучена у австралийцев. Но эта система предполагает наложение отцовской филиации на материнскую, сдвигание этих двух филиаций. Таким образом, у китайцев в далеком прошлом наряду с отцовской филиацией существовала и материнская»⁷.

Можно согласиться с мнением Ю. И. Семенова, что древнекитайская система брачных классов действительно аналогична австралийской. Но как раз анализ этой древнекитайской системы и ставит под сомнение правомочность изложенной выше гипотезы происхождения брачных классов.

Прежде всего, как показал впервые в 1959 г. японский исследователь Эгасира Хироси⁸, в древнем Китае существовало четыре брачных класса, каждый из которых имел одно общее наименование (*бо*, *чжун*, *шу*, *цзи*); особые наименования для женской и мужской части каждого класса отсутствовали. Может быть, впрочем, это явление исключительное, нетипичное? Оказывается, что дело обстоит как раз наоборот. Вопреки достаточно категоричному утверждению Ю. И. Семенова, отнюдь не у большинства австралийских племен известны специальные наименования для мужской и женской частей каждого класса при отсутствии общего наименования данного класса. Достаточно сослаться хотя бы на ту самую работу, которую в данном случае цитирует Ю. И. Семенов: в ней упоминается 22 племени, имеющие особые названия для мужской и женской частей каждого брачного класса; 19 племен, у которых названия женских частей брачных классов совпадают с названиями муж-

⁶ Ю. И. Семенов, Указ. раб., стр. 67.

⁷ Ю. И. Семенов, Рец. на кн.: М. В. Крюков, Система родства китайцев, «Сов. этнография», 1973, № 2, стр. 167.

⁸ Эгасира Хироси, О древнекитайских именах, «Ниппон тью: гокугаку кайхо:», 1959, № 11, стр. 39—52 (на японск. яз.).

ских и отличаются от последних только окончанием *-ан*; 30 племен, терминологически не различающих мужскую и женскую часть каждого брачного класса. Более того, даже у камиларои, имеющих по два варианта названий для каждого класса, некоторые женские варианты явно производные от мужских: *кубита* — от *куби*, *ипата* — от *ипаи* и т. д.⁹ По-видимому, нужно быть очень увлеченным своей гипотезой, чтобы не увидеть этих очевидных фактов!

Но главное не в этом. Гораздо важнее то обстоятельство, что функционирование в обществе древних китайцев системы брачных классов, аналогичной австралийской, решительно противоречит одному из основных тезисов гипотезы Ю. И. Семенова, связывающего возможность появления этой системы с бродячим образом жизни. Следы брачных классов зафиксированы в письменных памятниках середины I тысячелетия до н. э. Но по крайней мере на протяжении пяти тысячелетий до этого предки древних китайцев были оседлой земледельческой общностью.

Уже в конце V тысячелетия до н. э. в бассейне Хуанхэ существовала земледельческая неолитическая культура Яншао. Поселения этой культуры достаточно хорошо изучены благодаря археологическим исследованиям последнего времени. Они, как правило, имели определенную планировку: в центре поселения размещались жилища, за его пределами — гончарные мастерские и кладбище. Жилища четко делятся на две категории — небольшие по размерам полуземлянки (10—15 м²) располагались, как правило, вокруг одного гораздо более крупного здания (обычно не менее 100—120 м²), являвшегося, вероятно, «мужским домом». По особенностям зооморфного орнамента на керамике можно судить о том, что в каждом поселении (локальной группе) жили члены двух родов: Рыбы и Оленя (в Баньпо), Длиннохвостой Птицы и Короткохвостой Птицы (в Хуасянь), Ящерицы и Черепахи (в Мяодигоу) и т. д.¹⁰

Картина социальной структуры яншаоского общества, реконструируемая на археологических материалах, соответствует второму этапу развития родового общества в его оседлом варианте (схема на рис. 2). В более позднее время мы не только не наблюдаем перехода населения среднего течения Хуанхэ к бродячему образу жизни, но наоборот, обнаруживаем значительное увеличение удельного веса земледелия и дальнейшее развитие стабильных поселений. И тем не менее у китайцев почему-то возникает система брачных классов.

Вопрос о том, почему это произошло, в значительной мере проясняется, как только мы обращаемся к проблеме соотношения структуры брачных классов и системы терминов родства.

Тезис о тесной взаимосвязи между брачными классами (секциями) и терминами родства австралийских аборигенов впервые был детально обоснован С. А. Токаревым в 1956 г., указавшим на следующие особенности австралийских систем родства.

1) Групповой характер терминов. Если европейцы называют терминами «мать», «отец», «жена», «муж» и прочими каждый раз одно определенное лицо, то у австралийцев каждый термин обозначает целую группу лиц.

2) Разграничение отцовской и материнской линии родства. Так, например, у аранда дядя по отцу называется так же, как и отец, — *ката*, но дядя по матери — *камуна*; сестра матери — так же, как и мать — *майя*, но сестра отца — *вонна* и т. д.

3) Разграничение поколений, в особенности смежных.

⁹ N. W. Thomas, Kinship organisations and group marriage in Australia, Melbourne — Canberra — Sydney, 1966, p. 42—48.

¹⁰ «Народы Восточной Азии», М.—Л., 1965, стр. 100; «Археология в новом Китае», Пекин, 1961, стр. 9—10 (на кит. яз.).

4) Наличие взаимных обозначений. Очень часто, например, муж и жена называют друг друга одним и тем же термином; столь же часто деды и внуки называют друг друга одинаково. Например, у аранда *аранга* значит отца отца и сына сына.

5) Отсутствие разграничения отношений родства и свойства. Так, один и тот же термин обозначает брата матери и отца жены, один — сына сестры и мужа дочери и т. д.

«Если присмотреться к терминологии родства какого-нибудь племени в целом, — пишет С. А. Токарев, — то можно заметить, что она очень хорошо приспособлена к системе четырех или восьми секций в сочетании с делением на поколения»¹¹.

К этому же выводу приходят А. Ромни и Э. Эплинг в статье о социальной организации австралийцев племени карьера, опубликованной в 1958 г. «Термины родства в большинстве своем *относительны* в том смысле, что применение того или иного термина зависит от характера родственной связи между лицами; наименования секций *абсолютны* в том смысле, что любой индивидуум принадлежит к той или иной секции с момента рождения и сохраняет эту свою принадлежность к ней на протяжении всей жизни»¹². Чрезвычайно точно сформулировав это различие между терминами родства и наименованиями классов (секций), Ромни и Эплинг показывают далее, что обе эти терминологии представляют фактически два аспекта одной и той же социальной организации.

Двумя годами позже было опубликовано одно из исследований Ю. М. Лихтенберг, в котором автор приходит к следующему выводу: «Среди этнографов существует убеждение, что брачные классы являются особой формой социальной организации, присущей только австралийскому обществу, где они впервые были открыты. Но поскольку системы родства австралийского типа широко распространены у первобытных народов, а следы их сохранились и у народов, пришедших к цивилизации, то можно с уверенностью сказать, что брачные классы некогда если не существовали повсеместно, то имели значительно более широкое распространение»¹³. Довольно неожиданные, но достаточно убедительные доказательства правомерности этого утверждения дало, в частности, изучение социальной организации древних китайцев.

Древнекитайская система родства, восстановить которую можно по письменным памятникам XIV—X вв. до н. э., обнаруживает отчетливо выраженные австралийские черты¹⁴ (см. рис. 5).

Из всей совокупности родственных отношений такая система вычленяет пространство, ограниченное тремя поколениями: нулевое (Эго,

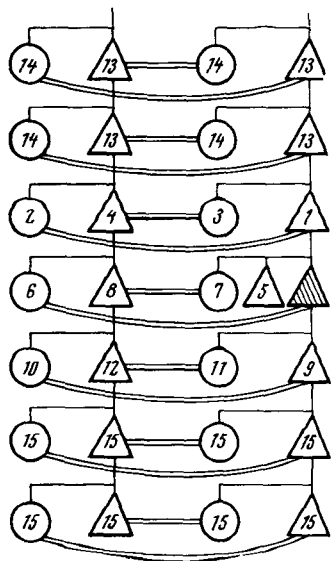


Рис. 5. Древнекитайская система родства: 1 — фу, 2 — му, 3 — гу, 4 — цзю, 5 — сюн, 6 — ци, 7 — мэй, 8 — шэн, 9 — цзы, 10 — фу, 11 — нюй, 12 — чу, 13 — цзю, 14 — пи, 15 — сунь

¹¹ С. А. Токарев, Общественный строй австралийцев, в кн. «Народы Австралии и Океании», (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1956, стр. 160.

¹² A. K. Romney and E. J. Epling, A simplified model of Kariera kinship, «American Anthropologist», 1958, vol. 60, № 1, p. 64.

¹³ Ю. М. Лихтенберг, Австралийские и меланезийские системы родства (турано-ганованского типа) и зависимость их от деления общества на группы, «Тр. Ин-та этнографии АН СССР», т. 54, М.—Л., 1960, стр. 236—237.

¹⁴ М. В. Крюков, Система родства китайцев, М., 1972, стр. 223—224.

условное обозначение — заштрихованный треугольник), первое восходящее и первое нисходящее. За пределами этого детального разграничения родственников отсутствует: все мужчины в восходящих поколениях обозначаются одним и тем же термином *цзу*, женщины — *пи*; в нисходящих поколениях все родственники, независимо от пола, — *сунь*. В отличие от этого в пределах трех ближайших к Эго поколений родственники сгруппированы в несколько определенных классов. Члены одного класса вступают в брачные отношения с лицами противоположного пола, относящимися к другому, строго определенному классу. Соответствующие термины родства классификационны в прямом и полном смысле этого слова: каждый из них указывает не на какое-то лицо, находящееся в родственных отношениях с Эго, а на брачный класс, к которому это лицо относится. Соотношение между этими классами определяется двумя критериями: принадлежность к одной из двух экзогамных родственных групп («половин»), связанных обязательным двусторонним браком; принадлежность к одному из трех различаемых поколений.

Именно эти два критерия разграничения родственников лежат в основе всей системы родства такого типа, принципиально отличной от привычной нам европейской. Когда мы устанавливаем родство между двумя какими-нибудь лицами, пишет по этому поводу А. Хокарт, «мы прежде всего стремимся определить ближайшего родственника и для этого движемся вверх или вниз по генеалогическому дереву. Фиджийцы (а также австралийцы и пр.) не поступают таким образом, потому что им в этом нет надобности. Их интересует лишь такая информация, которая позволила бы поместить каждого на должное место в должном поколении»¹⁵. Поэтому, например, термин *шэн* в древнекитайской системе родства (№ 8 на рис. 5), обозначающий с нашей, европейской, точки зрения сына брата матери, сына сестры отца, брата жены и мужа сестры, в действительности указывает на одно-единственное отношение — так обозначаются все лица мужского пола, принадлежащие к «половине» матери Эго и к его поколению. Единственное отличие существующих в такой системе классов родственников от именных брачных классов (секций) заключается в том, что обозначение их с помощью терминов родства имеет *относительный* характер, т. е. зависит от того, кто в данный момент является говорящим, Эго.

Важно подчеркнуть, что оба основных критерия противопоставления родственников в системе австралийского типа были в древнем Китае отнюдь не просто абстрактно-логическими категориями. Они соответствовали реально существовавшим в обществе социальным подразделениям, имевшим свои собственные абсолютные обозначения.

Первый критерий связан с делением общества на экзогамные патрилинейные группы *син*, характеристика которых достаточно хорошо известна по письменным памятникам X—VII вв. до н. э.

Второй критерий находится в соответствии с функционированием групп иного типа, объединявших между собой перемежающиеся поколения и, наоборот, разъединявших смежные. В древнем Китае такие группы носили наименование *чжао* и *му*. Пересечение групп этих двух типов и составляло основу древнекитайской системы брачных классов, которые, как теперь выясняется, имели не только относительные обозначения (классификационные термины родства), но также и абсолютные (*бо*, *чжун*, *шу*, *цзи*).

В свете этих данных выясняется полное совпадение всех перечисленных выше способов классификации родственников в древнем Китае (см. рис. 6).

¹⁵ A. M. Hockart, Kinship systems in: E. A. Hoebel et al. (eds), Readings in anthropology, N. Y., 1955, p. 193.

Анализ относительных и абсолютных наименований у подразделений дуально-родовой организации древних китайцев возвращает нас к точке зрения на происхождение австралийских брачных классов, высказанной в свое время А. Элкиным — одним из наиболее авторитетных специалистов по изучению социальной организации австралийских аборигенов. Этот ученый, которого Ю. И. Семенов, кстати, называет «крупнейшим австраловедом», писал в 1968 г.: «Функции системы секций позволяют предположить, каким образом они возникли, а именно путем разграничения, с одной стороны, братьев и сестер от кросс-кузенов, а мужа от

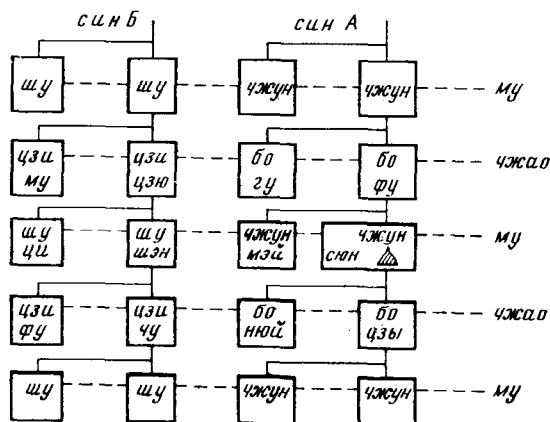


Рис. 6

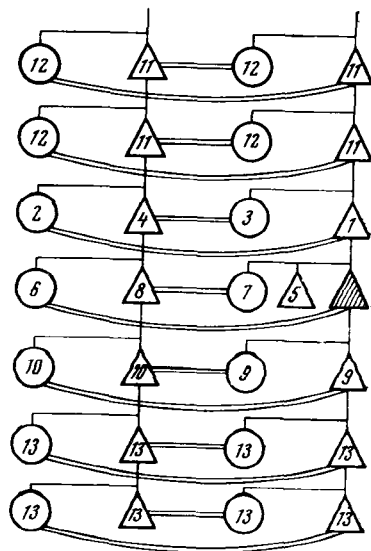


Рис. 7

Рис. 6. Соотношение относительных и абсолютных терминов родства в древнем Китае

Рис. 7. Фиджийская система родства: 1 — тамана, 2 — тинана, 3 — югона, 4 — нгадина, 5 — туакана/тасина, 6 — уатина, 7 — нгансена, 8 — тавалена, 9 — лувена, 10 — вугона, 11 — тукана, 12 — мбуна, 13 — макумбуна

жены; с другой — родителей от детей... Это автоматически приводит к группировке родственников по четырем секциям»¹⁶.

В этой связи весьма характерно, что А. Рэдклифф-Браун, первоначально придерживавшийся гипотезы Галтона — Дюркгейма, позднее отказался от нее и присоединился к мнению Элкина. Полемизируя с Лоренсом, адептом теории «двойной филиации», Рэдклифф-Браун писал в 1951 г., что в Австралии «широко распространены как эндогамные половины (деления, соответствующие перемежающимся поколениям), так и экзогамные патрилинейные половины. В тех случаях, когда они сосуществуют, это с неизбежностью приводит к делению родственников на четыре группы. Если мы обозначим перемежающиеся поколения буквами М и Н, а патрилинейные половины — цифрами 1 и 2, то получим четыре группы: М1, М2, Н1 и Н2. Деление по поколениям может рассматриваться как «горизонтальное», деление на половины — как «вертикальное», поскольку эти подразделения пересекают друг друга»¹⁷.

Таким образом, брачные классы действительно возникают в результате наложения двух взаимопересекающихся структурных компонентов.

¹⁶ А. Р. Elkin, *The Australian aborigines*, Sidney, 1968, p. 128.

¹⁷ А. R. Radcliffe-Brown, *Murngin social organisation*, «American Anthropologist», 1951, vol. 53, № 1, p. 39.

Но такими компонентами являются не патрилинейность и матрилокальность, как считает Ю. И. Семенов, и не вообще противоположные формы линейности и локальности, как полагает М. А. Членов, а принадлежность к определенному поколению (по «горизонтали») и к определенной экзогамной половине дуально-родовой организации (по «вертикали»). Другими словами, система брачных классов может возникнуть при любой форме линейности и локальности, например при патрилинейности и патрилокальности (как у древних китайцев), при матрилинейности и матрилокальности и т. д. Деление родственников на брачные классы внутренне присуще любому обществу, в котором существует дуально-родовая организация. Но в некоторых обществах помимо относительных терминов родства, отражающих эту систему брачных классов, существуют также абсолютные наименования этих классов, в других же обществах такие наименования отсутствуют.

Если мы обратимся, например, к фиджийцам, то обнаружим, что их система родства по своей структуре полностью совпадает как с древнекитайской, так и с австралийской¹⁸ (рис. 7).

Отличия фиджийской системы от древнекитайской заключаются только в том, что, во-первых, мужчины поколения Эго и его половины различаются по их относительному возрасту (старше Эго — *туакана*, младше — *тасина*; в этом отношении фиджийская терминология совпадает с терминологией карьера); во-вторых, в первом нисходящем поколении родственники не различаются по признаку пола.

С другой стороны, фиджийская система отличается от карьера тем, что в последней родственники половины Эго за пределами первого восходящего и первого нисходящего поколений обозначаются одним общим термином, тогда как у фиджийцев родственники нисходящих поколений терминологически отделены от родственников восходящих поколений (в этом отношении фиджийская терминология совпадает с древнекитайской). Однако нетрудно видеть, что эти отличия носят второстепенный характер и по своим важнейшим параметрам фиджийская, древнекитайская и австралийская системы совпадают между собой.

Во всех трех обществах место того или иного лица в структуре дуально-родовой организации определяется двумя кардинальными показателями: принадлежностью к одной из двух половин и к определенному поколению. У фиджийцев, как у древних китайцев и австралийцев, наряду с относительными терминами родства существуют и абсолютные обозначения не только для половин, но и для перемежающихся поколений. Последние называются у фиджийцев *тако* и *лаво* (ср. древнекитайское *жао* и *му*; австралийское *нганандарга* и *танамилдьян*).

Однако специальных наименований для брачных классов у фиджийцев не возникло. Почему? Ответить на этот вопрос попытался Э. Сэрвис.

Независимо от Ромни и Эплинга выдвинув тезис о взаимосвязи и противопоставлении относительных и абсолютных обозначений родства (*эоцентрических* и *социоцентрических* терминов), Сэрвис привел ряд дополнительных соображений в пользу теории Элкина. Он обратил внимание на этнографические факты, свидетельствующие, что брачные нормы регулируются именно эоцентрическими (относительными) терминами родства. Далее, широко распространенное в Австралии явление диффузии и заимствования наименований классов (секций) также подтверждает тезис о «первичности» системы терминов родства, которой органически присуще деление родственников на классы, и «вторичности» системы именных классов¹⁹.

Основной вывод, к которому приходит Сэрвис, заключается в следующем: во всех случаях, когда этнограф обнаруживает особые социо-

¹⁸ A. Capell, A new Fijian dictionary, Suva, 1968.

¹⁹ E. R. Service, Sociocentric relationship terms and the Australian class system, in: G. Dole et al. (eds.), Essays in the science of culture, N. Y., 1960, p. 422.

центрические наименования для брачных классов (секций), он обязательно находит у соответствующего народа также и систему эгоцентрических терминов родства австралийского типа, которая делит родственников на группы по принципу пересечения «горизонтального» и «вертикального» членения общества. Однако отнюдь не у всех этнических общностей, имевших австралийскую систему родства, существовали именные брачные классы. Последние возникают лишь в специфических условиях, когда функционирование эгоцентрических терминов родства оказывается недостаточным.

Таковыми условиями Сэрвис считает подвижность групп аборигенов, благодаря чему члены одной и той же группы встречаются лишь спорадически, тогда как вероятность встречи членов разных групп оказывается значительной²⁰.

Такая точка зрения, однако, принципиально отличается от противопоставления оседлых и бродячих этносов в том плане, как это делает Ю. И. Семенов. По Ю. И. Семенову, бродячий характер жизни приводит к изменениям в структуре дуально-родовой организации и появлению брачных классов там, где их до этого не существовало. По Сэрвису, в условиях подвижности населения структуры уже существующих брачных классов не претерпевают каких-либо изменений, но у этих классов появляются социоцентрические обозначения, которые в иных условиях были попросту не нужны.

Нам остается только вернуться к гипотезе Ю. И. Семенова и выяснить, что является в ней тем слабым звеном, которое, создавая внешнее впечатление логичности, тем не менее лишает всю модель в целом возможности «работать» на реальном этнографическом материале.

Таким слабым звеном является, с моей точки зрения, то новое толкование широко известного в этнографии института инициаций, которое предложено Ю. И. Семеновым. По его мнению, инициациями отмечается переход мальчиков из женской группы своего рода в мужскую группу, что в условиях существования локалей означает переход из родного локаля в другой.

Такое толкование инициаций, ранее в этнографической литературе не выдвигавшееся, требует, по-видимому, подтверждения фактами, которых автор в статье не приводит. Между тем достаточно хорошо известны факты, позволяющие толковать инициации как «социальное рождение» члена рода. Не переход из одной группы рода в другую, а приобщение к роду — такое назначение инициаций находит подтверждение не только в этнографическом, но и в археологическом материале (можно отметить, что в поселениях культуры Яншао, о которой шла речь выше, мужчин и женщин хоронили на общем кладбище, тогда как детей — отдельно от взрослых, в непосредственной близости от хижин).

Но предположим, что толкование инициаций, предложенное Ю. И. Семеновым, будет когда-нибудь доказано. И в этом случае мысль о переходе мальчиков из женской группы в мужскую вызывает целый ряд недоуменных вопросов, коль скоро такой переход связан именно с достижением ими определенного возраста, а отнюдь не с вступлением в брак.

Означает ли это, что, перейдя в группу братьев матерей, юноши не составляли в данном локале особой группы? Ю. И. Семенов говорит о переходе в группу братьев матерей, поэтому на данный вопрос следует дать, в соответствии с логикой всей гипотезы в целом, отрицательный ответ.

Но если это так, то что реально могло воспрепятствовать юношам, перешедшим в группу братьев их матерей, вступать в брак с сестрами их отцов? Поскольку многие из сестер их отцов могли быть примерно

²⁰ Там же, стр. 431.

такого же возраста, как и они сами, единственным средством запрещения подобных браков могло быть только то, что после перехода в новый локаль юноши составляли бы в нем особую группу, отчетливо отличающуюся от группы братьев их матерей. Но такого деления гипотеза Ю. И. Семенова не предусматривает.

Какая система относительных терминов родства должна существовать в таком обществе, где возможны, а значит, и объективно неизбежны регулярные браки между лицами смежных поколений? К сожалению, Ю. И. Семенов вообще не касается этого вопроса. Между тем современной этнографии не известны народы, в системе родства которых так или иначе не проводилось бы различие между поколениями. Но если только в том или ином обществе с дуально-брачной организацией проводится разграничение членов рода по поколениям, уже это само по себе автоматически приводит к образованию системы брачных классов, подобных австралийским.

Подытоживая все сказанное, можно прийти к выводу, что в процессе формирования системы брачных классов (секций) форма линейности не имеет структурообразующего значения. Важно лишь наличие двух связанных между собой узами брака, экзогамных родственных групп, характеризующихся однолинейностью. Совершенно не существенна здесь и форма локальности. Так, у древних китайцев мужчины противоположной половины первого нисходящего поколения (№ 12 на рис. 5) назывались *чу*, что означает «ушедшие», (ибо они были рождены женщиной, принадлежащей к той же половине, что и Эго, но перешедшей на жительство к мужу), а женщины — сестры тех мужчин, которые назывались *чу*, именовались *фу*, или «вернувшиеся» (так как они, став женами сыновей Эго, переходили в его локаль). В противоположность этому современная система родства эвенков, сохраняющая отдельные пережитки дуально-родового брака, включает термин *инэн*, или «пришедшие», для обозначения родственников мужа. Более того, если на раннем этапе существования родового строя действительно господствовало дислокальное поселение супругов, как это предполагает Ю. И. Семенов, то система брачных классов вполне могла функционировать и в этих условиях. А коль скоро появление брачных классов (секций) не является следствием сосуществования матрилинейности и патрилокальности, оказывается неосновательным и основной вывод, к которому приходит в своей статье Ю. И. Семенов. Факт наличия у австралийцев системы брачных классов сам по себе не имеет никакого отношения к вопросу о форме линейности австралийского рода. Таким образом, «австралийская контроверза» не получила еще своего разрешения.

DOES THE SYSTEM OF MARRIAGE CLASSES OFFER A CLUE FOR SOLVING THE «AUSTRALIAN CONTROVERSY»!

The article deals with a hypothesis that links the rise of Australian-type marriage classes (sections) with the so-called «double descent» among the aborigines. This theory had already been put forth at the close of the last century and has received comprehensive substantiation in a number of modern studies. However, its exposition by Yu. Semenov («Sovetskaya Etnografiya», 1971, № 6) lays it, in certain parts, open to criticism. In analyzing the interrelation between the system of named marriage classes and the Australian-type system of kinship terminology, the author comes to the conclusion that data as to the existence of marriage classes outside Australia which has recently gained currency in scientific literature may throw additional light upon the broad laws governing the rise of such a social organization. Marriage classes are inherent in every society possessing a functioning Australian-type kinship terminology irrespective of the prevailing forms of descent and post-marital residence. Hence the system of marriage classes as such cannot in itself decide the so-called «Australian Controversy».

Я. Крамаржик

**НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ В СВЯЗИ С ДИСКУССИЕЙ
ПО АГРАРНОЙ ЭТНОГРАФИИ**

Дискуссия по некоторым вопросам аграрной этнографии, развернувшаяся на страницах журнала «Советская этнография» после публикации статьи Г. Г. Громова и Ю. Ф. Новикова¹, получила отклики не только среди советских этнографов, но и у целого ряда зарубежных — особенно в славянских странах — ученых. Так, в моем сообщении об этой дискуссии, опубликованном в журнале «Narodopisné aktuáľity» («Новости этнографии»), были затронуты важнейшие теоретические проблемы, поднятые во вступительной и других дискуссионных статьях². В предлагаемой статье я хочу высказать свое мнение по ряду спорных вопросов.

Начну со вступительной статьи и вызванной ею дискуссии. Должен подчеркнуть, что статья Г. Г. Громова и Ю. Ф. Новикова выдвинула ряд вопросов, которые обычно остаются в стороне при изучении агроэтнографической проблематики, но имеют важное значение, так как затрагивают суть исследований в этой области. Статья демонстрирует широкие и глубокие познания авторов, особенно в вопросах обработки почвы, а также по некоторым другим проблемам. Однако хотелось бы, чтобы авторы более подробно осветили круг обсуждаемых вопросов (в особенности это касается так называемых культурных и этнических традиций, их разграничений и различий) и чтобы формулировки в тексте не были такими краткими. В некоторых случаях они слишком категоричны, что вызвало ряд критических замечаний, более или менее обоснованных. В целом дискуссия оказалась весьма полезной, так как вновь пробудила интерес к рассматриваемой проблеме.

Участники дискуссии (в том числе и автор настоящей работы) откликнулись не только на статью, с которой она началась, но и на другие работы Г. Г. Громова и Ю. Ф. Новикова по данному вопросу³. Таким

¹ Г. Г. Громов, Ю. Ф. Новиков, Некоторые вопросы агроэтнографических исследований, «Сов. этнография», 1967, № 1; Н. Н. Чебоксаров, Я. В. Чеснов. Некоторые проблемы агроэтнографии Юго-Восточной Азии, «Сов. этнография», 1967, № 3; Л. М. Сабурова, По поводу статьи Г. Г. Громова и Ю. Ф. Новикова «Некоторые вопросы агроэтнографических исследований», «Сов. этнография», 1967, № 6; А. А. Шенников, Распространение животноводческих построек у народов Европейской России (К дискуссии об агроэтнографии), «Сов. этнография», 1968, № 6; В. М. Суринов, К определению этнических традиций в земледелии, «Сов. этнография», 1971, № 3; А. С. Бежкович, Еще раз об агроэтнографических исследованиях, «Сов. этнография», 1971, № 5.

² J. Kramářik, Sovětská diskuse o základních otázkách agrární etnografie, «Národopisné aktuáľity», 1972, № 9, str. 3—16, 197—199.

³ Я особенно живо реагировал на статью Ю. Ф. Новикова «Генезис плуга и этнография» («Сов. этнография», 1963, № 2), в которой автор нередко весьма одностронне отрицал связь типов и форм пахотных орудий с этносом, с этническими традициями и дошел до ряда обобщений, которые весьма трудно принять. Например, он утверждал, что иммигранты, переселившись в другие районы, сразу же приспособляются к новым условиям и используют местные пахотные орудия. Несогласие с мнением Ю. Ф. Новикова выразила в своей статье и Л. М. Сабурова.

образом, дискуссия переросла границы первоначально обсуждавшейся проблемы, охватив и те области, которые названные выше авторы затронули лишь косвенно.

Я хотел бы затронуть еще одну проблему. Громов и Новиков сосредоточили свое внимание прежде всего на пахотных орудиях, занимающих в некотором смысле особое место в комплексе земледельческих орудий, но при их изучении сделали слишком общие выводы, перенесли их и на другие орудия. Необходимо подчеркнуть, что пахотное орудие было сложным, на него оказывал влияние уровень производственной техники в гораздо большей мере, чем на остальные земледельческие орудия. Поэтому и существует столько видов, типов и форм пахотных орудий; этим вызван и особый научный интерес к ним, и появление в этнографии особой области исследований, которой немцы дали специальное название «Pflugforschung». Это богатство видов и послужило толчком для появления разнообразнейших теорий, речь о которых пойдет ниже.

Авторы статьи совершенно правильно отличают сельскохозяйственную технику от технологии. Не понятно только, почему они в таком случае отождествляют технологию с формой, а технику — с содержанием. Авторы весьма наглядно показали не только то, как конструкция орудия связана с географическими условиями, но и насколько близка и всесторонняя ее связь с различными системами земледелия. Г. Г. Громов и Ю. Ф. Новиков выступают против деления составных частей орудия на функциональные и нефункциональные, подчеркивая значение типа упряжки в пахотных орудиях. Все это, конечно, вполне справедливо, так как конструкция пахотного орудия составляет единое целое, в котором все детали взаимосвязаны и целесообразны как сами по себе, так и в связи с другими составными частями. Однако возникает вопрос: одинаково ли важны, с точки зрения развития пахотного орудия, все его составные части, и если нет, то развитие каких из них приводит к качественным изменениям? Переход к железному и асимметричному лемеху, конечно, имел первостепенное и более важное значение, чем изменение форм рукояток, хотя рукоятка вместе с развитием лемеха также изменялась. Перекладной отвал мы находим уже у пахотных орудий с симметричным лемехом, но односторонний в сочетании с асимметричным лемехом означал превращение рала в плуг. Подобным же образом обстоит дело и с ножом. Не менее важной, основной составной частью можно назвать грядиль (длинный или короткий) в сочетании с типом упряжки животных. Авторы абсолютно правы, рассматривая переход к тягловым орудиям как революционное изменение по сравнению с использованием ручными орудиями, однако они не обращают достаточного внимания на ту роль, которую играет переход от парной запряжки к одиночной, т. е. от так называемой старинной к современной, когда запряжка в хомут сыграла такую большую роль, что ее по праву можно считать революционной.

Эти недостатки статьи, хотя авторы и правильно понимают тесную сопряженность конструкции пахотных орудий с их отдельными составными частями, по моему мнению, оказали отрицательное влияние на оценку существующих классификаций подобного рода орудий. Авторы указывают на формализм прежних классификаций, но я полагаю, что они слишком упрощают предшествующие работы советских исследователей. Можно также убедительно показать, что Громов и Новиков включают в критикуемые ими классификации исследования зарубежных ученых, которые, опираясь на знание технологии пахоты и пахотных орудий, пытаются измерить различные индексы производительности орудий. Так, авторы ссылаются на работу Ф. Шаха⁴. В своем труде он весьма

⁴ F. Šach, *Soustava oradel Starého světa a zařazení nářadí z území Československa*, Praha, 1963.

подробно остановился на функции отдельных видов, типов и форм пахотных орудий и их составных частей. Эти наблюдения Ф. Шах более подробно осветил в других своих исследованиях⁵, а в опубликованной недавно статье⁶ сообщил о результатах испытаний различных видов и типов чешских пахотных орудий. Правда, об этих последних работах Ф. Шаха Громов и Новиков могли и не знать, однако уже в первом из названных выше трудов приводятся выводы его экспериментов, которые несомненно говорят о его хорошем знании агротехники.

Югославский ученый Б. Братанич в свою последнюю классификацию, созданную для «Этнографического атласа Европы и прилегающих к ней областей», стремился включить все возможные формы составных частей пахотных орудий с тем, чтобы исследователи могли уяснить себе их взаимосвязь. Эту классификацию он назвал эвристической. Из истории изучения пахотных орудий в прошлом и в настоящем мы могли бы привести примеры многих классификаций, в которых так или иначе выражалось стремление к более совершенной систематизации. И все же мне кажется, что даже самая лучшая классификация не охватывает всего богатства и разнородности орудий, созданных на протяжении веков в различных районах земного шара. Классификация всегда остается лишь вспомогательным инструментом исследований, не говоря уже о невозможности выражения ею всей сложности исторического развития пахотных орудий. Кроме того, следует заметить, что, хотя по мере развития исследований и был придуман целый ряд оригинальных типологических классификаций, они лишь в сравнительно небольшом масштабе нашли применение при изучении определенной области или этноса, особенно в этнографии, где главным образом изучается связь отдельных типов пахотных орудий с этническими общностями.

Прежде чем приступить к рассмотрению этой связи мы вынуждены констатировать, что провозглашенная авторами корреляция между географической средой и системами земледелия, с одной стороны, и конструкцией пахотных орудий, — с другой, хотя и существует, однако носит весьма общий характер. Ведь нередко мы встречаем одно и то же пахотное орудие в совершенно различных географических условиях и, наоборот, в одинаковой природной среде — различные виды орудий. Значительно сложнее обстоит дело с технологией земледелия, и в этом отношении Громов и Новиков во многом правы. Нельзя, однако, и тут исключить влияние этнических процессов, как и местных производственных традиций.

Человек и общество, производя орудия, действовали, конечно, разумно. В этом смысле в каждом орудии производства по-своему выражено рациональное отношение человека к природе, которую он хочет подчинить себе. Иными словами, существуют культурные традиции, как их называли Громов и Новиков, но наряду с ними и местные, так называемые этнические традиции, придающие орудию свою специфику и опирающиеся также на конкретную разумную основу. Подобным образом формулирует свой взгляд А. А. Шенников, утверждая, что каждая этническая традиция является одновременно традицией культурной, но не каждая традиция культурная — традицией этнической.

Я далек от того, чтобы в данный момент защищать точку зрения, которая тот или иной признак, ту или иную характерную составную часть земледельческого орудия приписывала бы определенному племени или этносу, как это делал Б. Браунгарт, а до него и после него целый ряд ученых, концепции которых нередко имели националистический харак-

⁵ F. Šach, *Rádlo a pluh na území Československa*, Praha, 1961; его же, *Proposal for the classification of pre-industrial tilling implements*, Praha, 1966.

⁶ F. Šach, *Übersicht über die Entwicklung der Bodenbearbeitung in Böhmen und Mähren*, «Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa», Budapest, 1972, S. 375—409.

тер. Этим в большинстве своем априорно построенным концепциям уже давно не должно быть места в подлинной науке. Тем не менее связь определенных видов, типов и форм орудий с этносом неоспорима, хотя их общее происхождение с ним вовсе не обязательно. Территориальное распространение и дифференциация определенных орудий, их видов, типов и форм в большинстве своем результат весьма сложного исторического процесса, который очень трудно восстановить на основе современных данных. Поэтому общие схематические классификации могут иметь лишь вспомогательное значение.

Приведу несколько примеров, которые покажут, как авторы освещают те или иные аспекты поставленной проблемы. Например, Громов и Новиков очень хорошо показали, что форма грядиля не случайна, что она тесно связана со всей конструкцией пахотного орудия, с остальными его составными частями. При этом, конечно, важен с точки зрения изучения истории пахоты и видов упряжки ответ еще на один вопрос: какова была длина грядиля (короткого), т. е. доходил ли он до ярма или нет? Но не следовало ли учитывать и другие моменты при изучении вопроса о форме грядиля? Авторы совершенно правильно указывали на важность исследования материала, из которого изготовлено пахотное орудие. Но почему именно изогнутый грядиль характерен для Средиземноморья, как на это указал П. Лезер в своем труде?⁷ Исследователь может не согласиться с теоретической основой этой работы и многими выводами, которые делает Лезер, но упомянутый факт отрицать нельзя. Поэтому Х. Вакарельски не допустил никакой ошибки в своем труде о болгарских пахотных орудиях, оценив форму грядиля с этнографической точки зрения как важный разделительный признак и показав, что в Болгарии существуют два различных названия для ровного и изогнутого грядиля⁸. Можно ли в таком случае говорить только о связи с географическими условиями или конструкцией пахотного орудия? Ведь болгарский автор как раз и показывает, что одинаковые типы орудий встречаются в различных почвенно-географических условиях и что важную роль играют этнические процессы, происходившие на Балканском полуострове.

А какую связь с природными условиями имеют кривогрядильный наколесник юго-запада Чехии, а также рало с подошвой и наклонно поставленным на подошву наральником, верхняя часть которого соединена с деревянной рукоятью, переходящей через грядиль, распространенное в гористой части Шумавы и на равнинах чешского юга к западу от р. Влтавы? Связан ли он генетически с «доберготским» ралом, славянское происхождение которого, по-видимому, было доказано в последние годы, или с его развитой формой — «мекленбургским» или «средиземноморским» ралами? Почему ему сопутствовали и некоторые другие специфические явления юго-запада Чехии и почему это рало не распространялось за пределы правого берега среднего течения Влтавы? Если этой прямой связи не существует, то связано ли происхождение рала с каким-либо племенем, этнической группой, производственной традицией и т. д.? Почему в северной части чешских земель в различных почвенно-географических условиях появляется так называемое трутновское рало без полоза, у которого вместо колесного передка была раньше подпорка типа башмака на нижнем конце, известная в качестве составной части рала только в северо-западной Европе? На все эти вопросы нелегко ответить. Они подтверждают только тот факт, что каждое пахотное орудие имело весьма сложную историю, на что, ссылаясь на Н. И. Вавилова, указал в своей статье В. М. Суринов.

⁷ P. Leser, Entstehung und Verbreitung des Pfluges, Münster i. W., 1933.

⁸ Ch. Vakarelski, Traditionelle landwirtschaftliche Geräte der Bulgaren, «Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa», Budapest, 1972, S. 339—374.

Говоря об упомянутом выше «трутновском» рале, называемом также «чешско-моравским», «силезским», «кравевоградецким» и т. д., я хотел бы напомнить о том, что справедливо отмечали Громов и Новиков и что имеет методическое значение для изучения истории пахотных и не только пахотных орудий. У этого рала развитая конструкция. Однако в ареале его распространения появляются орудия с конструкцией подобного типа, но намного более простого устройства. Поэтому некоторые исследователи считали их более древними типологическими предшественниками современных или сохранявшихся до недавнего времени орудий. Между прочим, они ссылались на изображение этого рала в труде И. Мелера конца XVIII в.⁹ На рисунке отсутствует поворотное устройство, имеющееся у более поздних орудий рального типа. Тем не менее изображение Мелера представляет более развитое орудие в сравнении с тем, которым до недавнего времени пользовались некоторые крестьяне северо-восточной Чехии. Однако необходимо иметь в виду, что речь шла о крестьянах-бедняках, живших в своем большинстве в горных районах. И наоборот, нам кажется, что эти формы, связанные с определенным социальным слоем населения, были поздним заимствованием. Отсюда можно сделать вывод, что просто эволюционная или, точнее, эволюционистская интерпретация не обязательно будет соответствовать реальному ходу исторического развития орудия и что в некоторых случаях она может завуалировать вопрос о его возникновении.

На чешском материале, а также материале по другим районам мы могли бы привести много примеров подобных сложных проблем. Я совершенно согласен с мнением Громова и Новикова о связи сох, орудий рального типа с подошвой или плугов с географическими условиями, особенно в применении к системам земледелия в России. Но как можно объяснить появление рала без подошвы в плодородных районах средней и северной Чехии, а орудий рального типа с подошвой, рала на колесах и четырехугольного, так называемого чешского рала в каменистых, менее урожайных районах чешского юга? Я, однако, не ставлю этот вопрос однозначно, так как еще в XIX в. эти рала использовались в хлебопашестве там, где не мог найти применения старый грядильный деревянный плуг в качестве универсального орудия, т. е. в высокорасположенных районах, тогда как в областях, расположенных ниже, эти рала использовались для специальных работ, прежде всего при запашке семян, а позднее всюду при окуливании картофеля.

Следующая проблема, на которой нужно остановиться, это вопрос о сохранении старых пахотных орудий в связи с внедрением новых культур, характерных для капиталистического земледелия, на что правильно указывают авторы вступительной статьи. Я остановлюсь на условиях, сложившихся в Чехии. В связи с необходимостью улучшить обработку земли в Чехии простой крестьянин и деревенский кузнец — двоюродные братья Веверковы — изобрели рухадло на основе собственного опыта, вероятно, под влиянием вышеупомянутого трутновского рала. По сравнению со старинным плугом рухадло имело ряд преимуществ. Старинные деревянные рала стали использоваться теперь прежде всего для обработки почвы, в целях внедрения новых культур, для запашки и копки картофеля, причем они подверглись некоторым изменениям. Применение так называемого чешского рала четырехугольной конструкции для этих целей было удобно и способствовало созданию по его образцу орудия, распространившегося позднее по всем чешским землям наряду с видоизмененными более старыми типами рала. Влияние социально-экономического фактора и новой системы возделывания культур многопольного севооборота, системы, в которой пропашные культуры играли важную роль, здесь совершенно очевидно. Интересно, что совершенство-

⁹ J. Mehler, Erste Sammlung der böhmischen Ackergeräte, Dresden, 1794.

ванные старые местные рала в течение XIX в. в связи с культивированием пропадных культур проникли и в те районы, где раньше был известен только плуг. Во время полевых исследований я выяснил, что составные части рал в этих новых районах называются так же, как и части плуга. Таким образом, лингвистический материал мы можем использовать при изучении истории пахотных орудий. Да и вообще лексика очень важна при изучении истории пахотных орудий и может нам многое подсказать как в отношении первоначальной функции и форм орудий, так и в области их генезиса.

Советскому читателю будет интересно узнать, что название «Socha» характерно также и для чешской терминологии, связанной с пахотой. Однако сохой в южной части чешских земель называется не все орудие, а лишь рукоять подошвенного рала. Этот термин, как известно, обозначал раньше разветвленное дерево, вообще какую-то развилку. Название «соха» в русском языке совершенно точно определяет это орудие, менее понятно оно в применении к рукоятке чешских подошвенных рал. Рассмотрев некоторые данные, мы, однако, пришли к выводу, что рукоятка, очевидно, первоначально имела эту развилку, позднее же она исчезла. Характерно, что то же самое произошло и с подошвенными ралами, которые сохранили старые названия составных частей, что указывает на их древнее происхождение. Но и эти рала позднее на пахоте, при работе на более тяжелых почвах оснащались двумя рукоятками, как и плуг. Этот термин нередко сохранялся во множественном числе. Кроме того, под влиянием терминологии, принятой для составных частей плуга, употреблялось название «клещи», соответствующее прогнутым рукояткам.

Влияние грядильного плуга на развитие рал в чешских землях представляет собой один из интересных, но, к сожалению, малоизученных вопросов. Усовершенствованный плуг такого типа, снабженный отвалом и колесами, очевидно, начиная с периода позднего средневековья очень быстро распространился во всех чешских землях. Его рисунок в кодексе Яна из Энштейна (конец XIV в.) — одно из лучших в Европе иконографических изображений этого орудия — указывает на почти полное совпадение с экземплярами, характерными для XIX столетия. Тенденции к асимметричной пахоте, однако, намного старше и относятся по крайней мере к эпохе Великоморавского княжества. Характерен тот факт, что на территории этого княжества в юго-восточной Моравии, где имеются свидетельства существования славянских асимметричных небольших рал, в этнографическом материале не было обнаружено старых деревянных рал. И в этом случае, безусловно, речь идет о соотношении географических связей и культурных традиций не только в том смысле, как их понимали авторы вступительной статьи, но и в более широком, так как не следует забывать, что область юго-восточной Моравии была в то же время политическим и культурным центром Великоморавского княжества.

Но я не хотел бы ограничиваться лишь вопросом, связанным с пахотными орудиями. В статье Громова и Новикова, как и в других дискуссионных статьях, подняты многие не менее важные проблемы, в частности вопрос о разделении традиций на культурные и этнические, ставший главным предметом критики почти всех авторов, участвовавших в дискуссии.

Громов и Новиков выступают против того, что в некоторых работах (особенно в тех, где классификация пахотных орудий, по мнению авторов, страдает формализмом) сельскохозяйственные орудия ставятся в один ряд с местным типом керамики, с характером орнамента на одежде и такими явлениями, как обрядность, фольклор и пр. При этом, по мнению Громова и Новикова, авторы подобных работ осознают шаткость своих взглядов и поэтому пытаются выделить в конструкции, например

земледельческой или бытовой постройки, функциональные и нефункциональные части. Первые объявляются вполне рациональными, а вторые — носителями «чисто этнических» особенностей. По мнению авторов вступительной статьи, такое понимание техники земледелия, т. е. дифференциация ее составных частей на функциональные и нефункциональные, ошибочно.

В конце статьи, после анализа всех факторов (социально-экономические условия; природная среда, особенно климат; возделываемые культуры; система земледелия), влиявших на развитие техники земледелия и технологии, Г. Г. Громов и Ю. Ф. Новиков отмечают, что наиболее важным из них была система земледелия. Все эти факторы порождают традиции, которые следует называть не этническими, а культурными, и они являются формой закрепления рациональной практической деятельности человека, определенной группы населения.

Замечание Громова и Новикова о том, что техника земледелия ставится в один ряд с другими культурными явлениями, особенно с народным искусством, обычаями и фольклором, можно считать в какой-то степени обоснованным, но в то же время и не очень конкретным. Авторы в общей форме упоминают о работах некоторых советских исследователей, включая П. И. Кушнера, стремившегося анализировать отдельные культурные явления как раз с учетом этнической специфики. В этой работе П. И. Кушнер говорит о том, что «формы жилища, планировка жилых и подсобных помещений, внутреннее убранство домов, хозяйственная утварь, одежда, кулинария» сохраняют этнический колорит, тогда как обнаружить этнические различия в социальной области гораздо труднее, как и в большинстве явлений духовной культуры¹⁰. Можно, конечно, спорить с Кушнером, но он не ставит в один ряд технику земледелия с явлениями, перечисленными Г. Г. Громовым и Ю. Ф. Новиковым. В этой связи Л. М. Сабурова в своей статье — отклике на дискуссию указала на другую высказанную Кушнером мысль о том, что не содержание, а форма культуры сохраняет этнические, национальные или народные черты. Н. Н. Чебоксаров и Я. В. Чеснов вновь подчеркнули, что проблема культурных и этнических традиций весьма сложна и что социально-экономический и экологический аспекты не обязательно будут входить в противоречие с этнической принадлежностью определенных явлений исторического процесса, с этническими традициями, точнее, обе эти традиции или стороны процесса могут иметь много точек соприкосновения и перемешаться.

Оба приведенных соображения, затрагивающих проблематику традиций, важны с теоретической точки зрения. К сожалению, в настоящее время этим мало занимаются. Возьмем, к примеру, тезис Кушнера о том, что не содержание, а форма культуры сохраняет этнические черты, специфику, традиции. Мы часто говорим, что наша культура — социалистическая по содержанию и национальная по форме. Но разве мы, этнографы, не обязаны и не призваны показать, как этот общий тезис распространяется на отдельные области изучаемых явлений в различных социально-экономических формациях, которые пережил этнос? А что такое вообще содержание и форма культурных явлений в отдельных случаях? Этот вопрос может показаться некоторым исследователям второстепенным, излишним, его разрешение — уведящим нас в сторону. Но если мы не хотим стать на платформу структуралистских дедукций или иных подобных концепций, нам придется его решать. При этом необходимо постоянно сочетать аналитические и синтетические исследования.

Замечание, высказанное Н. Н. Чебоксаровым и Я. В. Чесновым, во многом перекликается с соображениями А. А. Шенникова, который пи-

¹⁰ П. И. Кушнер (Кнышев), Этнические территории и этнические границы. М., 1951, стр. 9.

сал, что каждая этническая традиция является традицией культурной, в то время как не каждую культурную традицию можно считать этнической. В этой связи необходимо подчеркнуть значение сравнительного изучения данной проблемы, так как в противном случае понятие этнической традиции может стать не только ограниченным, но даже приблизиться к националистическому пониманию.

Вопрос о том, что действительно является этнической традицией, трудно разрешим. На данной ступени знаний в отдельных случаях дать ответ на него почти невозможно. Сама традиция — это неотъемлемый атрибут культуры, атрибут противоречивый, содержащий, с одной стороны, элементы прогресса, а с другой — элементы регрессивные, элементы рациональные и иррациональные, элементы, сохраняемые современными формами общества, и такие, которые несут в себе зародыш собственной гибели в связи с развитием производительных сил и производственных отношений. Культурные традиции мы встречаем уже на самых низких ступенях развития общества; помимо вышеперечисленных противоречий, они содержат в себе еще одно противоречие: между общим — тем, что свойственно всему человечеству, и специфическим — тем, что характерно для того или иного первобытного коллектива и зависит от природных условий, весьма сильно влияющих на него на этих ступенях развития, особенно в сфере производства. Но на начальных ступенях развития человеческого общества было еще много неясного, что люди стремились, но не могли объяснить. При этом они старались воздействовать на непознанное. Так возникла целая область духовных явлений, которые мы называем поверьями, обычаями, магией, религией, имеющая в свою очередь как общий, так и специфический характер. Эти явления на ранних ступенях развития общества тесно связаны с собирательством и охотой, а затем с земледельческим производством. Они постепенно набирают силу, становятся общественно-культурными ценностями и препятствуют эмпирическому познанию и прогрессу мышления. Натуральный характер хозяйства и изолированность лишь укрепляют этот консервативный элемент. Нетрудно включить производственные традиции в область так называемых культурных, а непроизводственные, духовные — в сферу этнических традиций. Но характеризуют ли этнос, его специфику лишь непроизводственные традиции, менее рациональные или иррациональные? ¹⁴ Конечно, нет. В эпоху натурального хозяйства, экономической и культурной раздробленности своеобразия культуры складывалось не только в непроизводственной, но и в значительной мере в производственной сфере. Одни из этих особенностей непосредственно относятся только к одному этносу, другие — к нескольким, но внутри одного этноса в процессе его развития может наблюдаться локальная дифференциация культуры. А традиции, возникшие на базе натурального хозяйства, этнос или его часть продолжают сохранять и при переселении в новые районы. В том, что эти традиции являются не только непроизводственными, нас убеждает римская колонизация, переселение славянских, германских и других народов, происходившее в первые века нашей эры, а также современные миграции отдельных групп населения, осваивающих новые районы. Правда, далеко не все элементы материальной культуры и производства распространяются на территории, где оседает новое население. Припомним, однако, некоторые примеры, свидетельствующие о том, что из Средиземноморья на север проникали фе-

¹⁴ Не знаю, будет ли понятие «рациональные» в данном случае наиболее удачным. Хотя нам в настоящее время многие явления духовной культуры древнейших этнических групп кажутся нерациональными, встает вопрос: какими они казались тогдашнему обществу? В любом случае существование поверий, обрядов, магии — это прежде всего результат непознанного; ведь и сейчас недостаточно познанные области знаний порождают подобные поверья.

номены, которые не очень соответствуют местным условиям, но тем не менее бытуют там веками. Убедительным доказательством этого является, например, двухколесная тележка, отопление помещений каминами, плоская крыша в альпийских областях, форма которой прямо противоречит местным климатическим условиям и близко связана с формой крыш каменных домов Средиземноморья.

Обратим внимание и на другой подобный случай, когда на соседних территориях, в целом географически единых, живут рядом два этноса, пришедшие сюда по мере продвижения колонизации. Мы видим, что явления материальной культуры, особенно старые формы земледелия, земледельческой техники и технологии, могут здесь резко отличаться друг от друга, тогда как в области духовной культуры нередко наблюдаются явные совпадения, существующие, несмотря на языковые различия. Этот вопрос я изучал в чешских землях, особенно в западной и южной Чехии, а также в других районах Центральной Европы. Однако характерно, что эти различия в материальной культуре обыкновенно бывают связаны со сравнительно низким уровнем производительных сил, и, наоборот, там, где их уровень более высок (в нашем случае на севере Чехии), происходят не только экономические изменения, но и взаимное проникновение целого ряда явлений как материальной, так и духовной сфер человеческой культуры.

Я полагаю, что в данном случае здесь наблюдается не простая корреляция, а определенная закономерность. Во всяком случае можно констатировать, что этническая специфика, этнические традиции в узком или широком смысле слова связаны с развитием социально-экономических условий. Под их влиянием меняется структура этих традиций, они становятся менее существенными по сравнению с культурными традициями в том понимании, в каком их излагают авторы вступительной статьи. Конкретное изучение этого вопроса внесло бы несомненно ценный вклад в развитие теоретической базы этнографии.

Следующая проблема, на которой нам хотелось бы остановиться, это мышление и его процессы. В принципе развитие логического мышления у всех этносов одинаковое. Представление о так называемом прелогическом мышлении, искусственно сконструированное Л. Леви-Брюлем, от которого автор к концу жизни сам фактически отказался, оказалось несостоятельным. Человеческое общество всегда имеет рациональное и логическое отношение к действительности. И развитие мышления происходит в процессе производства и разделения труда. Даже так называемые нерациональные элементы мышления определяются главным образом одной из категорий мышления логического — аналогией. Насколько она может быть ошибочной, зависит от степени эмпирического познания. Однако почему в тех областях, где мы ожидали бы единства, например в цифровых системах, в разных этносах и общностях существуют различия? Можно ли объяснить этот факт только «рациональными» причинами, или в данном случае мы будем оперировать такими понятиями, как *genius loci*, *genius populi* и т. д.? Но в любом случае каждое упрощение проблемы могло бы привести нас к подобным аналогиям и обобщениям, которые становятся еще хуже от того, что их выдают за научные.

Я полагаю, что в этнографии мы уже привыкли иногда к слишком простым обобщениям, что этнографическая работа часто состоит из подробных, но в основном описательных работ, лишенных теоретического подхода к вопросу. И в то же время встречаются работы, поражающие обобщениями, которые при проверке не отвечают конкретной действительности. Многие исследователи не видят диалектических противоречий, присущих каждому культурному феномену, не видят эти феномены в общественно-экономических и исторических взаимосвязях, в сочетании с развитием остальных составных частей культуры того или иного

общества, того или иного этноса, того или иного класса или прослойки. Подобным же образом обстоит дело и с изучением явлений, связанных с земледельческим производством. Это изучение необходимо сопоставлять с явлениями, характеризующими пищу, характер поселений, жилых и хозяйственных построек, с орудиями производства вообще, а также с общественными явлениями и явлениями духовной культуры. Каждое явление, связанное с земледельческим производством, выражает не только рациональное отношение производственной деятельности человека и общества к окружающей природе и к развитию социально-экономических условий, но в то же время становится традицией определенного общества или класса. Технологический и технический опыт передаются из поколения в поколение, сохраняясь и тогда, когда экономическое развитие вступает в противоречие с ним. Если бы этого не было, не было бы столкновения взглядов отдельных поколений, не опасались бы полезных инноваций (на пути их внедрения возникало немало препятствий, обусловленных экономическим положением трудящихся, тем, что эти инновации служили прежде всего правящим классам, латифундистам), не существовало бы опасности, что каждая неудача, вызванная, например, неблагоприятными климатическими условиями, будет приписана новому изобретению.

Последний из названных факторов, изменчивость погоды и негарантированный успех земледельческого труда, оказывал в прошлом большое давление на развитие аграрной техники и технологии, на мышление крестьян и на многие другие составные части культуры. Поэтому весь годовой цикл земледельческих работ сопровождался целым рядом поверий и обрядов, проникавших и в общественную и в семейную жизнь крестьян. Данные явления как будто бы и не соприкасаются с производственной сферой, но на самом деле очень тесно связаны с ней. Более того, в значительной степени они являются ее составной частью. Насколько эти области тесно взаимосвязаны, мы видим из того, что некоторые старые виды, типы или формы орудий становятся составной частью культа определенного этноса или религии, что об изобретениях пахотного орудия и о первом пахаре в некоторых этносах и общностях сложились легенды и т. д. Эти мифы, поверья и обряды с течением времени утратили свое значение. Однако негарантированные результаты труда по возделыванию какой-либо культуры и опасение нарушить традицию были факторами, которые их сохраняли, хотя определенные обряды позднее совершались механически. Не вдаваясь, однако, в подробности, можно констатировать, что элементы духовной культуры, которые мы можем назвать рациональными, играли в истории земледелия далеко не случайную роль и находились в диалектическом единстве с эмпирическим опытом. Но рассматривать их как этническую традицию так же трудно, как считать их традициями техническими и технологическими. Только подробный сравнительный анализ может помочь нам в решении этого вопроса.

Однако речь здесь идет не о каком-либо сравнении, критерии для сравнения, просто сравнительном методе, а об историко-сравнительном методе, позволяющем сравнивать явления в их широких исторических взаимосвязях, в духе принципов диалектического и исторического материализма. Я полагаю, что настало время высказаться по данному вопросу применительно ко всем областям этнографии и фольклористики, так как речь идет о проблеме, имеющей огромное значение для истории культуры. Мы знаем, что сравнительный метод, особенно в фольклористике, был подвергнут резкой, в одних случаях обоснованной, в других — необоснованной критике. Но речь идет не о критике, а о том, чтобы поднять его на более высокую ступень, чтобы он стал историко-сравнительным методом в полном смысле этого слова. В области агроэтнографии эта теоретическая проблема имеет особенно большое значение, так как

сельскохозяйственное производство вплоть до наступления эпохи капитализма оказывало влияние на характер народной культуры в целом. Как показали на примерах авторы вступительной статьи и некоторые участники дискуссии, сходные системы земледелия приводили к сходным явлениям и в других областях культуры. Используя историко-сравнительный метод, нужно в конкретных случаях решать также вопросы моногенеза и полигенеза, рассматриваемые в этнографии и фольклористике нередко односторонне, иногда даже априорно, причем не только с чисто теоретических, но порой и с националистических позиций. В качестве примера можно взять проблему возникновения грядильного плуга, при решении которой был особенно заметен априорно-монологический подход.

Бесспорная заслуга авторов вступительной статьи, затронувших сложные проблемы, заключается в том, что они критически подошли прежде всего к тем теориям, в которых чувствовалось стремление априорно доказать этническую или племенную принадлежность отдельных видов, типов, форм или вариантов пахотных орудий. При этом необходимо констатировать, что такие теории развивались не только в старых трудах, отличавшихся националистической окраской, но и в трудах некоторых исследователей, объявляющих себя марксистами, полагающих, что особая форма пахотного орудия является одним из проявлений национальной или племенной культуры. Такая априорная, в большинстве случаев тенденциозная, точка зрения не приносит пользы этнографии как науке, хотя в обязанности этнографов входит и всегда будет входить изучение отношений между формой определенного явления и этносом. Ведь именно в этом и заключается *raison d'être* этнографических исследований.

Даже тогда, когда в определенных соприкасающихся ареалах мы встречаемся с двумя различными принципами, характеризующими разные этносы, не обязательно будут развиваться две различные этнические традиции, исключительно этническая специфика. Я могу подтвердить это на примере изучения способов упряжки. На территории чешских земель — в западных и южных районах — встречалось в прошлом ярмо рамной конструкции, использовавшееся местным населением для запряжки крупного рогатого скота, и налобное ярмо (укрепленное на рогах), в которое впрягали волов немцы. На первый взгляд может показаться, что речь идет о двух различных этнических традициях. Однако при более подробном изучении вопроса можно обнаружить, что ярмо рамной конструкции встречается в упряжке крупного рогатого скота и у других славянских народов, а также по всей Восточной Европе и в Азии, тогда как принцип крепления ярма на рогах был распространен в зоне, идущей от альпийских стран до Португалии. Спорадически он характерен и для некоторых других районов Европы. Таким образом, можно сказать, что в районе пограничного чешско-южнонемецкого ареала два различных принципа обрели этнический характер, но едва ли можно принцип запряжки в рамное ярмо объявить специфической чертой только чешской культуры, исключительно этнической традицией. Это было бы ненаучное понимание вопроса, вытекающее из ограниченного, узко местного взгляда на проблему. В то же время мы допустили бы ошибку, если бы стали утверждать, что вышеуказанные принципы упряжки не имели своей специфики у отдельных этносов, соседствовавших в прошлом. Существуют еще и другие вопросы. С чем, например, связаны эти два различных принципа? Чем можно объяснить существующее различие? Следует ли исходить из географических и социально-экономических условий, из факта использования в земледелии различных пород крупного рогатого скота или из типа запряжки коней? В некоторых случаях на эти вопросы хотя бы частично или с большей или меньшей степенью

вероятности, можно ответить, как сделал это, например, В. Якобейт¹², в частности если исследуется ограниченный ареал. Но известны случаи, особенно в пограничных районах, когда крестьяне отдавали предпочтение то одному, то другому способу упряжки, и их объяснения диаметрально отличались одно от другого. Я не собираюсь сопоставлять различные способы упряжки с отличиями в устройстве пахотных орудий, а хочу лишь показать, что проблематика традиции может быть весьма сложной и иногда очень трудно, чтобы не сказать невозможно, объяснить причину бытования той или иной местной традиции.

Дискуссия о проблемах агроэтнографии, материалы которой были опубликованы в журнале «Советская этнография», вызвала и продолжает вызывать целый ряд теоретических вопросов, выходящих за рамки этнографических исследований в области земледельческого производства. Она показала, что многие понятия и выводы, которые мы нередко считаем однозначными и которые стали чуть ли не аксиомами, намного сложнее, чем мы их себе представляли или представляем. Дискуссия говорит о том, что нужно провести еще множество исследований и решить немало сложных теоретических проблем, чтобы ближе подойти к истине. Хотелось бы пожелать, чтобы подобных дискуссий было как можно больше, чтобы они давали новые импульсы к работе и были столь же полезны. Обмен мнениями, цель которого заключается в открытии непознанного, в поисках ответа на малоизученные вопросы развития человеческой культуры, не только нужен, но крайне необходим для дальнейшего развития науки.

В то же время оказалось, что значение агроэтнографических исследований возрастает при сотрудничестве со смежными науками, хотя, с точки зрения методики, этнография сохраняет свое специфическое положение. Систематические каталоги в музеях и полевые записи, анкеты, картографическое изображение явлений, которые сейчас еще можно обнаружить или которые сохранились в традиции,— все это является основой исследований, опирающихся на прочную теоретическую базу — диалектический и исторический материализм.

A FEW REMARKS TOWARDS THE DISCUSSION ON AGROETHNOGRAPHY

The discussion on agroethnography on the pages of the leading journal of Soviet ethnographers has shown the necessity of solving a number of theoretical problems extending beyond the bounds of ethnographic studies in the field of agriculture. The first of such problems is that of the interaction of cultural and ethnic traditions, their definition and specificity.

The author stresses the complexity of the problem and shows, by examples taken from the sphere of European agroethnography, that there is no contradiction between the social-economic and the ethnological aspects of its study, since these aspects are constantly overlapping.

¹² W. Jacobeit, Jochgeschirr- und Spanntiergrenze, «Deutsches Jahrbuch für Volkskunde», 1957, № 3, S. 119—144.

И. Н. Гемуев, Г. И. Пелих

СЕЛЬКУПСКОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО

В этнографической литературе существовало представление о селькупках, как исконных охотниках и рыбаках. Считалось, что в районе Нарыма они вообще не знали оленеводства, а та часть селькупов, которая переселилась в XVII в. в бассейны рек Таза и Турухана, заимствовала выючно-верховое оленеводство у лесных ненцев или лесных энцев¹, ее упряжное оленеводство не отличается от ненецкого. Между тем, в ряде работ высказывалось мнение, что предки самодийских народов, в том числе селькупы, были знакомы с оленеводством саянского типа, но это мнение не было подтверждено конкретным селькупским материалом². Первой точки зрения придерживался раньше и один из авторов настоящей работы³. Казалось, что для этого имелись достаточно серьезные основания. У селькупов в Нарыме переписями 1897, 1911 и 1926 гг. оленеводство не было зафиксировано. Кроме того, сведения о бытовании у них в прошлом оленеводческого хозяйства настолько фрагментарны, что не давали основания для какого-либо определенного вывода. Наконец в ведении современного оленеводства у северных селькупов и ненцев действительно много общего.

В настоящее время проблема селькупского оленеводства представляется нам значительно более сложной. В течение последнего десятилетия среди селькупов работало несколько этнографических⁴ и лингвистических⁵ экспедиций. Анализ собранных ими сведений, а также некоторых музейных и архивных материалов, не использовавшихся ранее

¹ Сб. «Народы Сибири», М., 1956, стр. 671. См также: Г. Д. Вербов, Лесные ненцы, «Сов. этнография», 1936, № 2, стр. 66; В. И. Васильев, Система оленеводства лесных энцев и ее происхождение, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», вып. XXXVII, 1962, стр. 73; «Очерки общей этнографии. Азиатская часть СССР», М., 1960, стр. 329.

² С. И. Вайнштейн, Тувинцы Тоджи (историко-этнографический очерк), Автореферат канд. дис., М., 1956, стр. 7; его же, Проблемы происхождения оленеводства в Евразии, «Сов. этнография», 1970, № 6.

³ См.: Г. И. Пелих, Условия возникновения территориальной общины-юрты у селькупов Нарымского края, «Ученые записки Томского госпединститута», вып. XIV, 1955, стр. 255.

⁴ Среди селькупов Нарыма работа проводилась летом 1959, 1960, 1961 и 1963 гг. под руководством Г. И. Пелих. В 1969 г. селькупов Тыма исследовал И. Н. Гемуев. У северных селькупов в 1970 г. работал отряд этнографической экспедиции Томского госуниверситета (Г. И. Пелих, И. Н. Гемуев, С. А. Задворнов), а в 1971 г. — Тазовский этнографический отряд Комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (Г. И. Пелих, И. Н. Гемуев, В. М. Мартемьянов).

⁵ Лингвистические исследования проводились под руководством А. П. Дульзона. Их результаты обобщены в «Картотеке топонимов Западной Сибири», хранящейся в Томском госпединституте.

этнографами, убеждает нас в целесообразности постановки вопроса о древней, исчезнувшей ныне форме селькупского оленеводства. Следы ее сохранились в быту как северной, так и южной группы селькупов. Рассмотрим характерные особенности оленеводства этих групп.

Оленеводство северных (тазовско-туруханских) селькупов. При изучении его мы встретились с рядом противоречивых черт. Например, в одном случае имеют место круглогодичная пастьба, доение важенок (*чекты*) и летние перекочевки, в другом — отпуск оленей на вольный выпас в тайгу сразу после отела и содержание их там вплоть до поздней осени. Выявились два различных типа оленьих сараев с дымокурами, два способа кастрации и т. д. Иными словами, у северных селькупов обнаружены две формы оленеводческого хозяйства.

Первая форма. В стаде были три примерно равные по количеству части: $\frac{2}{3}$ его составляли важенки (*чекты*), кастрированные быки (*хонтэ*) и $\frac{1}{3}$ — быки-производители (*хоры*), телята (*торне*) и другой молодняк, олени, предназначенные к убою (их старались не запрягать), а также «зареченные» олени (*козыль-эта*); т. е. посвященные какому-либо духу. В пос. Усть-Маковка нами была записана одна из церемоний такого посвящения⁶. Козыль-эта работали в упряжках вместе с другими оленями, но их нельзя было бить и убивать.

Во время зимних перекочевок в первые нарты запрягали трех оленей, в остальные — по два. «Сначала сам едет, потом она с ребятишками едет, потом вещи, чум везут. Остальные олени сами идут. Если старую важенку гонят, то молодые, все ее поколение, сами идут», — свидетельствуют информаторы⁷. Зимой оленей пасли в местах пушного промысла под присмотром женщин, подростков и стариков (охотники уходили в это время в тайгу за пушниной). Некоторым оленям надевали на ноги деревянные башмаки (*эта мукта лакка*), на шею старой важенки вешали колокольчик (*котл*). Для присмотра за оленями держали специальных собак («у кетов есть ездовые собаки, а у селькупов только охотничьи и оленьи»). Каждое хозяйство имело по крайней мере двух собак (промысловую и сторожевую)⁸. При гололеде и глубоком снеге оленей подкармливали рыбой, мясом забитых оленей, срезанными ветками.

Стельных важенок освобождали от работы с февраля, а в малооленных хозяйствах — с мая. Важенок старались подкармливать, особенно следили за ними весной во время отела («весной шибко трудно, когда телится. Она может бросить теленка. Тогда мать надо поймать, привязать»). Для обогрева оленят ставился чум, крытый берестой («тисковый» чум — *тельмат*). Оленят метили (*сеэколо*), прорезая углы ушей. Иногда в ухе прокалывалось отверстие, в которое протягивали цветные тряпочки и ремешки с кусочком медвежьей шкуры. Последний играл роль оберега («чтобы медведь не съел»).

После весеннего отела оленей отпускали в тайгу на вольный выпас. Забота о стаде в это время ограничивалась устройством каркасных сараев (*соргой*) с плетеными стенами, в которых летом укрывались от комаров и солнца (зимой сарай не использовался). Соргой — сооружение прямоугольной формы на столбах, соединенных сверху деревянной ра-

⁶ О сходном обряде посвящения упоминает Е. Д. Прокофьева, см. Е. Д. Прокофьева, Представления селькупских шаманов о мире, «Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР» (далее — «Сб. МАЭ»), т. XX, 1961, стр. 61.

⁷ Полевые записи авторов, 70-е годы. Все полевые материалы за 60-е годы хранятся в Архиве Музея археологии и этнографии Сибири Томского госуниверситета, а полевые материалы за 70-е годы — в Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР. В дальнейшем полевые записи даются в тексте без ссылок.

⁸ В. Алексеев, Современное хозяйство Баишенского остояка, «Советский Север», 1931, № 7—8, стр. 56.



Рис. 1. Олений сарай на берегу р. Язёвой — притока Турухана

мой с пазовым креплением и плоским перекрытием из жердей и еловой коры. Соргой имел лишь две стены, которые состояли из продольных перекладин, прибитых гвоздями к опорным столбам. Число последних зависело от длины соргоя. Продольные перекладины переплетались прутьями. У каждого из узких открытых концов соргоя устраивались один-два дымокура с конусообразным остовом из жердей над огнем, чтобы олени не обожглись.

В июле олени сами, спасаясь от комаров, собирались к дымокурам, а «после спада комара» уходили в тайгу. Сбор оленей проходил в основном в октябре и считался трудной мужской работой. В верховьях Турухана в 1941 г. поголовье сократилось более чем вдвое из-за того, что мужчины ушли на фронт, не успев собрать оленей. «Мы остались бабы одни, — рассказывает местная жительница М. Ф. Безруких, — оленей-то гонять надо, потеряются иначе олени. У каждой бабы по двадцать — пятьдесят оленей было... Половину оленей собрали. Остальные к диким ушли».

Осенью оленей сортировали. Для сортировки строили загон (*пуруль-коле*). В это время холостили лончаков. Оленя валили на землю, связывали ему ноги, затем два человека держали его, а третий кастрировал мягким некаленным ножом (*улу-пан*). Считалось, что от закаленного стального ножа (*пыльчит-пан*) «много крови будет».

С двух-трех лет оленей приучали к упряжке. Сначала оленя привязывали к дереву, потом надевали недоуздок, далее молодого оленя припрягали к хорошему вожаку («справа — ученый олень, слева — молоденький»), приучали к команде. Наконец, его запрягали в пустые нарты, привязанные сзади к «своей», ездовой нарте.

Недоуздок (*аккаль-олы*) состоит из двух налобных пластин (*хоткуль-лэ*) и двух нащечных пластин (*путылиль-лэ*). Они заготавливаются из кости или дерева и скрепляются ремнями: ремень, завязывающийся на затылке, называется *тотанель-кула*; подшейный ремень — *тетель-тымет* и ремень, соединяющий пластины налобника, — *хоткуль-тымет*. Ремни соединяются с помощью палочки на одном конце и петли на другом или связываются узлом. Вместо двух подшейных ремней иногда применяется один. В этом случае он продевается через отверстие нащечной пластинки и петлю в самом ремне, а узел завязывается после продевания через отверстие в другой нащечной пластине.

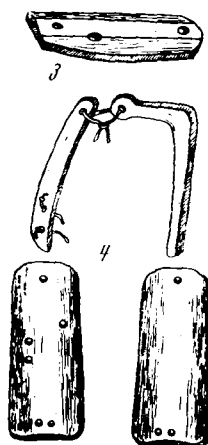
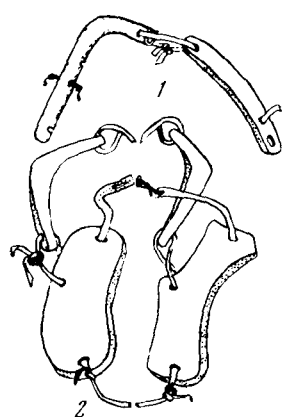


Рис. 2

Рис. 2. Оленьи недоуздки: 1 — недоуздок возжевого (левого) оленя у северных селькупов; 2 — недоуздки остальных (начиная со второго) оленей упряжки у северных селькупов; 3 — пластина верхового недоуздки нарымских селькупов (Музей археологии и этнографии Сибири Томского университета, инв. номер 2784); 4 — пластины верхового недоуздки северных селькупов (пос. Сидоровск, район р. Таз)

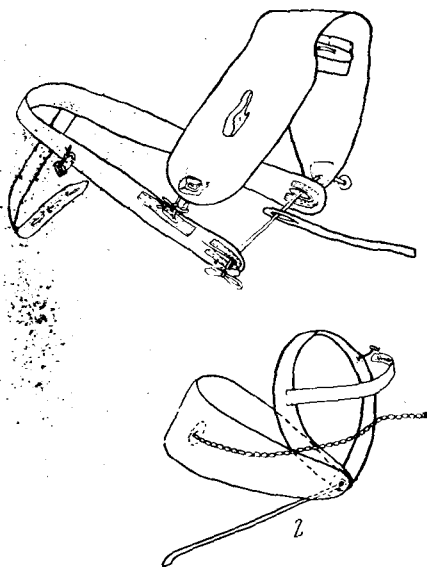


Рис. 3

Рис. 3. Способы оленьей упряжки северных селькупов: 1 — «юрацкий» (по определению селькупов); 2 — селькупский

Пояс (*куттыль-тымет*) соединяется с ляжкой (*нондель-тымет*) и потягом (*юнэ*) двумя способами. 1. С помощью ремня, который проходит от правого конца пояса через потяг к ляжке и пристегивается к ней с помощью палочки (*куль*). Левый конец пояса привязывается к ляжке ремешком. 2. Четыре конца (пояса и ляжки) и потяг скрепляются вместе под брюхом оленя. Сами селькупы считают, что более удобен первый («юрацкий») способ — при нем упряжь меньше трет брюхо. При любом варианте потяг проходит под брюхом оленя и между его задних ног. Подшейный ремень ляжки застегивается с помощью петли и крепится на палочку. На левой стороне пояса находится *холсы* — приспособление для укладки на него или продевания сквозь отверстие в нем (если олень «дурной») вожжи; холсы пришивается к поясу. К правой стороне пояса крепится цепью недоуздки правого оленя.

Соединение потяга с нартой блочное. Селькупы запрягают от одного до пяти оленей. Если запрягают трех-четырех оленей, то один или соответственно два челнока (*поллака*) переворачиваются в обратное положение. Пятый олень, припрягаемый к четырехоленной упряжке, челнока не имеет.

Селькупские нарты (*каглы*) подразделяются по назначению на грузовые и легковые, а последние в свою очередь — на мужские и женские. Грузовые селькупские нарты изготавливались косокопыльными с наклоном копыльев внутрь. Обычное число копыльев — шесть (по три с каждой стороны), соединение копыла с полозом (*катым*), нащепом (*каглы-моглы-по*) и вязками (*каглы-ор-по*) — пазовое. Вязки в копыльях дополнительно крепятся деревянными чеками (*пурт-по*). Передние утолщенные части полозьев соединены с помощью пазов тремя-четырьмя перекладинами. В передних концах полозьев просверлены отверстия



Рис. 4. Оленья грузовая нарта северных селькупов

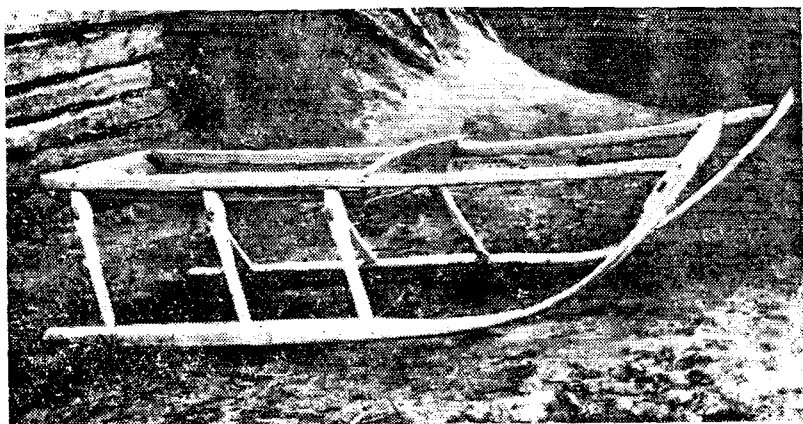


Рис. 5. Мужская нарта селькупов. Пос. Ратта, район р. Таз

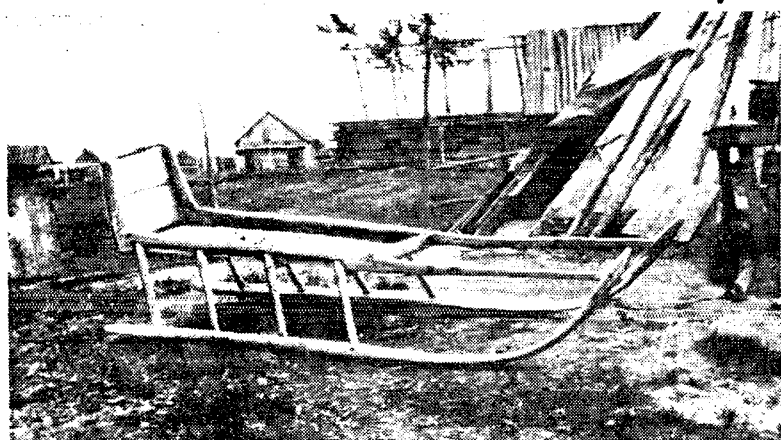


Рис. 6. Женская нарта селькупов, район р. Таз

(поллака-мю) для продевания ремней челноков. На вязки нарты устанавливался деревянный ящик.

Женская легковая нарта — восьмикопыльная (по четыре с каждой стороны), с наклонном копыльев назад и внутрь. Соединение копыльев с вязками, полозьями и нащепом — пазовое. Впереди полозья скрепляются с перекладной также с помощью пазов. Сиденье представляет собой настил из досок, уложенных на вязки. Оно имеет спинку и упор для ног. Мужские нарты короче женских, у них нет спинки, иной способ крепления челноков. Ремни челноков женских нарт продеваются через перекладину, а мужских, кроме того, — в отверстие в конце полоза.

При езде салятся на нарту слева. Мужчины правую ногу подгибают под себя, а левая при необходимости служит тормозом. У женщин при езде ноги вытянуты и упираются в передок. Управление упряжкой производится с помощью вожжи и хорea (*няре-по*). Если нужно повернуть налево — дергают вожжу, направо — ударяют по ведущему (крайнему левому) оленю.

В оленеводстве северных селькупов и ненцев много общего. Оленьи нарты, их загрузка, упряжь, способы посадки почти одинаковы. Сами селькупы считают, что их современная оленья упряжь отличается от ненецкой лишь деталями:

1) у «юраков» упряжь соединяется свободно на ремнях, а у селькупов все концы упряжи наглухо скрепляются деревянными палочками-застежками, продетыми в прорези ремней;

2) налобные пластины недоуздка селькупы делают не только из кости (как «юраки»), но и из дерева;

3) ненецкий соединительный блок (*поллак*) имеет круглые отверстия, а у селькупов нижнее отверстие блока — сегментообразной формы («тогда ремни меньше стираются»).

Следует отметить, что железную цепь, соединяющую оленей одной упряжки, селькупы считают своим изобретением.

Итак, характерными особенностями первой формы оленеводства северных селькупов являются: вольный выпас в летнее время, оленьи сараи с дымокурами, использование собак, кастрация мягким некаленным ножом, «упряжная езда» в период зимнего охотничьего сезона.

Вторая форма. В этнографической литературе уже поднимался вопрос о наличии у северных селькупов и лесных ненцев выючно-верхового оленеводства, предшествовавшего упряжному⁹.

Хотя в 1970—1971 гг. мы не встретили выючно-верхового оленеводства, полевые материалы показывают, что еще «на памяти» современных селькупов здесь существовала иная (по сравнению с вышеописанной) форма оленеводческого хозяйства — селькупы держали домашних оленей. По словам информаторов, «вот уже тридцать лет таких оленей кончали».

Характерная особенность этой формы оленеводства — отсутствие вольного выпаса. В зимний период селькупы, державшие «домашних» оленей, жили более или менее оседло. Жилищем им служила бревенчатая избушка (*шимоля*). Ее строили всегда на берегу водоема (чаще большого озера), где имела возможность устойчивого подледного лова рыбы. Одна из таких заброшенных избушек была обследована нами на берегу Мамонтова озера (Кажарель-ту) в системе р. Маковки.

Район зимней рыбалки и зимнего жилища считался постоянным местом жительства данной семьи. Небольшая численность оленьего стада позволяла содержать его на близлежащих зимних пастбищах, а при

⁹ Г. Н. Прокофьев, Остяко-самоеды Туруханского края, «Этнография», 1928, № 2, стр. 100; Е. А. Алексеенко, Средства передвижения кетов, «Сибирский этнографический сборник», т. III, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. LXIV, М.—Л., 1961, стр. 72; Л. В. Хомич, Оленьи нарты и упряжь у ненцев, «Сб. МАЭ», 1961, т. XX, стр. 33.

необходимости оленей подкармливали рыбой. Здесь оставались до весеннего отела. «Где рыбачат — там постоянное место. Держат, пока все матки не отелятся». Затем грузили на оленей тисковый чум, имущество, необходимое летом, и перекочевывали на места летней рыбалки. «Верхами наши родители ездили на оленях», — рассказывает Б. Г. Тамелькин. — То на своем месте на Тазу живут у Лозыль-то (Чертово озеро), потом на Худосее подъемную рыбу осенью ловят, а на зиму переезжают сюда, в район Баихи, богатый озерами, чтобы ловить зимой подледную рыбу, и весной во время нереста оставались здесь. А в августе уезжают снова туда (на Лозыль-то). Основное, что их заставляет, — рыба... На оленей особенно дети и пожилые садятся. На сухом месте встанут и пойдут, а на сыром — все на оленей сядились».

На время летней рыбалки объединялось несколько родственных семей («Свои в кучу соединялись. Обычно стоят пять-шесть, восемь чумов...»). Они вместе пасли оленей и строили *чунар* — коллективный олений сарай («В одно стадо объединяли оленей... Вместе сарай делали»). *Чунар* — срубное, прямоугольное в плане помещение с двускатной крышей, покрытой жердями и еловой корой. Сруб делали в угол, в чашку. По технике строительства чунар напоминает старинную селькупскую землянку *шимоля*. Селькупы подчеркивают, что чунар строился «как дом». В противоположных (узких) стенах чунара делали сквозные ворота («чтобы олени свободно заходили и выходили»). Олени находились в чунаре весь день, а вечером паслись в лесу. Земляной пол в чунаре забирался бревнами. Внизу под ними у стены выкапывалась яма, выходившая за пределы сарая (под откос) — «туда сбрасывали навоз от оленя. Дождем все смоем». В центре сарая также устраивалась небольшая яма, огороженная, чтобы олень не свалился, кольями, связанными вверху как остов чума. В яме разводили дымокур.

Постоянное содержание оленей без вольного выпаса давало возможность доить важенок во время летней рыбалки и при сезонных перекочевках. От важенки получали около 250 г молока. Оленьё молоко (*оттенима*) пили с чаем и ели с ягодой. Из него изготавливали «творог», смешивая для этого молоко с мелко нарезанной селезенкой. Кроме того, делали «сыр», для чего молоко долго кипятили и потом отжимали. Рассказывают, что порой молоко сбивали «как коровье масло». Иногда оленей забивали на мясо, но в основном использовали как выючный транспорт.

О выючно-верховом оленеводстве северных селькупов до сих пор было известно очень немного. Г. Н. Прокофьев отметил лишь его нетунгусский характер¹⁰. Им же было привезено от байшенских селькупов выючное седло (*paksat*), ныне хранящееся в Музее антропологии и этнографии¹¹. Это седло, по определению С. И. Вайнштейна, совпадает по конструкции с тувинскими и тофаларскими седлами¹². Надевалось оно оленю на спину (не на лопатки!). По рассказам информаторов, такие седла якобы и сейчас еще лежат кое у кого в амбарчиках на местах зимних стоянок.

В 1971 г. нами в числе других предметов оленеводческого инвентаря получены у тазовских селькупов и сданы в Музей при Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР выючная сума, верховое седло и недоуздки для верховой езды.

Выючная сума конструктивно и по внешнему виду напоминает эвенкийскую выючную суму. Основой ее служит каркас из бересты и дере-

¹⁰ Г. Н. Прокофьев, Указ. раб., стр. 100.

¹¹ Инв. номер 3871-9. См. также С. И. Вайнштейн, Проблема происхождения оленеводства в Евразии, «Сов. этнография», 1970, № 6, стр. 12.

¹² С. И. Вайнштейн, О саянском типе оленеводства, КСИЭ, вып. XXIV, 1960, стр. 60.

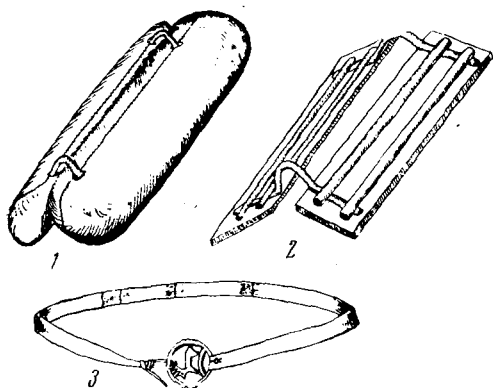


Рис. 7. Верховое оленьё седло: 1 — внешний вид седла; 2 — ленчик седла; 3 — ремень (с медной пряжкой) для крепления седла

ных березовых корней. К лукам прибиты гвоздями рейки (*коль-по*) по две с каждой стороны, длина реек соответствует длине полок.

Полки заключены в мешки, сшитые из оленьей шкуры мехом внутрь. Мешки плотно набиваются оленьей шерстью, после чего зашиваются. Готовое седло представляет собой две мягкие подушки, сверху видны лишь концы луков. Все вышесказанное позволяет отнести это седло к саянскому типу седел. По внешнему виду оно несколько напоминает долганское мужское верховое седло¹³. Крепится седло широким ремнем (*чуты*), который надевается поверх седла и застегивается на левом боку оленя с помощью медной пряжки.

Недоуздук, применяемый селькупам для верховой езды, состоит из двух налобных (как говорят информаторы, «лицевых») пластин (*вындельбоомт* или *вындель-лэ*) и двух массивных нащечных пластин (*путыль-лемт* или *путыль-лэ*). Пластины изготавливаются из мамонтовой кости. Лицевые пластины (одна или обе) имеют Г-образную форму. Отверстия нащечных пластин и ремень, соединяющий «лицевые» пластины, иногда отделаны крашеными сыромятными ремешками¹⁴. В качестве верхового недоуздки порой используется и обычный *аккаль* с двумя пластинами, перевернутыми на другую сторону (посадка на оленя верхом в наблюдавшихся нами случаях осуществлялась справа, а не слева, как в нарты). Кастрируют оленей зубами («откусит, потом маленько мять будет. Летом не делали, жарко»).

Выявляются следующие характерные особенности второй формы оленеводческого хозяйства северных селькупов: оленей содержали на круглосуточной пастбище без вольного выпаса, пастушеские собаки не использовались; строили большие срубные сараи с дымокурами; кастрировали оленей зубами; важенков доили. Иногда оленей забивали на мясо, но главным образом использовали их в качестве вьючно-транспортного средства.

Таким образом, перед нами две самостоятельные формы ведения оленеводческого хозяйства, при этом одна из них (вьючное оленеводство) почти исчезла, а вторая (упряжное оленеводство) была заимствована тазовско-туруханскими селькупам у своих северных соседей — ненцев.

Оленеводство нарымских селькупов. В фольклоре и погребальном обряде нарымских селькупов отражены некоторые черты оленеводческо-

ванных палочек; нижняя половина сумы обшита *камусом* (шкурой с ног оленя), а верхняя — *ровдугой* (выделанной оленьей шкурой — замшей). Сверху пришита полоса черной материи, стянутая шнурком. Сума украшена вышивкой. Называют ее селькупы так же, как и седло, — *паксат*.

Селькупское верховое седло не имеет ни подгрудного, ни подхвостного ремней, ни стремени. Ленчик седла состоит из двух полок (*тонде-по*), изготовленных из ели и соединенных с луками (*поксан-тангит*) гвоздями. Луки низкие, сделанные из двух специально подобранных

¹³ См. «Историко-этнографический атлас Сибири», М.—Л., 1961, стр. 22—23, табл. 6, 1, 2; табл. 8, 1.

¹⁴ Аналогичные недоуздки встречаются у эвенков (см. Там же, стр. 41).

го быта. Так, в селькупских сказках из брошенной на болото шерсти вырастают стада оленей. Рассказы о военном поражении заканчиваются словами: «Только оленья шерсть на реке осталась. Людей всех перебили и утонули люди». Селькупские шаманы, рассердившись на людей, «убивают» у них «табуны оленей с помощью невидимого духа». Считается, что шаман может перенести с человека болезнь или даже смерть «на оленя или другую домашнюю скотину», и т. д. По старинному погребальному ритуалу, селькупы душили над могилами двух или четырех оленей. Их прислоняли в полусидячей позе к деревьям (по два у каждого) головами в ту же сторону, что и покойный. В несколько видоизмененной форме этот обряд до сих пор сохраняется у северных селькупов. Оленеводство упоминается также во многих бытовых рассказах. Кроме того, отдельные свидетельства о нем можно найти в литературе XIX в.¹⁵ Все это позволяет предполагать знакомство селькупов с домашним оленем. Кроме того, наличие у селькупов оленеводства еще в первые десятилетия XX в. подтверждается и архивными документами.

В 20-е годы в Нарыме работали различные комиссии, отчеты которых содержат любопытные детали по интересующему нас вопросу. Так, в материалах по обследованию р. Тыма сообщается, что «в юрте Кочевро остяк Карлыгин (ему сейчас 93 года.— И. Г. и Г. П.) имел до восьмидесяти штук оленей. Но это было еще до семнадцатого года»¹⁶. В «Протоколе междуведомственного совещания при Томском комитете Севера» сказано: «Переписью 1910—1911 гг. оленеводство и оленеводы не учтены в Нарымском крае. Между тем по экспертным данным лиц, знающих край и работающих на местах, можно заключить, что оленеводство в Нарымском крае имеется в ряде районов». Далее отмечается наличие оленеводства у тунгусов и остяков и принимается решение «признать первоочередной задачей проведение рекогносцировочного обследования оленеводов и оленеводства... тунгусов и остяков в районе рек Кети, Тыма и Пайдуги»¹⁷. Следовательно, до революции небольшие группы селькупов в глухих районах края продолжали заниматься оленеводством. В силу своей малочисленности и кочевого образа жизни они не были зафиксированы переписями конца XIX — начала XX в. Судя по всему, уже в то время оленеводство было исчезающей формой хозяйственной деятельности. В XX в. оно вообще перестало существовать.

Для нас представляет интерес выяснение характера традиционной формы ведения оленеводческого хозяйства.

Обратимся к оленеводческой терминологии. Для удобства оленеводческие термины нами сведены в таблицу, составленную по данным вышеупомянутой картотеки А. П. Дульзона, селькупским словарям (М. А. Кастрена и И. Ердели) и материалам этнографических экспедиций Томского университета.

Исследователи разных лет отметили в лексиконе селькупов слова, означающие как различные категории оленей (дикий, ездовой, кастри-

¹⁵ М. А. Кастрен записал у остяков-самоедов Нарыма разработанную оленеводческую терминологию (см. М. А. Castren, Samojedische Wörterverzeichnisse, St.-Pet., 1855). Отмеченный М. А. Кастреном селькупский термин *ин* в значении «олень» делает понятным сообщение А. Ф. Плотникова о том, что название остяцких юрт *Инкино* происходит от слова *Ин-ка* (оленья река), см. А. Ф. Плотников, Нарымский край, СПб., 1901, стр. 205. Н. Костров в статье «Нарымские остяки» пишет: «Между аборигенами-инородцами много настоящих кочевников, живущих в чумах, бродящих со стадами оленей» («Томские губернские ведомости», 1867, № 40). И. В. Завалишин отмечает, что остякам в Нарыме по рекам Васюгану и Оби «в пределах губернии гораздо привольнее жить, нежели их сородичам на Крайнем Севере. У них кроме оленей есть и рогатый скот» (И. В. Завалишин, Описание Западной Сибири, т. II — Томская губерния, М., 1865, стр. 28).

¹⁶ Томский областной партийный архив, ф. 206, оп. 1, д. 380, л. 67.

¹⁷ Томский областной государственный архив, ф. 470, оп. 1, д. 3, л. 26—27.

Селькупская оленеводческая терминология*

Южные (нарымские) селькупы	Северные (тазовско-туруханские) селькупы	Значение термина
ate (E-99)	ātā (E-24)	олень
yn (E-106)	—	»
Nun-ate (C-140)	—	дикий олень
сувай-аде; сум-аде	чекты (Э-1970)	важенка
(K-XXVII, 44)	čēkti (E-236)	»
aem (K-XXVI, 447)	toṇnak (E-275)	теленек
attare (K-VII, 15)	торне (Э-1970)	»
korai-āti (C-119)	qorī (E-78)	самец, некастрированный олень
kopai-age (K-XXVII, 44)	—	»
kopte-hyṛ (C-120)	qopti (E-78)	кастрированный олень
—	хоптэ (Э-1970)	»
tagit (E-145)	—	»
апальджин (Э-69)	козыл-эта (Э-1970)	священный олень
—	отте нима (Э-1970)	оленье молоко
—	pīma (E-154)	»
аккаль (Э-69)	аккаль-олы (Э-1970)	недоуздок
—	путылиль-лэ (Э-1970)	нащечные пластины
—	хоткуль-лэ (Э-1970)	налобные пластины
—	хоткуль-тымет (Э-1970)	ремень, связ. налобные пластины
—	тетель-тымет (Э-1970)	подшейный ремень
—	тотанель-кула (Э-1970)	затылочный ремень
—	куль (Э-1970)	палочка, соединяющая ремни
kū, со (C-127)	kū, cū (E-242)	гояс
—	ku (E-108)	упряжь
—	kūḡol ak (C-122)	запрягать
—	sāṛigo, sari (E-202)	»
—	ātā sārimpa (E-202)	запряженный олень
u:ūp (C-110)	—	ремень
адет юна (Э-69)	юнэ (Э-1970)	потяг, повод
—	нондель-тымет (Э-1970)	пояс
—	поллак (Э-1970)	блок
—	холсы (Э-1970)	воздержатель
—	козель-тымет (Э-1970)	цепь
чуре, тюр (Э-61)	няре-по (Э-1970)	хорей
тюре (Э-70)	пача-по (Э-1970)	»
паксан (K-VIII, 611)	паксат (Э-1970)	седло
коптрозугу (K-VII, 71)	—	кастрировать
коптангу (K-IV, 435)	—	»
квен понгу (K-XXII, 576)	ота ихать (Э-1970)	ехать верхом
éčau (C-102)	āttiqo (E-25)	пасти, стеречь
atauan (C-99)	ātātānzān (C-99)	ловить оленя
ealdot (C-104)	сезколо (Э-1970)	метить оленя
—	ānilti (E-22)	»
—	qugli (E-57)	оленья нарта
—	qaglittigo (E-57)	ездить на нарте
—	keri (E-90)	аргиш
—	kērīnirgo (E-90)	кочевать
čuni (C-138)	čunar (E-241)	хлев, сарай
aran (C-98)	пуруль-коле (Э-1970)	загон
—	соргой (Э-1970)	сарай
—	up (E-284)	пастбище
—	upil (E-284)	свободный, незапряженный

* Таблица составлена по данным работ: M. A. Castren, Samojedsche Worterverzeichnisse, St.-Pet., 1855; I. Erdelyi, Selkupisches Wortverzeichnis, Budapest, 1969; «Картотека топонимов Западной Сибири» (см. примеч. 5). Используются также материалы этнографических экспедиций Томского госуниверситета.

В таблице приняты следующие условные обозначения: C — Castren, E — Erdelyi, K — «Картотека...», Э — материалы этнографических экспедиций.

рованный, хор, важенька, теленок и т. д.), так и связанные с оленеводством постройкой и различным инвентарь, а также термины, отражающие действия по уходу за оленями. Судя по языковым данным, селькупы пасли оленей, строили для них сарай, кастрировали, метили. Они пользовались недоуздом, поводом и седлом. Характерно, что ни М. А. Кастрен, ни томские лингвисты не смогли записать у нарымских селькупов термины, отражающие упряжное оленеводство. В селькупской лексике не зафиксированы слова для обозначения оленьих нарт, упряжи и действий, связанных с ездой на оленях. В то же время термины такого рода хорошо известны селькупам северной группы. В быту нарымских селькупов они появились лишь в период кратковременного возрождения оленеводства в 1940—1950 гг. и были зафиксированы нами в 1969 г. Но эти термины заимствованы либо из русского языка (*адет-выишиа* — оленья вожжа), либо из терминологии, связанной с ручной нарттой и ее инвентарем (*канжа* — ручная нарта, *юнэ* — потяг, *чу* или *ку* — лямка).

О распространении в прошлом оленеводства в Нарыме есть ряд устных свидетельств. Селькупы обычно говорят, что оленей держали их отцы и деды. Рассказы такого рода записаны как у селькупов, так и у русских старожилов, которым также приходилось встречаться с «остяками-олeneводами». Например, С. Е. Пшеничникова из поселка Кольджи рассказывает, что в тайге жили «остяки с оленями». Они «на оленях работают, доят их. Они не в избах живут, а в каких-то кожей обтянутых чумах. Огонь разложат, мясо в золу прямо кладут, хлеб в золе пекут». По словам селькупки В. Т. Мулиной, «олений разводили на мясо и чтобы на охоту ездить». А. В. Портнягин говорит: «С оленями кочевали и зимой и летом. Зимой на оленях ездили в тайгу охотиться». По рассказам большей части информаторов, «селькупы нартами на оленях раньше не ездили».

С оленями кочевали «по борам», так как они питались в основном «белым мхом». На Тыму, например, с оленьими стадами «ходили» в районе юрт¹⁸ Кулеевых, Ванжель-кынак, Кыгель-карамо, Компас, Кочевых. На них ездили на охоту и рыбалку и перевозили выюки с имуществом. Летом строили оленьи сараи (*чуни*) и загоны (*аран*), ставили дымокуры с загородками, чтобы олени «сильно на дым не лезли».

Судя по устным свидетельствам, нарымским селькупам было известно вьючно-транспортное оленеводство с доением, кастрацией и устройством сараев с дымокурами (пастушеская собака никем не упоминается). Таким образом, устные сообщения совпадают с данными оленеводческой терминологии.

Нам известны также некоторые предметы селькупского оленеводческого инвентаря. В Колпашевском краеведческом музее хранится вьючное оленьё седло¹⁹. Оно состоит из двух деревянных полок (длина 50 см, ширина 12 см, толщина 2,5—3 см) с утолщениями на верхней стороне в местах прикрепления лук. Высота лук — 14,5 см. Они прикреплены к полкам с помощью ремешков, продетых в просверленные отверстия. Седло не имеет обшивки. По форме оно напоминает вьючное оленьё седло саянского типа²⁰.

Нам известны также селькупские вьючные сумы. Такая сума была найдена во время экспедиции 1963 г. на р. Кеть, в юртах Зубрековых на чердаке заброшенного селькупского дома. Это мягкая сума из оленьей шкуры (мехом вверх) на широком кожаном ремне с завязками.

И седло и сума характерны для вьючно-транспортного оленеводства. Но нарымские селькупы знали и сложный недоуздок с костяными пластинами из оленьей или мамонтовой кости. В Колпашевском краеведче-

¹⁸ Слово «юрта» употребляется в значении «поселок».

¹⁹ Колпашевский краеведческий музей, инв. номер 593.

²⁰ «Историко-этнографический атлас Сибири», табл. V, 3. стр. 47.

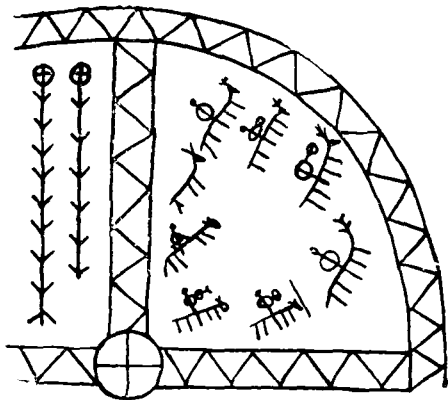


Рис. 8. Фрагмент изображений на шаманском бубне; прорисовка (Музей археологии и этнографии Сибири Томского университета, инв. номер 2647)

ском музее имеется, согласно инвентарной книге, «вожжа оленья акель»²¹, которая была приобретена в заготпункте Верхне-кетского сельсовета. Это сложный недоуздок с двумя пластинами из оленьих костей, одна из которых загнута под прямым углом. В каждой пластине просверлены по два отверстия. Недоуздок из Колпашевского музея идентичен описанному выше недоуздку (*аккаль*) северных селькупов. Вместе с ним под тем же инвентарным номером хранится еще одна изогнутая пластинка от второго недоуздка. Отличительной особенностью последней является насеченный с обеих сторон крестообразный орнамент.

Детали оленьих недоуздков хранятся также в Музее археологии и этнографии Сибири Томского университета. Они получены «у остяков» в XIX в.²². Это четыре пластины из мамонтовой кости. Две из них — заготовки, а две — законченные пластины сложного оленьего недоуздка, рассчитанного на крупного оленя. Все четыре пластины очень массивны (длина 14 см, ширина 6 см, толщина 1 см). По форме они напоминают нащечные пластины оленьих недоуздков у северных селькупов. В пластинах просверлено по три отверстия. Как известно, сложный недоуздок с костяными пластинами «применяется только в нартяной упряжке»²³. Поэтому наличие его у нарымских селькупов не вполне согласуется с традиционными представлениями о выючно-транспортном оленеводстве.

В Музее археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета имеется шаманский бубен с изображением всадников на оленях²⁴. Этот бубен записан в инвентарной книге вместе с вещами, взятыми «у остяков» из села Тымского. По форме он напоминает бубен из Минусинской котловины, но такие же бубны имелись у селькупов Тыма и Оби. Один из них, полностью совпадающий по форме с бубном, хранящимся в университетском музее, принадлежал известному шаману Тыма Елисею Карлыгину, и после смерти последнего был передан в Колпашевский краеведческий музей. Интересующие нас рисунки на бубне представляют собой сложную композицию из фигур белых и черных всадников, вооруженных луками и стрелами. Белые всадники едут впереди. За ними снизу поднимаются черные всадники. Всего можно различить 19 белых и 19 черных всадников. В данном случае особый интерес представляет следующая деталь: все белые всадники изображены верхом на оленях, а все черные — на лошадях. Несмотря на стилизацию изображений, эти отличия видны совершенно четко. У оленей отчетливо изображены рога, длинные шеи, очень короткие хвосты и какая-то особая настороженность. У лошадей видны уши, длинные хвосты, опущенные вниз головы, уздечки. Рисунки на шаманском бубне как будто свидетельствуют о наличии у нарымских селькупов верхового оленеводства, но это свидетельство единично. Не совсем ясно и происхождение бубна.

²¹ Колпашевский краеведческий музей, инв. номер 1082.

²² Музей археологии и этнографии Сибири Томского госуниверситета, инв. номер 2784.

²³ «Историко-этнографический атлас Сибири», стр. 22.

²⁴ Музей археологии и этнографии Сибири Томского госуниверситета, инв. номер 2647.

Оставляя пока открытым вопрос о верховой езде, мы определяем селькупское оленеводство в Нарыме по характеру использования оленей как выючно-транспортное. Для него были характерны круглогодичная пастьба без пастушеской собаки, устройство загонов и сараев с дымокурами, доение, кастрация. Оленеводы пользовались мягкими выючными сумами, а также выючным седлом и сложным недоуздом саянского типа. Мы не можем пока выяснить время и причины появления сложного недоуздка при выючно-транспортном оленеводстве, но наличие его — специфическая особенность оленеводства как южных, так и северных селькупов. По всем остальным признакам оленеводство нарымских селькупов относится к выючно-транспортному оленеводству саянского типа.

* * *

Таким образом, и нарымским и тазовско-туруханским селькупам были известны в прошлом сходные формы таежного выючного оленеводства саянского типа. Приведенная таблица оленеводческой терминологии показывает, что селькупы сохранили сходные термины для обозначения явлений, связанных с выючным оленеводством. Кроме того, олень в погребальном ритуале и мифологии северных и южных селькупов играет сходную роль. В то же время ни верховое седло, ни термины, связанные с упряжным оленеводством, не имеют южных параллелей.

Общая картина развития селькупского оленеводства представляется нам в следующем виде: предки современных селькупов были знакомы с выючно-транспортным оленеводством саянского типа. Возможно, они принесли его в Нарым из более южных мест. При этом им было, видимо, известно выючное седло, но неизвестно верховое (к такому же выводу относительно предков современных самодийских народов приходит С. И. Вайнштейн)²⁵. В Нарыме в результате приспособления селькупов к изменившимся экологическим условиям вырабатывались свои формы оленеводческой традиции, которая до настоящего времени проявляется в быту как южной, так и северной группы селькупов. Переселившись в XVII в. в бассейны рек Таза и Турухана, селькупы сохранили традиции выючно-транспортного оленеводства и заимствовали верховое седло у соседних народов. Позже северные селькупы заимствовали у ненцев упряжное оленеводство. В Нарыме упряжное оленеводство в середине XX в. тоже начинало развиваться, но вскоре оно исчезло. Вопрос о наличии у селькупов собственных традиций верхового оленеводства и о некоторых деталях ведения оленеводческого хозяйства, еще окончательно не выяснен. Это задача дальнейших исследований.

²⁵ С. И. Вайнштейн, Проблема происхождения оленеводства в Евразии стр. 14.

Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин

**ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РУССКОГО
СЕЛЬСКОГО ЖИЛИЩА
В ЧУВАШСКОЙ И ТАТАРСКОЙ АССР**

Одной из характерных особенностей русского сельского жилища в Среднем Поволжье с давних пор являлось украшение его наружной части. Слуховые окна, причелины, карнизы, наличники окон, а иногда и весь фасад дома украшались резьбой или раскрашивались.

Разнообразие видов украшений, орнаментальных мотивов и техники их исполнения свидетельствуют о художественном вкусе и таланте русского народа, отражают социально-экономические условия, характер природно-географической среды и историю формирования населения.

В течение ряда лет авторы статьи изучали декор домов в различных районах Татарской и Чувашской АССР. С 1969 г. было обследовано две тысячи домов. При сборе полевых материалов применялась специальная анкета, с помощью которой были получены данные о типах украшений в современном сельском жилище, их размещении. В анкетах фиксировалось также время постройки дома, наличие раскраски, применяемые цвета.

Наиболее древней из существующих видов резных домовых украшений является выемчатая резьба (трехгранная, ногтевидная и желобочная). Она наносилась на красную доску, ставни окон, воротные столбы и т. д. Наиболее характерны для этого вида украшений прямолинейные и круговые геометрические орнаменты, состоящие из радиальных лучей, ногтевидных или круглых выемок и т. п. По своему характеру резьба напоминает старинную резьбу на вещах, бытовавших в верхневолжских областях, а также резные украшения на многих предметах домашней утвари, распространенных на севере Европейской части СССР.

Сейчас такая резьба встречается преимущественно в районах Татарии, расположенных по правому берегу Волги, и в пограничных с ними районах Чувашской АССР. Она отмечена нами на 20% всех обследованных домов, построенных в конце XIX — начале XX в. На домах, построенных позднее, этот вид резьбы не встречается.

Значительно шире распространена в Чувашской и Татарской республиках барельефная резьба, называемая здесь «глухой». Она появилась в первой половине XIX в., когда старинные волжские расшивы, баржи и мокшаны, украшенные богатой резьбой, начали вытесняться паровыми судами. Освободившиеся от основного своего занятия корабельные резчики стали работать по деревням, перенося на жилые дома орнаментальные мотивы, характерные для волжских непаровых судов. Для изготовления «глухих» (долотных) украшений брались толстые сосновые или дубовые доски. На них наносился рисунок, по которому долотами различной величины выдалбливался намеченный узор. Глубина резных украшений иногда доходила до 5—6 см. Жилые дома, украшенные барельефной резьбой, раньше всего, естественно, появились в селениях, расположенных по берегам Волги и Суры.

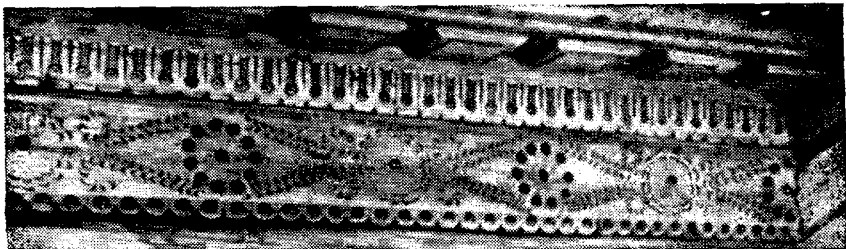


Рис. 1. Выемчатая резьба (с. Красная Поляна Татарской АССР). Это и остальные фото сделаны авторами

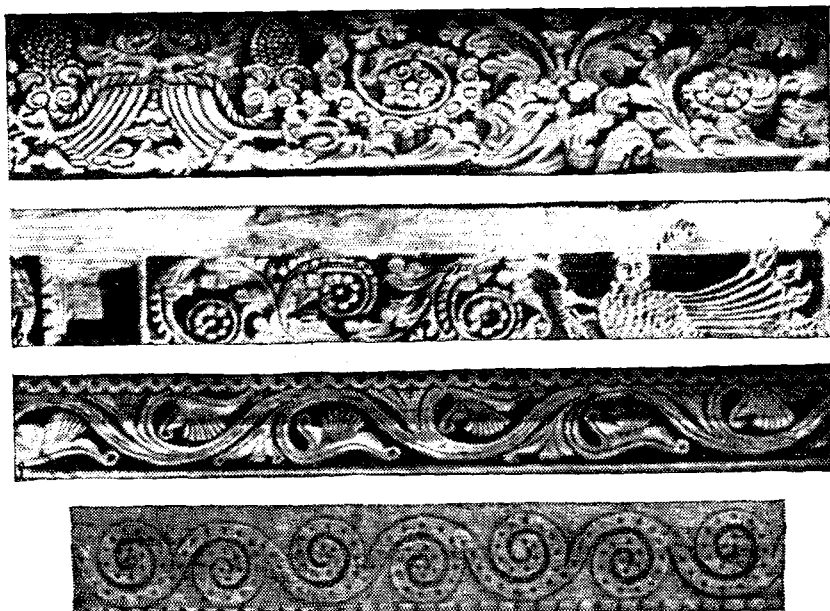


Рис. 2. Орнамент барельефной резьбы: 1, 2 — из сел Сурский Майдан и Ичикса Чувашской АССР; 3, 4 — из сел Подберезье и Лебяжье Татарской АССР

Для барельефной резьбы в Татарской и Чувашской АССР наиболее характерен растительный орнамент, состоящий из сложных переплетений гирлянд, листьев и завитков с изображением различных цветов и плодов. Реже встречается растительный орнамент с зооморфными и антропоморфными элементами. В целом барельефная резьба на домах в рассматриваемых районах близка по характеру орнамента резьбе, бытующей в Горьковской и других верхневолжских областях. Однако в орнаменте резных украшений русского сельского жилища Татарии и Чувашии имеется ряд своеобразных особенностей. Одной из них является меньшая плотность рисунка на поверхности доски и широкое распространение узоров с изображением растений степной флоры. В отдельных случаях резные орнаменты по характеру композиции были близки к орнаменту тамбурной вышивки казанских татар.

Довольно часто среди барельефных украшений встречается «веревочный» орнамент, в котором отдельные элементы рисунка (листья, плоды и т. д.) связаны в единое целое при помощи резной веревки. Резной орнамент, с одной стороны, характерен для архитектуры древней Руси,

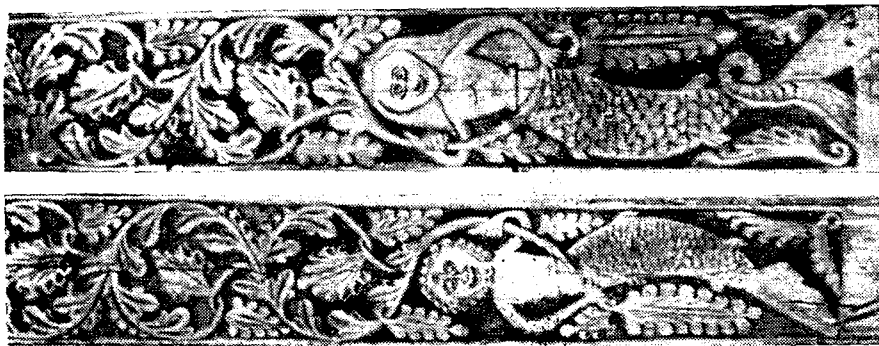


Рис. 3. Резные доски (глухая барельефная резьба), украшавшие торцы дома в с. Красновидово Татарской АССР

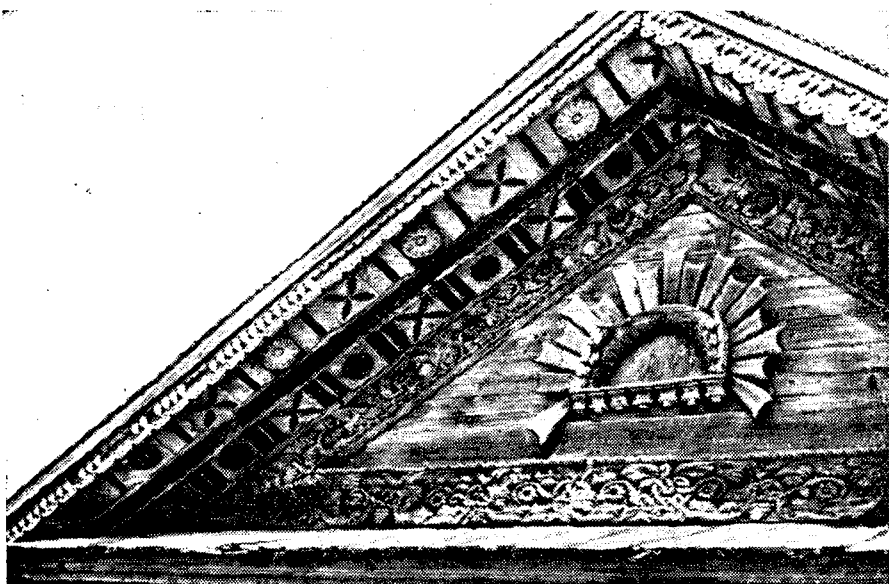


Рис. 4. Украшение фронтона барельефной резьбой (с. Малое Чурашево Чувашской АССР)

а с другой, является одним из элементов декоративного искусства восточных булгар. Сейчас барельефная резьба в Приволжских районах Татарии и Чувашском Присурье отмечена на 27,5% обследованных домов, построенных до 1930 г. Дома более поздней постройки украшаются резными досками, снятыми со старых домов. Таких домов, по нашим данным, не более 3%.

С конца XIX в. в Поволжье появляются пропиленные украшения с детализированным рисунком, являющиеся как бы переходным видом от барельефной резьбы к плоской пропиловке. При изготовлении этого типа украшений узор выпиливали по наружному контуру, а затем уже на полученной основе производилась дополнительная резьба, уточнявшая детали рисунка. Готовый узор чаще всего нашивался на доску, в результате чего создавалось впечатление барельефной резьбы. Орнамент этого типа украшений преимущественно растительный. Кроме того, встречаются сильно стилизованные изображения животных, мифических существ и человека. В целом композиция пропиленных украшений с детализированным рисунком менее сложна, чем барельефная. Этот вид украшений встречается главным образом на до-

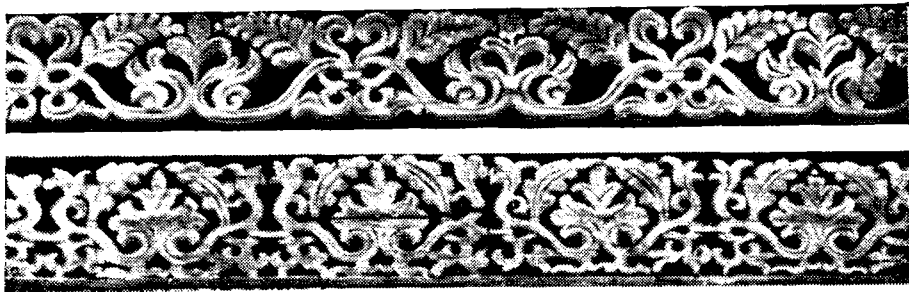


Рис. 5. Пропильная резьба с детализированным рисунком: 1 — фрагмент орнамента из с. Красновидово Татарской АССР; 2 — деталь орнамента из с. Кувакино Чувашской АССР

мах постройки конца XIX — начала XX в. В Присурских районах Чувашии, например, 12,2% домов, построенных в этот период, украшены пропильной резьбой с детализированным рисунком. На домах, построенных за годы Советской власти, данный вид украшений составляет всего лишь 1%.

В конце XIX в. многие дома стали украшать так называемой плоской пропиловкой, когда украшением служит выпиленный из доски силуэт рисунка, прикрепленный с помощью специальной доски или без нее на стену дома. Часто встречались украшения, набранные из отдельных выпиленных деталей (завитков, треугольников, розеток и т. п.), которые нашивались на карниз дома, ворота и воротные столбы, наличники и т. д. Подобные виды украшений отнесены нами к типу пропильной накладной резьбы. При орнаментации наличников и некоторых других деталей фасада пропильные украшения часто оставались сквозными. Плоская пропиловка (сквозная и накладная) — наиболее распространенный вид украшений в настоящее время. В Чувашии, например, дома, построенные после 1960 г., на 80—100% украшены пропильной резьбой.

Орнаменты плоской пропильной резьбы очень разнообразны. Наиболее характерны растительный и геометрический орнаменты. Встречаются очень стилизованные изображения животных, людей, мифических существ. Стилизация иногда бывает настолько сильной, что рисунок почти теряет сходство с оригиналом. Многие рисунки пропильных украшений в виде стеблей растений, тюльпанов напоминают национальные орнаменты народов Поволжья. Одной из причин распространения у русских национальных орнаментов соседних народов является то, что резчиками, украшающими дома в русских селах и деревнях, часто были татары и чуваше.

На многих домах, построенных в послевоенные годы, в традиционный орнамент пропильной резьбы включаются мотивы современной тематики: пятиконечные звезды, серп и молот, космические ракеты, эмблемы родов войск и т. д.

Отмечены на рассматриваемой территории и точеные украшения, набираемые из выточенных на токарном станке различных деталей — кронштейнов, шаров, колонок и пр. Этот вид украшений встречается реже долотных и пропильных. В Татарской АССР он отмечен на 1—2% обследованных домов. В Чувашии значительно чаще: на 32% домов, построенных до 1930 г., и на 9,2% домов, построенных после 1960 г.

Среди декоративных приемов внешнего оформления жилища значительное место занимает раскраска. Обычно раскрашиваются отдельные

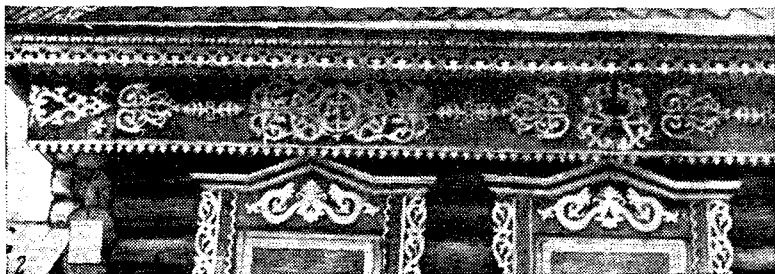


Рис. 6. Пропильная резьба (плоская пропиловка): 1 — фрагмент из села Подберезье Татарской АССР; 2 — деталь резьбы из с. Сюксеево Татарской АССР

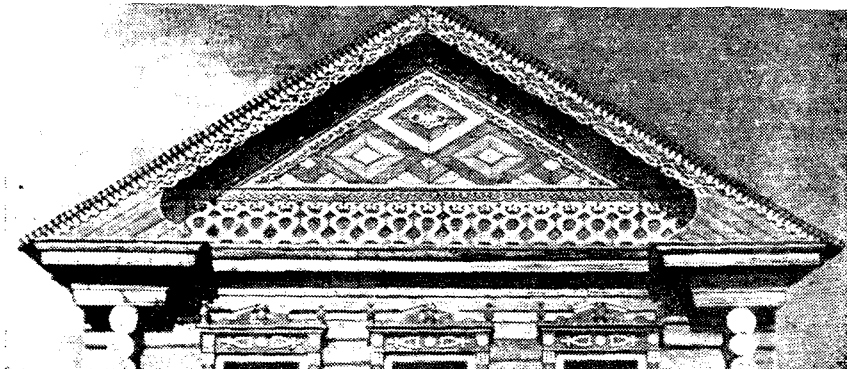
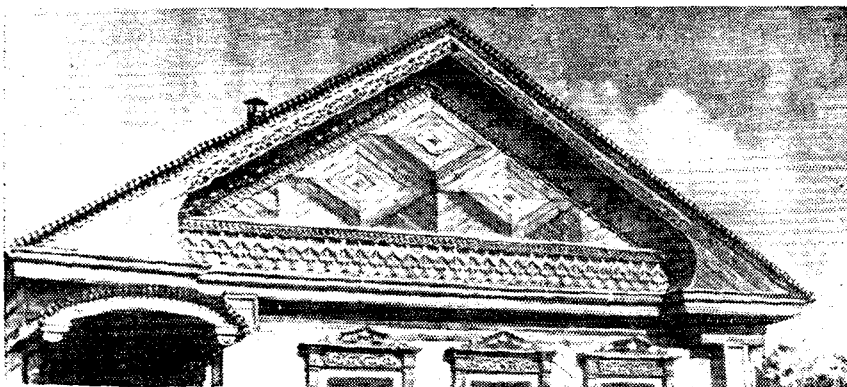


Рис. 7. Современное оформление фронтонов домов (с. Анастасово Чувашской АССР)

детали дома — наличники, ставни, карнизы, фронтоны. За последние годы значительно увеличилось количество полностью окрашенных домов. Так, среди домов, построенных до 1930 г., они составляли в Татарской АССР 2,2% и в Чувашской АССР 5,9%, а среди построенных после 1960 г. их доля возрастает до 20% в Чувашской АССР и до 23% в Татарии. Что касается домов с отдельными окрашенными деталями, то их процент в Татарии и Чувашии составляет соответственно 75 и 96.

При окраске дома обычно используют два — четыре цвета. Благодаря деталям, окрашенным в разные цвета, и мозаичной обшивке дома создается определенный декоративный стиль. В некоторых районах Татарской АССР (около Казани и по правому берегу Волги), а также на юго-востоке Чувашии встречается так называемая полихромная раскраска наружной части дома, характеризующаяся яркостью и разнообразием красок. Как известно, полихромная раскраска изделий характерна для татар и чувашей и является древней традицией, унаследованной этими народами от своих булгарских предков. Не случайно у русских Среднего Поволжья этот вид раскраски встречается лишь в тех районах, где они живут совместно или по соседству с татарами и чувашами.

Встречаются на рассматриваемой территории украшения из прорезного узорчатого железа. В прошлом этот вид украшений применялся лишь богатой сельской верхушкой в крупных торговых селах и городах. В настоящее время ажурные украшения из железа в Татарии встречаются на 10% обследованных домов, построенных после 1930 г., а в Чувашии — на 30—50%.

Искусство украшать наружную часть дома — подлинно народное творчество. В этнографических работах 50-х годов высказывалось сожаление по поводу обеднения декора сельских жилищ вследствие исчезновения специалистов-резчиков. Сейчас мы видим возрождение традиций украшения домов. Деревянной резьбой украшаются даже типовые дома, поставляемые в сельскую местность домостроительной промышленностью; лепными украшениями, изготовленными из цемента и алебаstra, — кирпичные и шлакобетонные дома. При этом сохраняются народные традиции в размещении украшений и характере орнамента.

На основании анкетных данных нами составлены графики, показывающие степень распространения тех или иных украшений и тенденцию их развития. Все большее распространение получает плоская пропиленная (накладная и сквозная) резьба, мозаичная обшивка и раскраска дома, а в Чувашии и прорезное узорчатое железо.

Однако украшения на домах теперь сосредотачиваются, как видно из приведенных таблиц, преимущественно на наличниках окон, полей фронтона, причелинах. Карнизы же, обильно украшавшиеся в прошлом, в большинстве случаев остаются свободными (см. табл. 1).

На отдельных домах встречаются сочетания шести-семи видов отделки, но наиболее часто повторяются сочетания двух-четырех видов. Наи-

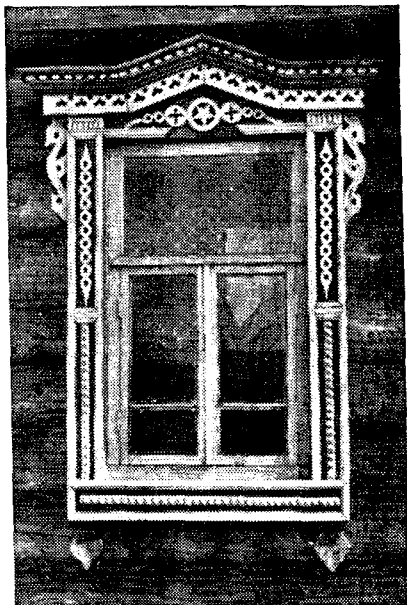


Рис. 8. Оконный резной наличник с современными мотивами (с. Калинин Татарской АССР)

Распространение видов декоративного оформления жилища

Время постройки дома	Доля среди обследованных домов, %	Виды украшений							
		резьба					точечные	мозаичная обшивка	летные
		выемчатая	глухая барельефная	пропильная с детализировкой	плоская пропильная накладная	плоская пропильная сквозная			
До 1930	17,6	1,9	27,5	12,2	28,9	38,4	32,0	39,7	—
1931—1960	47,2	—	2,9	0,9	94,3	20,9	14,7	26,0	—
После 1960	35,2	—	2,3	0,7	100	52,1	9,2	44,2	—

Присурье ЧАССР

До 1930	17,6	1,9	27,5	12,2	28,9	38,4	32,0	39,7	—
1931—1960	47,2	—	2,9	0,9	94,3	20,9	14,7	26,0	—
После 1960	35,2	—	2,3	0,7	100	52,1	9,2	44,2	—

Приволжье ТАССР

До 1930	18,8	20,7	27,6	11,0	64,1	36,6	1,1	—	—
1931—1960	42,6	0,7	1,6	—	92,5	63,0	1,2	—	0,2
После 1960	38,8	1,0	1,0	—	95,7	74,6	1,8	—	0,3

большее количество сочетаний различных украшений присуще домам, построенным до 1930 г. (см. табл. 2). Это объясняется тем, что на них, кроме современных украшений, имеются и такие, которые теперь уже не делают (долотная, накладная с детализировкой резьба и др.).

На рассматриваемой территории в настоящее время сложился определенный комплекс декора жилых домов (плоская пропилка, мозаичная обшивка и раскраска), часто дополняемый прорезным железом и

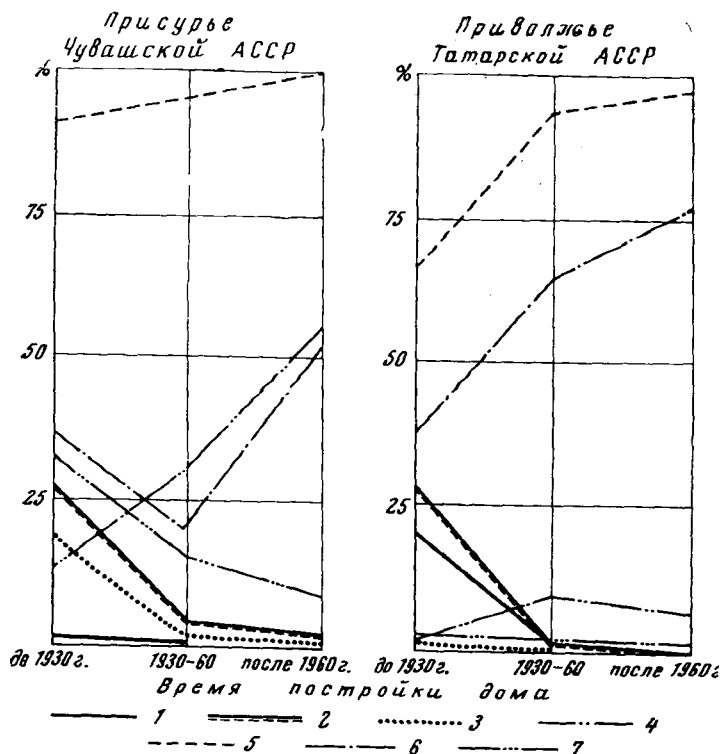


Рис. 9. Распространение видов декоративного оформления жилища: 1 — ногтевидная выемчатая резьба; 2 — барельефная резьба; 3 — пропильная с детализировкой; 4 — просечное железо; 5 — пропильная накладная; 6 — пропильная сквозная; 7 — точечные украшения

Размещение украшений

Время постройки дома	Доля среди обследованных домов, %	Места размещения украшений									
		наличники	ставни	фризовая доска	карниз	причелины	слуховое окно	поле фронтона	торцы сруба	ворота	крыльцо
Присурье ЧАССР											
До 1930	17,6	88,9	1,0	1,0	40,7	40,0	4,5	47,9	27,1	2,5	35,9
1931—1960	47,2	97,0			16,2	35,1	0,5	51,1	33,5	3,6	46,4
После 1960	35,1	97,0			9,9	61,8	3,0	78,8	37,2	5,5	58,4

Приволжье ТАССР

До 1930	18,8	91,0	1,0	—	42,7	28,1	19,5	2,5	2,6	2,1	2,1
1931—1960	42,6	93,8	—	—	44,2	42,9	30,3	1,0	4,9	7,1	2,6
После 1960	38,6	95,2	—	—	34,5	57,5	40,4	10,1	2,1	5,8	4,9

точеными украшениями. Если в послевоенные годы отмечалось уменьшение резных украшений на сельском жилище, то в настоящее время на основании статистических данных мы можем говорить об интенсивном возрождении традиций украшения домов.

Е. В. Ревуненкова

О ЛИЧНОСТИ ШАМАНА

С тех пор как появились сведения о шаманизме, темы «шаманизм» и «личность шамана» неизменно сопутствуют друг другу. С течением времени менялись ракурсы исследования по шаманизму, наряду с чисто описательными работами вышло немало трудов, где шаманизм анализируется с точки зрения его истории, философии или социологии религии в целом, но по-прежнему ученые всех стран и направлений, как и сто лет назад, решают вопрос, кто же такой шаман; больной или здоровый, эпилептик, истерик или обманщик? Какого бы метода ни придерживался тот или иной исследователь шаманизма, вопрос о психическом складе, психофизиологических особенностях шамана так или иначе обсуждается им, а иногда находится в центре внимания. Можно сказать, что вопрос о личности шамана стал типичным «общим местом» научных сочинений по шаманизму, превратился в постоянный и устойчивый мотив, преодолевающий этнические, языковые и географические границы. В целом эта «сквозная» тема, касающаяся изучения шаманизма любого народа, может быть обозначена как «шаманизм и психопатология» (так ее называет крупный современный религиовед М. Элиад¹) или «шаман и масса», как предлагает ее называть исследователь шаманизма Северной Америки Марсель Бутейе².

С точки зрения здравого смысла трудно объяснить столь длительное увлечение этой проблемой, которая к тому же не может иметь решающего значения для изучения всех многообразных явлений, связанных с шаманизмом. Казалось бы, это чисто медицинский вопрос и самое простое — предоставить слово врачам и навсегда изъять его из поля зрения этнографов. Но почему же тогда не иссякает интерес к проблеме личности шамана именно среди этнографов, — а сейчас и не только среди этнографов — к ним присоединились культорологи, религиоведы и психологи. Их уже не удовлетворяют эмпирические наблюдения и исследовательский импрессионизм ученых первой половины XX в.; они обращаются к более надежному и верному критерию — эксперименту.

Проблема психофизиологической организации шаманов продолжает возбуждать интерес у самых разных специалистов прежде всего потому, что она связана с общим подходом к изучению культуры. Это по существу всего лишь одна грань более широкой проблемы, касающейся общественного сознания в целом, а именно проблемы качественного различия между психическими типами в разных культурах и на разных уровнях культурного развития. Развитие общественного сознания в этом аспекте, как убедительно показал С. А. Токарев, всегда интересовало ученых, с момента зарождения этнографии до создания современной этнопсихологической школы и школы культурного релятивизма³. Каждый раз эта

¹ M. Eliade, *Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase*, Paris, 1951, p. 35.

² M. Bouteiller, *Chamanisme et guérison magique*, Paris, 1950, p. 36.

³ С. А. Токарев, Проблема общественного сознания доклассовой эпохи, в кн. «Охотники, собиратели, рыболовы», Л., 1972, стр. 236—246.

проблема ставится вновь, на новом уровне, применительно к новым условиям. Поэтому сейчас в связи с современным подходом к изучению культуры вопрос о личности шамана решается в комплексе разных наук — этнографии, психологии, медицины — в широком плане взаимодействия культуры и личности, иначе говоря, с точки зрения этнопсихологии.

И все-таки вопрос о психическом складе шамана не стоил бы столь пристального внимания, если бы в нем, совершенно незаслуженно, не сфокусировались центральные, ключевые проблемы шаманизма и даже религии. Оказалось, что от его решения во многом зависит подход к изучению шаманизма, определение понятия «шаманизм», анализ соотношения шаманизма и религии. Выдающийся исследователь шаманизма В. Г. Богораз раскрывал содержание понятия «шаманизм», исходя из представления о шамане как о человеке с больной психикой: «Шаманство есть стадия религиозного развития, которая соответствует анимизму как стадия развития философского. Анимизм — это философия и вместе с тем теология шаманства. Шаманство, в свою очередь, как слитная первичная форма соединяет в себе первобытную науку, медицину и хирургию, музыку и поэзию, культ религиозный... Изучая шаманство, мы прежде всего наталкиваемся на целые категории мужчин и женщин, больных нервной возбудимостью, порою явно ненормальных или совсем сумасшедших... Во всяком случае при изучении шаманства нельзя забывать, что это форма религии, созданная подбором людей, наиболее нервно неустойчивых»⁴ (выделено мною.— Е. Р.). В больной психике находил предпосылки любой религии Д. К. Зеленин⁵. И к такому выводу нельзя не прийти, если быть последовательным сторонником точки зрения, что шаман — больной человек. Именно потому, что данный вопрос связан с кардинальными проблемами религии в целом, отнюдь не безразлично, как решается он тем или иным исследователем.

Стоит только обратиться к истории вопроса, и мы увидим, что за столетие мнение ученых о шамане, подобно маятнику, качнулось из одного крайнего положения в другое, и нет никакой уверенности, что маятник не будет продолжать колебаться. В первоначальный период изучения шаманизма на материале Северной и Центральной Сибири общепризнанным считался взгляд на шамана как на человека нервно или психически больного. «Шаманство есть психопатологическое явление,— писал К. М. Рычков,— оно связано с истерией, эпилептическими и резко выраженными нервными припадками. Шаманы — нервно-импульсивные люди, с крайне болезненной возбудимой нервной организацией, а таковая дается от рождения, передаваясь и усиливаясь наследственностью. Таким образом, в возникновении шаманства играют существенную роль факторы чисто психопатологические»⁶. Это высказывание может служить эпиграфом к любому исследованию по шаманизму Северо-Восточной Азии и Сибири. Русская этнографическая школа в этом отношении представляет собой удивительное единообразие. Из зарубежных исследователей ту же точку зрения разделяли М. Чаплицкая и особенно А. Ольмаркс, автор обобщающей работы по северосибирскому шаманизму, в которой он подробно рассмотрел все стороны шаманской деятельности в связи с особой болезнью — полярной истерией⁷. Нет необходимости перечислять всех, кто связывал возникновение шаманства с особенностями

⁴ В. Г. Богораз, К психологии шаманства у народов Северо-Восточной Азии, «Этнографическое обозрение», 1910, № 1—2, стр. 5—6.

⁵ Д. К. Зеленин, Культ ортонов в Сибири, Пережитки тотемизма в идеологии сибирских шаманов, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XIV, М.—Л., 1936, стр. 379.

⁶ К. М. Рычков, О религиозных воззрениях и шаманизме сибирских инородцев, «Записки Зап.-Сибирского отдела РГО», II, Омск, 1914, № 1/2, стр. 3.

⁷ Ake Ohlmarks. Studien zum Problem des Schamanismus, Kopenhagen, 1938.

ми психической организации шамана. Д. К. Зеленин писал в своей работе: «Что нервнoбольные в Сибири — шаманы, всем известно и в особых доказательствах не нуждается»⁸. Действительно, вывод этот казался настолько простым и очевидным, что принимался на веру, без доказательств.

В течение XX в. шаманизм, а также явления, типологически и функционально близкие к нему, были открыты в Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Теперь можно с полным правом говорить о существовании шаманского комплекса как универсального явления. И вместе с тем такую же универсальность приобрел и тезис о психической неуравновешенности шамана. Описывая шаманизм других регионов, например Индонезии, ученые механически переносили в свои работы посылку о нервнoбольном шамане, выдвинутую исследователями северосибирской зоны: здесь, как принято считать, существовала классическая модель шаманизма⁹. Но если в Северной Сибири действительно встречаются нервнoе заболевания, связанные с полярной истерией, то чем же тогда объяснить их, например, в Индонезии или Южной Америке? Это положение никак не аргументировалось, а воспринималось как сложившаяся готовая формула.

Первым, кто подверг сомнению это устоявшееся мнение, был С. М. Широкогоров. Он принадлежал к тому типу ученых, для которых «привычность, естественность» той или иной идеи еще не служили доказательством ее истинности. В своем монументальном этнопсихологическом исследовании, посвященном тунгусам, он глубоко раскрыл и проанализировал психологические условия формирования тунгусского шаманства и уделил большое внимание болезненным состояниям психики у тунгусов. Но это не мешало ему отметить физическое и психическое здоровье тунгусских шаманов, иначе «физическая немощь не позволила бы ему владеть собою по своему желанию, а нервное и психическое заболевание в решительный момент могло бы воспрепятствовать поддержанию экстаза и все камлание превратить в обыкновенный нервный припадок»¹⁰. Шаман, по мнению С. М. Широкогорова, должен уметь контролировать свои мысли и приводить себя в состояние экстаза, а также поддерживать и регулировать это состояние в течение того времени, какое требуется для камлания, учитывая при этом характер аудитории и цель камлания¹¹.

Уно Харва, исследовавший шаманизм сибиро-алтайской зоны, также, хотя и довольно осторожно, отходит от господствовавшей ранее точки зрения: «То, что болезненные состояния являются предпосылкой для шаманской профессии, еще не нашло удовлетворительного объяснения, но совершенно ясно, что сибирские шаманы, пользующиеся большим уважением, сохраняют его не только за счет душевной болезни»¹².

Вслед за первыми сомнениями появляются уже прямо противоположные мнения о шамане. Исследователь шаманизма у индейцев Северной Америки М. Бутейе категорически заявил, что шаман «ни по своему состоянию, ни по своему поведению в обыденной жизни не отделен от остальной массы людей непреодолимым барьером»¹³. С ним солидарны

⁸ Д. К. Зеленин, Указ. раб., стр. 363.

⁹ G. A. Wilken, *Het Schamanisme by de volken van de Indischen Archipel*, «Verspreide geschriften», s — Gravenhage, 1912, d. III, blz. 325, 375; E. M. Loeb, *Shaman and seer?* «American Anthropologist», 1929, vol. 31, p. 60—84; J. Guisnier, *Dances magiques de Kelantan*, Paris, 1936, p. 4.

¹⁰ С. М. Широкогоров, Опыт исследования основ шаманства у тунгусов, «Уч. зап. историко-филологического факультета», Владивосток, 1919, стр. 60—61.

¹¹ S. M. Shirokogoroff, *Psychomental complex of the Tungus*, London, 1935, p. 362.

¹² Uno Harva, *Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker*, «Folklore Fellows Communications», Bd. LII, № 125, Helsinki, 1938, S. 456.

¹³ M. Bouteiller, Указ. раб. стр. 36.

и другие исследователи шаманизма Северной Америки. Но это еще не означало, что отныне стала преобладать эта точка зрения. И сейчас еще можно проследить своеобразное равновесие: в общих работах по религии, шаманизму, духовной культуре в целом, как правило, высказывается традиционное мнение о личности шамана (исключение составляет книга М. Элиада о шаманизме), а в конкретных работах такой взгляд часто подвергается сомнению или оспаривается¹⁴. Этот вопрос усиленно дискутировался в 50-х годах, когда его коснулись ученые этнопсихологической школы, разрабатывающие проблемы шаманизма в широком контексте взаимодействия культуры и личности. И внутри одной этой школы сразу же обозначились крайности. Почти одновременно выходят два исследования этнопсихологов на одну тему и во многом сходные, но в них высказываются прямо противоположные взгляды на шамана¹⁵.

Характерны уже их заглавия: «Культура и психические расстройства» (автор Р. Линтон), «Культура и психическое здоровье» (редактор М. К. Оплер). В последнем проводится идея о том, что шаман ничем не выделяется среди обычных людей.

Большим авторитетом в области изучения культуры в настоящее время является А. Ф. Уоллес, который рассматривает шамана в плане структуры личности и ее внутреннего кризиса¹⁶. Статистика, по его мнению, достаточно ясно показывает связь шаманизма с эмоциональными расстройствами; имеющиеся данные прокомментированы многими учеными. А. Ф. Уоллес отмечает, что процесс становления шамана сходен в общих чертах в различных частях мира и его можно охарактеризовать как шизоидный распад личности. Взгляды Уоллеса, так же как и многих его предшественников — этнографов А. Л. Кребера, В. Г. Богораз, этнопсихологов Р. Линтона, Р. Бенедикт, этнопсихиатров Е. Акеркнехта и Ж. Деверё,— психиатр Ю. Силвермен подтверждает экспериментальным путем¹⁷. Продолжая и развивая в этнографии метод психоанализа З. Фрейда, экспериментатор использует также выводы крупнейших этнографов. Ю. Силвермен наблюдал больных шизофренией в клинических условиях и выявил пятиступенчатую модель их поведения. Полученный синдром он сопоставил с характеристикой поведения шаманов, данной в трудах этнографов. Выяснилось, что клиническая картина заболевания шизофренией совпадает с системой поведения шаманов. Однако эксперимент Силвермена нельзя считать удачным, поскольку он ограничил свою задачу и исследовал только ярко выраженные формы психопатологического поведения шаманов. Поэтому не удивительно, что его эксперимент подтвердил распространенную и традиционную точку зрения. Материал был подобран тенденциозно и состоял лишь из отдельных случаев психопатологического поведения шаманов, между тем как выводы исследователя претендовали на всеобщность.

Гораздо показательнее другой эксперимент, точнее, серия постепенно усложнявшихся психологических опытов по изучению функций головного мозга у обычных людей и у шаманов, проведенных в психоло-

¹⁴ См., например, D. M. Spencer, The recruitment of shamans among the Mundas, «History of religions», 1970, vol. 10, № 1, p. 1—32; J. Murphy, Psychiatric aspects of shamanism on St. Lawrence Island, Alaska, in: A. Kiev (ed.) Magic, faith and healing, 1964, p. 70; A. Butt, S. Wavell, N. Eptin, Trances, London, 1967, p. 40.

¹⁵ R. Linton, Culture and mental disorders, Springfield, Ill., 1956; M. K. Opler (ed.), Culture and mental health, N. Y., 1959.

¹⁶ A. F. Wallace, Culture and personality, N. Y., 1961; его же, Religion: an anthropological view, N. Y., 1966; его же, Identity processes in personality and culture, in: R. Jessor, S. Feshback (eds.), Cognition, personality and clinical psychology, San Francisco, 1968, p. 62—89.

¹⁷ J. Silverman, Shamans and acute schizophrenia, «American Anthropologist», 1967, № 1, vol. 69, p. 21—32.

гических лабораториях Университета Мак-Джилла в США. Результаты оказались настолько важными и интересными, что были доложены на симпозиуме по шаманизму, состоявшемуся в 1962 г. в Або¹⁸. Была поставлена задача — выявить материальную подоплеку того, что относится к сфере подсознательного и что по традиции в применении к индивидуальному шаманскому опыту называют «экстазом», «галлюцинацией», «трансом». Исследователи отказались принять на веру «простое» и «очевидное» значение этих слов. Только так можно было избежать, наконец, постоянной логической ошибки, описания понятий, основных для данной проблемы, но не до конца ясных, через другие, еще более неясные и расплывчатые. Сначала был произведен эксперимент с психически и физически здоровыми людьми в условиях сенсорной недостаточности, т. е. когда сведены до минимума световые и звуковые раздражители, а также осязательные способности или введено длительное и монотонное действие одного вида раздражителя. В результате оказалось, что любой человек при определенных условиях (исключая сон, гипноз или интоксикацию) способен испытать то состояние, которое, за неимением другого термина, мы называем галлюцинациями и которое раньше считалось свойственным только нервнобольному шаману. Подобное состояние является естественной реакцией церебрального аппарата на недостаток чувственных раздражений. Шаман же, однажды испытав такое состояние, навсегда убеждается, что он имел контакт с духами. Кстати, полученные выводы полностью соотносятся с теоретическими положениями советской психиатрии, изучающей те же явления: «Понять природу галлюцинаций во многом помогают современные представления о механизме циркуляции импульсов в определенных функционально-динамических системах мозга с обязательным сличением новой информации с имеющейся в запасе. При этом обнаруживается, что, если по одному из каналов воспринимающей системы перестает поступать информация, в системе создается «угрожаемое» положение, в результате чего происходит экстраполяция хранящихся в памяти образов и представлений... С подобного рода механизмом мы встречаемся при состояниях сенсорного голода (всевозможные виды сенсорной изоляции)... Мы рассматриваем все истинные галлюцинации как результат экстраполяции ассоциаций, образов, воспоминаний в ответ на недостаток новой информации»¹⁹. Таким образом, отпадает, видимо, один из характерных признаков, позволяющих считать шамана больным.

Проводились опыты по изучению собственно мыслительной деятельности функций головного мозга в момент транса у шаманов из племени апачей. В результате было доказано, что у шамана преобладает интуитивный способ познания, который реализуется не в словах и понятиях, как логическое мышление, а в комбинации различных образов и картин. Скорее всего можно говорить об органическом сочетании вербального мышления с чувственными восприятиями и представлениями. Не об этом ли писал в свое время еще С. М. Широкогоров, который старался понять поведение шамана в состоянии экстаза: «В это время его мышление, освободившись от привычной последовательности логических моментов, подчиняется особой последовательности, которая открывает ему возможность познания вне рамок, привычных для данной этнографической среды. Вместе с этим приобретает ряд новых возможностей сознательного и бессознательного воздействия на людей, пути которых еще не изучены, но многие явления не могут быть уложены в рамки обычного гипноза»²⁰.

¹⁸ Odd Nordland, Shamanism as an experiencing of the «Unreal», in: «Studies in shamanism», Stockholm, 1967, p. 166—185.

¹⁹ А. А. Портнов, Д. Д. Федоров, Психиатрия, М., 1971, стр. 36—37.

²⁰ С. М. Широкогоров, Указ. раб., стр. 60.

Подобный синтетический характер имеет мышление особого рода — художественное мышление²¹. Естественно говорить поэтому, что в отличие от остальных людей шаман обладает именно художественным мышлением.

Следующим шагом было изучение «структуры» личности в момент транса шаманов и псевдошаманов племени апачей в резервации Мескалери. Во время эксперимента применялся распространенный тест в виде цветowych пятен (так называемый тест Роршаха). Выяснилось при этом, что шаманы в отличие от псевдошаманов обладают особой способностью «регрессии», т. е. могут экстраполировать хранящиеся в их памяти образы и представления, вызвать в себе эмоциональную реакцию на них; при этом они как бы все время смотрят на себя со стороны, контролируют себя. Исследователи пришли к выводу, что с точки зрения современной психологии шамана нужно рассматривать как «личность, обладающую необычайно большой способностью контакта со своими собственными запасами переживаний вплоть до невербального уровня, а также строить комбинации, неуловимые и не прослеживаемые на этом уровне»²². Это явление также характерно именно для художественного мышления и составляет важнейший аспект психологии творчества вообще.

Полученные результаты дали основание одному из инициаторов эксперимента, Бойеру, прийти к заключению, что в целом шаманы — типичные представители племени апачей и проявляют полное психологическое соответствие с ними. Их отличие — в большей потенциальной творческой энергии.

Если мы теперь снова вернемся к истории вопроса о личности шамана, то нам придется констатировать, что умозрительным путем невозможно примирить крайние точки зрения. Даже экспериментальные исследования не обладают абсолютной доказательной силой. С помощью эксперимента нашли подтверждение взгляды, противоположные друг другу. И зависит это отнюдь не от недостаточной точности или тщательности процедуры исследования, а прежде всего от позиции исследователя. Спор часто носит схоластический характер и может продолжаться бесконечно, потому что основа его — принципиально разный подход к изучению культур иных психических типов, иного уровня общественного сознания, чем та, к которой принадлежит исследователь, а также разное представление о том, что такое «норма» поведения. Исследуя личность шамана, ученый имеет дело с культурой, хронологически и этнически отдаленной от своей; ему в значительной степени чужды структура сознания и нравы далеких от него народов. Тем не менее, он невольно описывает культуру в привычных для него категориях, применяет к ней мерки, идеи, представления, порожденные совершенно другой эпохой и другой культурной традицией. Как искажает подобный метод реальную картину (преимущественно на примере средневековой культуры), прекрасно показано в трудах Ю. М. Лотмана, М. И. Стеблина-Каменского, Д. С. Лихачева²³, призывающих подходить к любому культурному явлению с точки зрения имманентно выраженных в них представлений. Может быть, еще в большей степени это относится к древним культурам, в которых сохранились черты шаманского комплекса. Конечно,

²¹ А. С. Митрофанов, О структуре художественного мышления и попытках его моделирования, «Методологические основы общественных наук», вып. 2, М., 1971, стр. 134—136.

²² Odd Nordland, Указ. раб., p. 185.

²³ Ю. М. Лотман, Лекции по структуральной поэтике, Тарту, 1964; его же, К проблеме типологии культур, в кн. «Труды по знаковым системам», Тарту, 1967; его же, Об оппозиции «честь — слава» в светских текстах Киевского периода, Там же; его же, О метаязыке типологических описаний культуры, Там же, Тарту, 1969; его же, Статьи по типологии культуры, Тарту, 1971; Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, Л., 1969; М. И. Стеблин-Каменский, Мир саги, Л., 1971.

с точки зрения той культуры, которая принимается за норму, другая система культуры воспринимается не как культура иного психического типа, не как непохожая, а как не соответствующая некой норме. И к поведению шамана в таком случае применяется, по словам Ю. М. Лотмана, другой код неидентичной кодовой структуры, который не дешифрует его²⁴. Кроме того, надо учесть, что само понятие нормы не только различно в разных коллективах, но имеет многоступенчатый характер внутри одного коллектива²⁵.

Явления шаманского комплекса принадлежат культуре иного психического «спектра» и в пространстве (они существуют в настоящее время наряду с другими культурами), и во времени (они предшествуют некоторым нешаманским культурам). Поэтому к ним и неприменимы критерии, выработанные при изучении культур европейских народов. К шаману неприменимы и чисто рационалистические нормы логического мышления. Это означает, что вопрос о личности шамана в том виде, в каком он существует, просто отпадает. С точки зрения понятий и представлений той культуры, выразителем которой он является, шаман, конечно же, человек вполне нормальный.

Проблема «нормы» занимает особое место в этнографических исследованиях. Р. Бенедикт считает ненормальным человека, поведение которого не соответствует господствующим в его культуре нормам. О необходимости учитывать относительность понятия «норма» при изучении шаманизма и религии говорит И. М. Льюис в своей недавно вышедшей книге. Такая же мысль содержится в указанной выше работе И. А. Чернова: поведение человека считается нормальным, если оно не выпадает из общепринятой системы поведения в данном социальном организме и не вызывает эмоциональной реакции (положительной или отрицательной) у других членов коллектива. Поведение шамана вполне удовлетворяет этим требованиям²⁶. Его поведение не только не выпадает из общепринятой системы поведения в данном коллективе, но и оказывает на нее в известном смысле формирующее влияние. Благодаря своим знаниям и особой технике, путем самовнушения и самоконтроля он прекрасно владеет своей психикой, доводя себя до состояния, внешне сходного с безумием, но никогда не впадает при этом в бесконтрольную истерию. Обладая повышенной рефлексивной способностью, он может «моделировать» психику других людей и таким образом управлять психологической атмосферой и сознанием своих соплеменников. И если все-таки неизбежно приходится в наших понятиях говорить о сущности действий шамана, то нужно проводить аналогию с актером и художником в самом широком смысле слова. По характеру мышления и поведения, в котором обязательно присутствует «игра» — реализация одновременно двух планов — практического и условного, шамана скорее можно сравнить с актером. Такое сопоставление отнюдь не парадоксально. Параллель «шаманское камлание — театральное действие» не раз проводилась исследователями. В. Н. Харузина отмечала такие элементы драматического искусства в камлании, как перевоплощение, диалоги, мимика, жесты. Она показала, в основном на материале сибирского шаманизма, как элементарные формы драматического представления в камлании, так и сложные многоактные действия с массой действующих лиц, исполняемые одним шаманом²⁷. Образное сравнение шамана и артиста вскользь высказывается В. Шмидтом, видевшим в шаманской практике

²⁴ Ю. М. Лотман, К проблеме типологии культуры, стр. 32.

²⁵ И. А. Чернов, О семиотике запретов, «Труды по знаковым системам», Тарту, 1967, стр. 54.

²⁶ R. Benedict, Patterns of culture, London, 1935, p. 258—270; I. M. Lewis, Estatic religion, Middlesex, 1971, p. 184—187; И. А. Чернов, Указ. раб.

²⁷ В. Н. Харузина, Прimitивные формы драматического искусства, «Этнография», 1928, № 1, стр. 29—43.

корни происхождения театра²⁸. Мысли В. Шмидта развил Д. Шрёдер, который рассматривал шаманское камлание как своеобразный театр одного актера, где в одном лице и в одном действии соединились мифология и ритуал, мистерии, охотничьи пляски, т. е. все те представления, которые в разные периоды истории выделились в самостоятельные виды искусства²⁹. Однако до сих пор больше отмечалось внешнее сходство шаманского камлания с драматическим представлением. Но суть дела не столько в том, что шаманское камлание по своему содержанию и функциям напоминает театральное представление. Главное, что у исполнителя — шамана и актера — родственная, вернее, одна и та же психологическая основа творческой деятельности: способность мыслить чувственными образами и обращаться к запасам прежних переживаний. В теории психологии актерского творчества К. С. Станиславским был выделен ряд элементов духовной и физической природы артиста, благодаря которым происходит зарождение эмоций и внешнее проявление этих эмоций. К ним относятся: запас жизненных впечатлений, видения внутреннего зрения, устойчивое внимание, развитое воображение, эмоциональная память, натренированное тело и др.³⁰. Благодаря взаимодействию и взаимосвязи этих элементов актер может привести себя в естественное творческое состояние (К. С. Станиславский называет его самочувствием). Нетрудно заметить, что тот же внутренний механизм характеризует и шамана: запас жизненных впечатлений у актера то же, что и способность регрессии у шамана, внутреннее видение актера можно сопоставить с образными представлениями у шамана. Подобно тому как артист управляет своим творческим процессом по определенным законам природы, вызывая вдохновение, так и шаман овладевает внутренней техникой своего искусства, суть которого — сознательное управление подсознательным, или, как говорил К. С. Станиславский, «естественное возбуждение творчества органической природы с ее подсознанием»³¹. Благодаря этому шаман может вызвать в себе внутреннее переживание такого состояния, когда ему действительно кажется, что душа покидает телесную оболочку и вступает в контакт с миром духов (состояние экстаза); он способен передать внешнее воплощение этого состояния в акте камлания. Но многогранная тема «шаман и актер» требует самостоятельного исследования и к теме «личность шамана» в ее традиционном понимании прямого отношения не имеет.

²⁸ W. Schmidt, *Der Ursprung der Gottesidee...*, Münster, 1926, S. 326, 334.

Шаман отнюдь не нервно или психически больной, скорее он психиатр. Данные об этом см. в кн.: В. А. Туголуков, Следопыты верхом на оленях, М., 1969, стр. 171—173.

²⁹ D. Schröder, *Zur Struktur des Schamanismus*, «Antropos», 1955, № 4—6, S. 875—876.

³⁰ К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 2, М., 1954, стр. 6.

³¹ Там же, стр. 6.

Е. А. Тудоровская

**ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НАРОДНЫХ
БЕЛОВАНИЙ И СКАЗКИ**

(НА МАТЕРИАЛЕ СЮЖЕТА «О ЗАПРОДАЖЕ ВОДЯНОМУ»)

В статье «Некоторые черты доклассового мировоззрения в русской народной сказке»¹ мы в числе других сказочных сюжетов, сложившихся в доклассовом обществе, рассмотрели сказку «Морской царь и Василиса Премудрая»². Сравнивая ее с архаической марийской сказкой «Среброзубая Пампалче», а также с другими аналогичными сказками народов, сохранивших отдельные черты, близкие к родовому быту, мы стремились показать, что сюжет этой сказки построен на столкновении человека, члена рода, с «хозяином рыб» — Водяным. В марийской сказке Водяной ухватил старика рыболова за бороду и в уплату за рыбу потребовал себе в жены дочь старика, прекрасную, «среброзубую» Пампалче. Девушка, вынужденная согласиться на этот брак, все же бежит от поезжана своего страшного жениха и спасается от их преследования с помощью расположенных к ней животных и своей небесной сестры. Даже если эта сказка и свидетельствует о каких-то древних родовых обычаях (принесение жертвы Водяному), то она же говорит и о том, что человек сопротивляется им и побеждает в этой борьбе. Это не мифологическая быличка, а сказка.

В русском фольклоре известны сказки, воспроизводящие (в своем начальном эпизоде) детали сказки о «среброзубой» Пампалче. Героиня этих сказок — девушка, запроданная родителями Водяному, также спасается бегством (при помощи козла — в этом различие с марийской сказкой). Встречаясь с поезжанами Водяного, она отвечает на их вопросы точь-в-точь как Пампалче. После эпизода спасения девушки эти сказки переходят в сказку типа «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», где роль Иванушки, превращенного в козленочка, играл козел, спасающий героиню.

Вряд ли, однако, можно считать эти сказки исконно русскими и судить по ним о тех или иных чертах русского сюжета. Они почти точно повторяют сюжет одной из карельских сказок. Характерно, что русские сказки этого типа в большинстве своем собраны в Карелии: Н. Е. Онучков записал такие сказки в Сумском посаде (Онежский залив Белого моря) и в Яндомозере (Петрозаводский уезд); А. И. Никифоров — в Занежье (Комлево, недалеко от Яндомозера) и на Мезени (в Чучепалах, где русские в свое время могли входить в соприкосновения с карелами), Карнаухова — в Петрозаводске³. А совпадающие с ними две карельские сказки записаны в Яндомозере⁴.

¹ «Русский фольклор. Материалы и исследования», т. V, М.—Л., 1960, стр. 102.

² А. Н. Афанасьев, Народные русские сказки, т. 2, М., 1957, № 219—225.

³ Н. Е. Онучков, Северные сказки, СПб., 1909, № 56 и 128; А. И. Никифоров, Севернорусские сказки, М.—Л., 1961, № 118 (Занежье), № 157 (Мезень); И. Карнаухова, Сказки и предания Северного края, М., 1933, № 64.

⁴ «Карельские народные сказки», М.—Л., 1963, № 22, 23.

Этот сюжет, а в особенности его вводный эпизод, характерен именно для финно-угорского фольклора. Вторая (главная) часть сказки очень близка к карельскому народному творчеству. Скорее всего русские, живущие в Карелии, заимствовали ее у карел, а не наоборот, тем более что в русском фольклоре этот сюжет в таком сочетании встречается редко, что отмечает и собиратели сказок⁵. Таким образом, эту сказку исключаем из нашего рассмотрения.

Остальная масса исконно русских сказок о столкновении с Водяным носит иной, отличный от карельской характер. Герой их — юноша. Сказки такого типа широко распространены, они записывались на протяжении всего XIX в. и позже, вплоть до наших дней. По ним можно попытаться представить себе историческое развитие этого сюжета.

Попробуем охарактеризовать основной сюжет сказки в том виде, в каком он был записан в начале XIX в.

Классические (дореформенные) тексты о запродаже Водяному — это сказки из собраний А. Н. Афанасьева⁶, И. А. Худякова⁷, а также конспективная запись А. С. Пушкина, которая легла в основу стихотворной сказки В. А. Жуковского «О царе Берендее...» и пр.⁸ Всего имеется 10 текстов, более или менее близких к архангелскому типу.

Сказка начинается с вводного эпизода — столкновения отца будущего героя с волшебной силой, чаще всего с Морским царем или Водяным (иногда Водяной заменяется нечистой силой — это Некрещеный или Неверный царь или попросту черт). Водяной ловит отца героя за бороду (как в марийской сказке), или держит его корабль за киль и не дает плыть, но иногда он, напротив, оказывает ему какую-нибудь услугу. Так или иначе, отец героя вынужден выполнить требование Водяного. А оно во всех классических случаях одинаково: «Отдай то, чего дома не знаешь». Для русской сказки это неизменная деталь. Таким образом, невольная неосмотрительность отца (который не знает, что без него дома родился сын) влечет за собой запродажу новорожденного героя волшебной силе.

В некоторых фольклорных произведениях на этот сюжет отразились практические интересы рыболовов: например, в былине о Садко, где явно использован и переработан архаический сюжет (по соизволению Морского царя Садко вылавливает в Ильмень-озере рыбку-золоты перья и благодаря этому богатеет; впоследствии Морской царь требует Садко к себе в подводное царство и хочет женить его на одной из своих дочерей; Садко выбирает Чернаву, которая должна помочь ему вернуться на землю)⁹. В русских волшебных сказках, записанных в XIX в. и позже, такого рода связь с рыболовством (с жертвой Водяному) исчезла. Она сохранилась лишь во вводном эпизоде сказки казаков-некрасовцев «Тит-рыба»¹⁰. Интересно, что во вводном эпизоде, воспроизводящем архаический материал, отсутствует мотивировка запродажи («Отдай то, чего дома не знаешь»), обязательная для других сказок этого типа. Водяной прямо требует героя к себе. Впрочем, это должно быть понятно: откровенному требованию платы за рыбную ловлю не соответствует мотив обмана, вымогательства. Но такая постановка вопроса наводит на мысль, что распространенный мотив «Отдай то, чего дома не знаешь» вошел в сказку позже, когда запродажа как плата за рыболовство стала уже забываться.

⁵ См. например: И. Карнаухова, Указ. раб., комментарий к сказке № 64.

⁶ А. Н. Афанасьев, Указ. раб., № 219—226.

⁷ И. А. Худяков, Великорусские сказки. М.—Л., 1964, № 46, 78, 92.

⁸ См.: «Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX в.», М.—Л., 1961, стр. 118.

⁹ «Былины в двух томах», т. 1, М., 1958, стр. 336.

¹⁰ Ф. В. Тумилевич, Сказки и предания казаков-некрасовцев, Ростов-на-Дону, 1961, № 10.

Запроданный герой вырастает и во исполнение обещания идет к Водяному. Но сначала он (по совету встречной старушки или Яги) заручается помощью волшебной дочери Водяного (известный эпизод с «уточкой», у которой герой похищает сорочку).

Водяной встречает героя недоброжелательно (просто по своей злодейской сущности или недовольный тем, что тот «долго не шел») и готов казнить его за малейшую провинность. Под страхом смерти герой должен выполнить трудные задачи царя. Это удается ему благодаря помощи тайной жены-волшебницы («уточки»). В награду Водяной женит героя на своей дочери (той же самой «уточке»). Иногда брак предшествует испытанию героя, но всегда он совершается по желанию Водяного, а отнюдь не по сватовству героя. Предварительно герой должен трижды узнать свою суженую, выбрав ее из всех дочерей Водяного. Герой и его жена бегут затем из подводного царства на землю. Причина бегства может быть самая различная: Водяной злится на героя за то, что тот ни разу не ошибся, или наоборот, расправа грозит герою потому, что одна из задач невыполнима (как в сказке Жуковского), но чаще всего он хочет вернуться на землю, домой. Водяной преследует беглецов, состояясь с дочерью в хитрости, однако молодым удастся уйти.

В сказке есть некоторые несообразности, неопределенность мотивировок. Зачем нужна запродажа Водяному? Хочет ли он расправиться с героем или женить его? Для чего Водяной задает герою задачи? Почему все-таки ему необходимо бежать из подводного царства? Все это — забвение архаических мотивировок, следы разрушения более древнего сюжета, который следует попытаться восстановить. Все неясности получают объяснение при сравнении со сказками других народов, еще сохраняющих в своем фольклоре отголоски родового строя¹¹.

По-видимому, героя некогда требовали в род Водяного, чтобы, женившись на его дочери, он сделал что-то важное для этого рода. Это видно по тем задачам, которые ставятся перед ним. По существу, он подвергается испытаниям, позволяющим проверить его волшебную дееспособность и осведомленность.

Но герой заручился любовью и помощью дочери Водяного. Она могла ему угодить отцу, показать, что он вполне подготовлен к исполнению своей роли. Героя женят на волшебной суженой, но после этого ему необходимо бежать, чтобы вернуться домой на землю и передать людям волшебные знания своей жены.

Нет оснований предполагать, что такая сказка — древний миф, отражающий первобытный обряд, во время которого посвящаемый получал волшебного помощника. Но, в сказке могло отразиться воспоминание о подобном мифе, который и был использован создателями сказочного сюжета. Такова опосредствованная связь сказки с древними верованиями. Но в целом сказка о запродаже героя Водяному, даже в своем архаическом варианте, — история о том, как смертный человек, вовсе не обладавший какими-либо волшебными знаниями, сумел победить в состязании с потусторонней силой, противопоставив ей свои человеческие знания, сумел овладеть силами природы, обратить ее себе на помощь. Как и у марийцев, это не поверье или древняя быличка, а волшебная сказка, повествующая о борьбе и победе героя в конфликте со злыми силами.

Бегство чудесной дочери Водяного со своим мужем вполне законно и оправдано в глазах сказочника. В этом мотиве выразилось новое мировоззрение: в противовес обычаям матрилокального брака (по которому муж должен переходить в род жены) здесь главенствует брак патрилокальный (жена следует за мужем в его род). Но представления, сложившиеся в родовом обществе, где труд служил единственным средст-

¹¹ Е. А. Тудоровская, Указ. раб.

вом борьбы со стихийными силами, дают еще пищу воображению творцов сказки.

Что же произошло со сказкой в дальнейшем, как изменилась она и стала «классической»?

Сказка о запродаже Водяному, несомненно, бытовала на протяжении всей феодально-крепостнической эпохи, но теперь она уже явно подверглась художественной обработке. В ней неизбежно должна была слабеть память о древних верованиях, а стало быть, и интерес к архаическому столкновению с «водяной», стихийной злой силой. Старая мотивировка, обуславливающая запродажу хозяйственными интересами рода как выкуп за право рыболовства, исчезла. Столкновение с Водяным стало не совсем понятным. Злая сила, Водяной, обманом требует запродажу героя в своих, не вполне ясных целях. Конфликт человеческого рода с Водяным не исчез, но приобрел иную окраску, отчасти даже социальную: происходит столкновение запроданного героя с самодуром-царем (хотя бы и волшебным). Вся центральная часть — служба героя у Морского царя — приобрела характер истории верной любви и ее испытаний. В сказке появился финальный эпизод, вызванный новым ее смыслом: спасшись от Морского царя, герой забывает свою волшебную суженую и готов уже жениться на другой, однако во время свадебного пира волшебная жена напоминает ему о себе, и герой возвращается к ней.

Так как исчезла из памяти связь сюжета с рыбной ловлей, то становится необязательной и «водяная» сущность антагониста. Требование «Отдай то, чего дома не знаешь», как уже упоминалось выше, может исходить теперь от Неверного царя, Чуда-юда и т. п. Мало того, конфликт с Водяным имеет определенную тенденцию к замене на столкновение «крещеной души» с нечистой силой, с чертом (последняя характеристна для фольклора более поздней эпохи). Правда, черт в волшебных сказках о запродаже почти не отличается от Водяного. Он также прочно связан с всдой, с озером (в представлении народа, Водяной чаще всего тоже обитатель озера). Черт появляется из колодца, из проруби. Иногда он («черт из-под калинова моста») живет даже в Петербурге. Этот черт уже никакого отношения к рыболовству не имеет. Но в подобной роли могут выступать и вполне «сухопутные» персонажи. Да и сама запродажа может обойтись без Водяного и воды: злая сила (водяная и сухопутная — безразлично) указала дорогу, защитила от холода и т. п.

Теперь уже становится возможными варьирование завязки и контaminaция с другими мотивами. По всей вероятности, именно на этой стадии присоединяется к сказке и приобретает большое распространение новый начальный эпизод — так называемая «война птиц и зверей». Мышь и воробей, вначале дружные, поссорились из-за зерна; в ссору вовлекаются все животные и птицы; вспыхивает битва, в которой тяжело ранен царь птиц — орел. Искалеченный, он едва не становится жертвой некоего охотника. Однако тот, сжалившись, берет орла к себе домой, выхаживает его, кормит и лечит. В благодарность орел летит с ним в царство своих сестер, и после ряда приключений одна из них дарит охотнику чудесный ящик, из которого должны появиться город, стада, и он тем самым обретает богатство. По дороге домой охотник, будучи не в силах сдержать любопытство, открывает ящик в самом не подходящем для этого месте. Сам он не может собрать и снова запереть в ящик появившиеся богатства. На помощь приходит неведомый человек — злая сила, волшебник, черт. Он помогает охотнику собрать все в ящик, но требует за это: «Отдай то, чего дома не знаешь». Такова завязка сюжета.

Этот вводный эпизод не имеет ничего общего с дальнейшей историей запроданного сына. Вряд ли он был исконным. Тем не менее эпизод прочно связан с сюжетом о запродаже и сохранился в большей части

вариантов (встречается он и как самостоятельная сказка, но не в русском фольклоре)¹².

Меняется мотивировка вражды антагониста к герою, в особенности если антагонист — черт. Эта модернизация свидетельствует о том, что внимание сказочников переходит от архаических тем к более «современным». Изменения коснулись и волшебной жены героя. Архаический мотив перехода дочери враждебного людям водяного рода на сторону человека теряет для сказочников смысл. Иной раз суженая героя уже сразу противостоит злой волшебной силе; в некоторых вариантах она даже не дочь Водяного, а «украденная волшебница» или «проклятая девушка»¹³ и герой освобождает ее от чертей. В этих случаях исчезает, как не относящийся к данной ситуации, мотив встречи героя с «уточкой». Он знакомится со своей суженой, предстающей сразу в человеческом облике; ее не надо принуждать к браку — девушка ищет спасения. Черт хочет затем погубить крещеного человека, и герой вместе с женой спасаются бегством. Это уже совершенно иная мотивировка, чем в классической сказке о браке героя с дочерью Водяного.

На данной стадии происходит вторичная встреча волшебной сказки с живыми верованиями народа. Мы соприкасаемся теперь с быличками о неосторожном слове. Вместо запродажи человек по тем или иным причинам попадает под власть чертей. Иногда герой хочет жениться и неосторожно просит черта (который с готовностью откликается) найти ему невесту; иногда героя прокликает мать, посылая к черту (а «послушн черту» — это все равно что запродан ему); иногда герой любит проклятую девушку¹⁴. Все эти виды конфликтов определяют разнообразие сюжетов об освобождении от подводных чертей, в разной степени отходящих от волшебной сказки. Есть и переходные сюжеты, есть и прямые былички — правдивые истории (для быличек, как и для других видов несказочной устной прозы, характерна «Установка на достоверность»)¹⁵. Их сюжеты говорят о столкновении человека с нечистой силой и об избавлении от нее с помощью ума, хитрости и умения вовремя применить «христианские» заклания, против которых черт бессилен. Рассматривая эту группу сказок-быличек в ее промежуточных сюжетах, можно увидеть, как волшебная сказка влияет на быличку. Дело не только в «водяном» облике чертей. Попадая к подводным чертям, герой такой «промежуточной» былички должен угадать свою суженую среди дочерей черта; бегство героя с невестой напоминает тот же сюжет сказки о запродаже. Вместе с тем можно видеть и обратное влияние былички на сказку. Из былички мог прийти образ «проклятой девушки» со всеми вытекающими отсюда сюжетными ходами. В собрании Афанасьева сказки о запродаже и былички о неосторожном слове стоят рядом; да в сущности завязка сказки о запродаже — то же «неосторожное слово».

Вряд ли можно считать, что былички о неосторожном слове родственны легендам об «обреченном дьяволу», как это утверждает И. Жданов¹⁶. В легенде запродажа объясняется как преступление родителей или же ребенок, которого продают, оказывается сыном дьявола. Он обречен пребывать в аду (а вовсе не жить под водой) и спасается лишь благодаря молитвам и добродетельной жизни, с помощью бога, святых, богородицы (см. сказки о «кумовой кровати» или апокрифическую сказ-

¹² См. И. Х. Левин, Русская сказка и немецкая басня, «Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. Герцена», т. 210, Л., 1959, стр. 111; его же, Миф об Этане (докт. дис.).

¹³ См., например, А. Н. Афанасьев, Указ. раб., сказка № 226.

¹⁴ А. Н. Афанасьев, Указ. раб., № 227—229.

¹⁵ Э. В. Померанцева, Жанровые особенности русских быличек, «История, культура, фольклор и этнография славянских народов. VI Международный съезд славистов», М., 1968, стр. 274.

¹⁶ И. Жданов, Русский былевой эпос, СПб., 1895, стр. 310, 323—324.

ку «Отец-дьявол»¹⁷). В легенде мы находим, по словам В. П. Аникина, «христианско-религиозное морализирование»¹⁸, «выдающее связь легенды с церковным учением о грехе»¹⁹, чего нет в быличке, которая носит «народный религиозный характер»²⁰, отличающий ее от христианской легенды.

Черты легенды и былички о неосторожном слове совершенно различны. В легенде это черти, пребывающие в аду, стремящиеся ввести человека в грех; их назначение — соблазнять и карать грешников. Водяные, черти быличек — плод творчества народной демонологии²¹, воспринявшие некоторые штрихи черта христианской религии, но не абсолютно антагонистичные человеку. Как мы увидим далее, в народном сказочном творчестве, черти могут войти даже в дружбу с человеком и бескорыстно служить ему.

Публикации конца XIX — начала XX в. свидетельствуют о том, что сказки о запродаже и близкие к ним былички о неосторожном слове претерпевают дальнейшие изменения как в пореформенное время, так и в последующий период, вплоть до последних десятилетий нашей эпохи. Хотя на протяжении всего этого времени записываются еще и классические сюжеты²², но по позднейшим сборникам видно, как все более вольно используется сюжет нашей сказки: отдельные ее мотивы встречаются в других сказках, к которым раньше она не имела никакого отношения; сочетаются новые переходы и мотивировки. Еще в предшествующую эпоху вводный эпизод о запродаже сына злой силе начал отрываться от исконного и использовался в позднейших сюжетах. Такой вводный эпизод можно отметить в сказке из собрания А. Н. Афанасьева «Царь-Медведь» (типа «Звериное молоко»²³), а также в уже упоминавшейся нами сказке казаков-некрасовцев «Тиг-рыба» (типа «Скорый гонец»). В пореформенное время такого рода заимствование встречалось все чаще. Мало того, что мотив запродажи прочно вошел в сказки типа «Царь-Медведь» (известный и распространенный сюжет — «Волк — Медный лоб»²⁴), но он стал присоединяться также и к сказкам, в которых ранее никогда не встречался («Финист — ясен сокол»²⁵, сюжет «Жар-птица» или «Летучий корабль»²⁶, «О Вавилонском царстве»²⁷, «Кашей Бесмертный»²⁸ и др.). Вводный эпизод всех этих сказок — «война птиц и зверей», приводящая к запродаже. К числу сказок, записанных в последние десятилетия и содержащих мотив запродажи, прочно примкнул

¹⁷ И. А. Худяков, Указ. раб., № 77; «Семнадцать сказок, записанных в Тотемском уезде Вологодской губернии, в 1905—1907 гг.» (записи М. Едемского), «Живая старина», т. XXI, вып. II—IV, 1912, № 13.

¹⁸ В. П. Аникин, Художественное творчество в жанрах несказочной прозы, «Русский фольклор», т. XIII, Л., 1972, стр. 16.

¹⁹ Там же, стр. 17.

²⁰ Там же, стр. 13.

²¹ Б. и Ю. Соколовы во вводной статье к своему сборнику (Б. и Ю. Соколовы, Сказки и песни Белозерского края, М., 1915, стр. LIX) пишут, что вообще в чертях быличек «можно видеть лишь позднейших заместителей первоначальных языческих существ».

²² Например, А. И. Никифоров, Указ. раб., № 41 (Мезень), А. М. Новикова, И. А. Осовецкий, Сказки Куприяники, Воронеж, 1937, № 17; М. В. Красножанова, Сказки Красноярского края, Л., 1937, № 19. Пересказы сказки Жуковского, см., например, А. В. Гуревич, Л. Е. Элиасов, Старый фольклор Прибайкалья, т. I, Улан-Удэ, 1938, № 31.

²³ А. Н. Афанасьев, Указ. раб., № 201.

²⁴ Д. Н. Садовников, Сказки и предания Самарского края, СПб., 1884, № 11; «Сказки Енисейской губернии», т. I, вып. 1, Красноярск, 1902, № 52; М. Азадовский, Сказки Верхнеленского края, Иркутск, 1925, № 6 (запись 1915 г.).

²⁵ Н. Е. Ончуков, Указ. раб., № 173.

²⁶ Д. К. Зеленин, Великорусские сказки Вятской губернии, Пг., 1915.

²⁷ Н. Е. Ончуков, Указ. раб., № 57.

²⁸ М. Азадовский, Указ. раб., № 1.

«Незнайко» (в варианте, где герой сперва служит у змея или у черта)²⁹.

Мы видим, что сказка становится объектом все более вольного варьирования и контаминирования в творчестве отдельных сказителей, которые не создают уже новых сюжетов волшебных сказок, но зато широко используют старые как материал для собственного творчества. Это характерно и для всего сказочного фольклора конца XIX—XX вв.

Классический сюжет о столкновении запряженного героя с Водяным также претерпевает значительные изменения. Произвольно выбирается причина, по которой герой попадает к волшебнику: иногда он нанимается на службу к нечистой силе, иногда, просто заблудившись в лесу, попадает в лесной дворец, где живет чудовище — змей, черт и т. п.³⁰

Злая сила иной раз принимает облик Водяного, от него даже ничем не отличается и Сатана³¹. Если сказка по-прежнему начинается вводным эпизодом «войны птиц и зверей», то в ней Водяного уже нет, да логически здесь он и не нужен³².

Все чаще волшебная жена героя, дочь злой силы, противостоит этой силе. Ее конфликт с отцом вполне понятен. В этом отношении показательна записанная в начале 70-х годов XIX в. сказка «Ивашка Белая Рубашка горький пьяница»³³ с двухходовым развитием сюжета. Герой проигрывает себя в кабалу царю Дороте; у царя дочь от первого брака, которую преследует и хочет погубить мачеха-волшебница, «Ягая Баба». Вполне понятно, что девушка хочет не только спасти возлюбленного, но и спастись сама. Из сюжета исчезают последние отголоски наиболее архаических мотивов: запродажа Водяному как хозяину рыбы, брак как вступление в члены волшебного рода; испытание магической осведомленности героя. Сюжет приобрел иной смысл: герой идет в работники к злой силе, выполняет все задания при помощи своей суженой, после чего они вдвоем спасаются бегством³⁴. Иногда трудные задачи мотивируются не желанием злой силы погубить героя, а оговором слуг или придворных³⁵. Этот мотив попал сюда из сказок другого типа.

Сюжет теперь переделывается уже очень значительно, появляется, особенно в послереволюционных записях, нечто подобное литературной обработке³⁶. Такова, например, сказка Магая. Это настоящий роман,

²⁹ И. Карнаухова, Указ. раб., № 47; «Сказки М. М. Коргуева», Петрозаводск, 1939, кн. I, № 32; А. И. Никифоров, Указ. раб., № 97, 106 (Мезень) А. П. Анисимова, Песни и сказки Поимского района, Пенза, 1948, «Иван Зеленый».

³⁰ Д. Н. Садовников, Указ. раб., № 1; Д. К. Зеленин, Великорусские сказки Пермской губернии, ПГ., 1914, № 12; «Семнадцать сказок, записанных в Тотемском уезде Вологодской губернии в 1905—1907 гг.», № 7.

³¹ Н. Е. Ончуков, Указ. раб., № 153; Д. К. Зеленин, Великорусские сказки Вятской губ., № 118; его же, Великорусские сказки Пермской губ., № 55; А. М. Смирнов, Сборник великорусских сказок Архива Русского географического о-ва, Пг., 1917, вып. II, №№ 11, 97, 126, 236, 281; «Русские народные сказки. Сказки рассказаны ворожежкой сказочницей А. Н. Корольковой», М., 1969, «Волшебник».

³² Д. Н. Садовников, Указ. раб., № 1; Н. Е. Ончуков, Указ. раб., № 60; «Русские сказки Енисейской и Томской губернии», т. I, вып. 2. Томск, 1906, № 38; А. М. Смирнов, Указ. раб., вып. II, № 5; Б. и Ю. Соколовы, Указ. раб., № 66.

³³ Д. Н. Садовников, Указ. раб., № 1.

³⁴ А. В. Гуревич, Л. Е. Элиасов, Указ. раб., № 30; А. Гуревич, Русские сказки Восточной Сибири, Иркутск, 1939, № 24, 42; А. П. Анисимова, Указ. раб., «Охотник и колдун»; «Народное творчество Дона», Ростов-на-Дону, 1952, «Иван-царевич».

³⁵ А. А. Эрленвейн, Народные сказки, собранные сельскими учителями, М., 1863, VI; М. А. Колосов, Заметки о языке и народной поэзии в области северновеликорусского языка. «Сборник Отделения русского языка в словесности АН», т. XVII, № 3, СПб., 1877, стр. 93; А. М. Смирнов, Указ. раб., вып. II, № 327; Д. К. Зеленин, Указ. раб. (пермск.) № 12, 55; «Сказки Магая (Е. И. Сороковикова)» в записях Л. Элиасова и М. Азадовского, 1940, № 4; «Сказки М. И. Коргуева», № 6.

³⁶ «Сказки Енисейской губернии», 1902, № 43; Б. и Ю. Соколовы, Указ. раб., № 66; «Сказки Магая (Е. И. Сороковикова)», № 4; А. П. Анисимова, Указ. раб., «Иван Зеленый».

расцветивший психологическими ходами и мотивировками, в котором контаминируются сказка о запродаже героя волшебнику с рядом мотивов из «Жар-птицы», «Незнайко» и др.

В свою очередь изменяются и былички о неосторожном слове, о «сыне, обещанном черту». Иной раз они далеко отходят от волшебной сказки о запродаже сына Водяному. Можно назвать, пожалуй, только две промежуточные сказки: одна из них записана в Вятской губ. в 1902 г.³⁷, другая, контаминированная с сюжетом о «благодарном мертвеце» — в Карелии в 1911 г.³⁸

Но обычно это не волшебные сказки, а настоящие былички, хотя и сохранившие мотив связи чертей с водой. Встречаются два уже знакомых нам типа сюжетов: парень ищет себе жену, хотя бы у нечистого, и спасает «проклянутую» девушку из *подводного* обиталища чертей; жена выводит проклятого мужа, также от *водяных* чертей³⁹. Но при этом зачастую центр тяжести сюжета уже не перемещается на борьбу с нечистой силой; интерес к конфликту с ней вообще потерян. Черт наказывает тех, кто неосторожно призывает его: уносит проклятую девушку, похищает вещи, в сердцах ему посуленные. Но он же охотно отдает все похищенное смелому, честному, доброму герою. Родители всегда узнают похищенную и возвращенную дочь; в приданом невесты кто-либо из гостей или сам отец узнают пропавшие вещи, в свое время обещанные черту («Чтобы вас черт побрал!»); героя обвиняют в воровстве, но тут появляется сам черт и восстанавливает истину⁴⁰. Таким образом, люди сами виновны в своих потерях, а герой, возвративший утраченное, получает его обратно в награду. Черт всего лишь посредник в этом справедливом «перераспределении благ». Здесь — последняя граница влияния волшебных сказок о запродаже на былички как рассказы о чудесном, но «достоверном» событии.

Такова история сюжета о запродаже героя Водяному на различных этапах ее развития и ее связь с живыми верованиями народа.

³⁷ Д. К. Зеленин, Великорусские сказки Вятской губ., № 36.

³⁸ «Русские сказки в Карелии» (старые записи), Петрозаводск, 1947, № 43.

³⁹ Там же, № 39—42.

⁴⁰ См., например, быличку «Мельник и его сын» (Б. и Ю. Соколовы, Указ. раб., № 28).

К. П. Калиновская

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСО

Народ консо расселен в основном в Эфиопии к югу от оз. Чамо до р. Саган, а также небольшими группами в Кении. В настоящее время консо занимаются террасовым земледелием (основная культура — хлопок), кроме того, они разводят овец и коз, в меньшей степени — крупный рогатый скот. Путешественники конца прошлого века сообщали, что прежде у консо были большие стада крупного рогатого скота. Вполне вероятно, что в отдаленные времена консо были скотоводами, а земледелием стали заниматься сравнительно недавно. В культуре и быте этого народа сохранилось немало элементов скотоводческого хозяйства.

До сих пор неясно, являются ли консо автохтонным населением или они пришли из других районов. В их устной исторической традиции есть лишь отдельные упоминания о том, что когда-то их предки пришли из разных мест¹. Несомненна связь консо со скотоводами галла, которая подтверждается наличием ряда общих черт в социальной организации, в обрядах, в лексике обоих народов. Отсюда распространенное в научной литературе мнение, что консо заимствовали у галла и их систему возрастных групп². Однако это лишь гипотеза. Само по себе сходство отдельных черт в жизни обоих народов, хотя, безусловно, и показывает наличие тесных связей между ними, но еще не может служить доказательством заимствования социальных институтов.

Система возрастных групп консо «джила» наиболее полно описана в капитальном труде А. Е. Енсена, обобщающем результаты полевых исследований в южной Эфиопии, а также в ряде трудов других авторов³. Ученые обнаружили в социальной системе консо своеобразные черты, почти не встречающиеся у других народов Восточной Африки. Это, во-первых, сосуществование собственно двух, разных по своей основе, но действующих одновременно систем возрастных групп, и, во-вторых, наличие системы брачных классов (последнего института мы касаться не будем).

Попытаемся, насколько позволит материал, разобраться в этом сложном комплексе социальных явлений. Материалы полевых исследований А. Е. Енсена, относящиеся к сравнительно недавнему времени, вводят нас в круг очень сложных, подчас непонятным образом переплетенных явлений социальной жизни консо. Напрашивается вопрос, не вытекает ли такая сложность из многообразия фактов, различных чисто

¹ E. Cerulli, *Peoples of South-West Ethiopia and its borderland*, «Ethnographic Survey of Africa. North-Eastern Africa», pt. III, London, 1956, p. 53.

² Там же, стр. 58; А. Е. Jensen, *Im Lande des Gada. Wanderungen zwischen Volkstümmern Südbessiniens*, Stuttgart, 1936, S. 350.

³ А. Е. Jensen, Указ. паб., стр. 196—201, 335—378; E. Cerulli, Указ. паб., стр. 51—66; A. Legesse, *Class systems based on time*, «Journal of Ethiopian Studies», vol. I, № 2, 1963, p. 11—14.

внешне, нет ли внутреннего единства и связи между явлениями, которые А. Е. Энсену и другим исследователям представляются совершенно самостоятельными, не связанными друг с другом.

Уместно начать с системы возрастных степеней «джила», охватывающей всех мужчин и часть женщин, которая регулирует, по мнению исследователей, всю социальную, политическую и религиозную жизнь этого народа. По данным А. Е. Энсена, система включает пять возрастных степеней, продолжительностью 18 лет каждая. Вступление в «джила» происходит по принципу прямого наследования. Сын всегда следует за своим отцом на расстоянии в две степени, т. е. через 36 лет. Например, если во время праздника «джила», который означает переход каждой группы в следующую степень, отец достиг III возрастной степени, все его сыновья вступают в I степень. 18 лет спустя на таком же празднике отец переходит в IV степень системы, тогда же его сыновья вступают во II степень, получая право на женитьбу и потомство. Поскольку все сыновья, независимо от их возраста, вступают в систему через 36 лет после своего отца, то старшим сыновьям, если они родились в соответствии с установленными системой сроками женитьбы, т. е. когда отец вступил во II степень, уже по 18 лет, а младшие могут быть младенцами. Еще через 18 лет отец достигает IV степени, а его сыновья — II степени системы: старшим в это время по 36 лет, а младшим — по 18 лет. Теперь и старшие и младшие братья могут одновременно жениться. Выходит, что норма системы — интервал между отцом и сыном — выдерживается только в отношении старшего сына, которого действительно отделяют от отца две степени системы продолжительностью в 36 лет. Как же обстоит дело с теми сыновьями, которые рождаются в III, IV и V степенях? Они вступят в I степень системы «джила», если при их рождении их будут отделять от отца не две степени, а больше — три-четыре.

У галла интервал между группой «отцов» и группой «детей» составлял так же, как у консо, пять степеней, но по 8 лет каждая, т. е. 40 лет. Сходство обеих систем подтверждают и некоторые другие факты. Название III степени системы «джила» — «гада» — галласское слово, обозначающее понятие возрастной группы вообще. Ритуальный вождь в обеих системах называется «хейю» — также слово из языка галла.

«Джила», как мы видели, регулирует время женитьбы у консо. Правда, это делается не слишком четко: одни получают право вступать в брак лишь в пожилом возрасте, другие, наоборот, еще в детстве.

Переход во II и III степени связан с повышением социального статуса. Ряд лиц в этих степенях избирается на должности «богалла» — социальный ранг, определяемый Энсеном как «жреческая знать», а также «хейю» (букв. «правый, правильный»). «Хейю» — ораторы, посредники между высшими органами власти и народом. В устной традиции сохранились сведения, что прежде было 9 «богалла». Но ко времени Энсена их было множество, и их число все увеличивалось. Основные функции «богалла» в сфере ритуала — убивать жертвенное животное.

Среди «богалла» выделяются должности «высших богалла», которые передаются по наследству; при этом атрибуты власти переходят не только к старшим сыновьям, но и ко вторым, если они имеются. К «высшим богалла» относятся «отец джила», «жрец джила», а также «богалла», хранящие святыни консо. Менее важные по социальному значению должности «богалла» выборны.

Функции «хейю» проще, чем у «богалла». Обычно «хейю» выступают ораторами от родовых групп на общественных собраниях, выступают в роли руководителей в мужских домах. При выборах на эту должность предпочтение отдается «вождям» возрастных групп (II степень) и их наиболее отличившимся сверстникам. В каждом священном месте консо («мора») пребывает 3 «абба беда» («отцы отечества»), избираемых из среды всех «хейю». Это очень высокая должность. Носители этого зва-

ния обязаны обсуждать новые законы, а затем пересказывать и разъяснять их народу.

Титулы и должности «богалла», «хейю» и «абба бида» сохраняются за избранными до конца жизни независимо от того, в какой степени они находятся. В последней V степени все «богалла» входят в состав совета старейшин, в то время как раньше они участвовали в его деятельности, входя в совещательный орган при нем. По мере того, как отдельные должности «богалла», «хейю» и «абба бида» начинали передаваться по наследству старшему сыну, постепенно уменьшалась общественная роль традиционного органа управления — совета старейшин.

Енсен зафиксировал следующие закономерности в системе «джила»: 1) одни должности являются выборными, а другие — наследуются; 2) должности наследуются только в определенном возрасте, которого сын достигает через два интервала после отца.

Вероятно, первоначально все руководящие должности внутри каждой группы были в определенной степени выборными. При этом право быть избранными на такую должность передавалось по наследству от одной группы, выходящей из соответствующей степени, другой группе, входящей в эту же степень. Иначе говоря, последовательность поколений соблюдалась, но это было обусловлено не кровным родством между поколением отцов и поколением сыновей, а условным возрастным соотношением групп-поколений, старшего и младшего.

Исследователи утверждают, что система «джила», регулирующая всю социальную, политическую и религиозную жизнь, к производственной деятельности консо отношения не имеет.

Еще одна социальная система консо — «харийя». Слово «харийя» галасское. Сами консо говорили Енсену, что группы «харийя» у них от галла борана⁴. Иногда это слово используется для обозначения II степени системы «джила».

Группы «харийя» объединяют лиц более или менее одинакового возраста независимо от их принадлежности к возрастным степеням «джила». Через каждые 13 лет на празднике «орлитулла» вожди «хейю» собирают мальчиков не моложе 9 лет в одну группу «харийя» и выбирают среди них руководителя. Вновь избранная группа получает определенное имя, которое ее члены носят всю жизнь. Становясь членами «харийя», мальчики уходят из семьи, спят в мужских домах, так же держат свое оружие. «Харийя» являются хозяйственными подразделениями с определенным кругом обязанностей. Более молодые группы ухаживают за скотом, старшие заняты работой на полях.

«Харийя» выступают также как военные подразделения. Боевой порядок таков, что самая старшая «харийя» стоит в первой линии, а самая младшая — в резерве. Консо объясняют такое построение следующим образом: если сначала погибнут старшие, это принесет меньший урон всей армии, а молодежь надо беречь и выпускать в бой в последнюю очередь, так как именно она может решить исход битвы.

В функции групп «харийя» входило также наказание нарушителей общественного порядка. Енсен перечисляет четыре символа этой функции: меч, кинжал, палку и кнут. Причем младшей группе принадлежит только один из них, а три другие — следующей. На следующем празднике «орлитулла» младшая «харийя» передает свой символ вновь образованной группе, а сама получает от предыдущей три других. Таким образом, через 13 лет происходит повышение социального положения групп «харийя».

Енсен во время своего пребывания у консо отметил у них пять таких групп. Самая младшая, основанная 13 лет назад, называлась «Диргей-

⁴ K. E. Knutsson, Authority and change. A study of the Kallu institution among the Macha Galla of Ethiopia, Göteborg, 1967, p. 226.

та», она включала мужчин в возрасте от 22 до 35 лет. Вторая — «Гаша» — охватывала мужчин в возрасте от 35 до 48 лет. Третья — «Дорумфадда» — от 48 до 61 года, четвертая — «Гауваша» — от 61 до 74 лет, пятая — «Каилола» — от 74 лет и старше. Как видим, интервал в 13 лет между группами «харийя» четко соблюдался, так как предел, в котором варьирует возраст членов каждой группы — 13 лет.

Таким образом, возрастные группы «харийя» формируются с учетом реального возраста их членов. Никакой кровнородственной связи между группами нет. Они имеют определенные задачи, которые вполне соответствуют их возрастному составу. Зафиксировано столько же групп «харийя», сколько степеней в системе «джила».

Существует ли какая-либо связь между системой «джила» и системой «харийя»? Обе они к нашему времени под влиянием новых экономических условий видоизменились, хотя, конечно, сохранились элементы их первоначальной структуры и некоторые первоначальные функции.

Реконструировать детально систему «джила» в ее изначальной форме ввиду фрагментарности данных — весьма сложная задача. Можно предположить, что она аналогична системе «гада» у галла. Вероятно, она имела сходную структуру и была вполне «работоспособной». Изначальный вид системы «джила» кратко мы можем представить следующим образом. Система «джила» включала пять степеней: I — «Фарейта», II — «Кела», III — «Гада», IV — «Оршада», V — «Гурра». В каждой степени находились лица, составляющие возрастную группу «харийя», примерно одного возраста. В первой степени мальчики проходили обучение и не имели еще никаких социальных прав, но уже выполняли хозяйственные задачи. Во второй и третьей степенях группы «харийя» консо приобретали определенные социальные права и выполняли основные производственные и военные задачи. При переходе в четвертую степень члены группы подвергались обрезанию, что означало переход к социальной зрелости и тем самым давало право управлять всей жизнью общества. В последней, пятой степени системы «джила» группа становилась советом старейшин, обладавшим высшей законодательной властью.

Эта схема весьма условна, поскольку пока еще невозможно установить точный интервал между степенями и четко охарактеризовать функции групп в каждой из степеней. Кроме того, нет уверенности, что число степеней в системе «джила» изначально равнялось пяти. Весь цикл в 90 лет, как и интервал в 18 лет, слишком велик для пятистепенной системы и не может быть оправдан продолжительностью жизни людей, составляющих группы. 13 лет между формированием возрастных групп «харийя» — срок более реальный, хотя и он достаточно долог. Наиболее вероятен девятилетний период, как это отмечено у некоторых групп восточных консо. У галла, имевших также пятистепенную систему, интервал между переходами от степени к степени был восьмилетним.

Изначально, вероятно, степени «джила» формировались с учетом реального возраста членов каждой группы. Естественно предположить, что в обществе консо было не две социальные системы, как отметил Енсен, а одна система «джила», пять степеней которой последовательно проходили пять возрастных групп «харийя». Вступление в «джила» было обязательно для каждого члена общества с учетом его возраста, и переход от степени к степени «джила» осуществлялся регулярно через постоянный отрезок времени и означал повышение социального положения не отдельных лиц, а групп в целом. Нормой системы было сохранение постоянного интервала между двумя поколениями, отцов и детей, связь между которыми была не кровнородственной, а чисто возрастной. Задачей этой организации было распределение производственных функций между членами общества, что достигалось путем создания возрастных групп «харийя». В таком виде система «джила» действительно

могла регулировать социальную, политическую и религиозную жизнь консо, а также хозяйственный процесс.

Большой интерес для реконструкции первоначального вида системы «джила» представляют наблюдения Енсена, касающиеся положения женщин консо в системе «джила». Когда мужчина переходит в III степень системы, не только его сыновья вступают в I степень «Фарейта», но и старшая дочь. После соответствующей церемонии девочек забирают из родительского дома. Как и мальчики, они живут в отдельном доме, за ними наблюдают старшие мужчины высокого ранга по системе «джила» и держат их в строгости; с другими мужчинами девочки не имеют права общаться. Как и мальчики, девочки не могут выйти замуж вне системы «джила», на них также распространяется правило, предписывающее интервал между ними и их отцами в две степени системы, т. е. в 36 лет. Они выходят замуж, когда их отцы переходят в IV степень системы, а сами они — во II степень «Кела».

С замужеством женщины уже не переходят из одной степени «джила» в другую; о них не говорят, что они стали «кела» или «гада» (II и III степени системы «джила»). Но у женщин, даже замужних, есть свои, отдельные от мужчин праздники «джила».

Младшие сестры не входят в систему «джила». Они живут при матери и помогают ей в хозяйстве. Однако все девочки без исключения организованы в соответствии с их возрастом в группы «харийя»; они образуются через 13 лет одновременно с группой мальчиков. Мужчина может взять себе жену только из параллельной его собственной группы «харийя». Даже если его жена умерла или он берет вторую жену, то и в этих случаях вторая жена должна быть из той же группы «харийя», что и первая.

Аналогичное параллельное образование возрастных групп у мальчиков и девочек наблюдал Меркер среди масаев⁵.

Таким образом, мы видим, что система «джила» определяла время женитьбы и возраст невесты. Так охранялся принцип возрастного соответствия. Это еще раз показывает, что изначально вступление в систему проходило не по кровнородственному, а по возрастному принципу. В противном случае увеличивалась бы возможность браков между кровными родственниками.

Именно видоизменение первоначальных задач системы «джила», — переход от возрастного принципа ее формирования к кровнородственному при вступлении в систему — привело к тому, что в брак могли вступать члены «джила» от 36-летнего до детского возраста, что нельзя признать нормальным. Функционирующая система «джила» в наше время утратила четкость структуры, принцип вступления в нее изменился; со временем не возраст, а родство стало определять место человека в этой системе. Однако рудименты прежней формы еще сохранились. В частности, соблюдался интервал между поколениями в две степени, часть должностей все еще оставалась выборной. Однако общая задача пятистепенной структуры «джила» изменилась; на основе древнего права она теперь укрепляла, можно сказать, узаконивала право наследования власти и имущества отдельными лицами.

Повышение социального положения в различных степенях регулируется не выбором в соответствии с периодичностью системы, а правом наследования, что определяется соответствующими семейно-родственными отношениями, а не системой, в которой социальную роль должны выполнять не отдельные лица, а группы лиц. Налицо противоречие между структурой системы и ее функциями.

⁵ M. Merker Die Masai. Ethnographische Monographie eines ostafrikanischen Semitenvolkes, Berlin, 1904, S. 71.

В наше время уже нет полного соответствия между возрастными группами «харийя» и степенями «джила». Это значит, что нет соответствия между функциями и структурой системы «джила», между ее формой и содержанием. Внешняя раздвоенность организации, вероятно, и привела исследователей к неверной мысли о существовании в обществе консо двух совершенно различных социальных систем.

Представление о сосуществовании у консо двух различных социальных систем возникло также, видимо потому, что система «джила» разрушалась быстрее, чем возрастные группы «харийя», которые во времена Енсена обладали всеми внешними атрибутами прежней системы и по-прежнему главной их задачей было выполнение производственных функций. Однако исследователь отмечает, что определенная «харийя» была занята обработкой земли, хозяин которой был обязан кормить всю группу. «Харийю» таким образом, можно рассматривать как бригаду рабочих, взятых специально для обработки земли, находившейся в частном владении.

Сильнее сказалось разрушение «джила» на структуре степеней. В XX в. эти степени уже представляли собой систему рангов и служебных должностей. Вступление в систему стало способом для отдельных более влиятельных лиц продвинуться по социальной лестнице, приобрести титулы, поднять свой престиж и увеличить имущество. Каждый человек, достигший высокого положения, был заинтересован в том, чтобы передать все свои преимущества не чужим лицам, а своим сыновьям. Так, с укреплением собственности отдельных семей исчез демократизм, свойственный подобным системам в эпоху первобытнообщинного строя.

Подведем итоги. Объективной основой организации возрастных групп является разделение труда. В обществе с подобной социальной структурой именно возраст и пол определяли место и функцию каждого индивида в производстве и общественной жизни. Созданные по этому принципу группы представляли собой производственные коллективы с конкретной задачей, которую они выполняли в течение определенного возрастного периода. Это продолжалось до тех пор, пока возрастной фактор не передвигал всю группу на новую социальную ступень, где функции группы изменялись в соответствии с ее возрастным составом.



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

Б. Н. Путилов

ОСТРОВ ПЕСЕН (НА АТОЛЛЕ ФУНАФУТИ)¹

Атолл Фунафути — самый большой в группе островов Эллис. С палубы «Дмитрия Менделеева» сквозь утреннюю дымку едва проглядывали вытянутые по громадной дуге десятка три островков, связанных между собой цепью рифов. В северо-восточной части атолла длинным узким полукружием лежал низкий берег, казавшийся отсюда сплошь покрытым густыми рощами не по-обычному высоких кокосовых пальм. Это был Фунафути — единственный населенный остров атолла. В бинокль можно было разглядеть крыши хижин и белые домики.

Мы вошли в лагуну и бросили якорь в нескольких километрах от главного острова. Ощущение того, что мы в огромном замкнутом кольце, протянувшемся на десятки миль, приходило к нам с большим трудом. Было время отлива, и сверкающая под солнцем лагуна недвижной громадой, не дыша, лежала вокруг нас. Лишь легкий ветерок приносил на гладкую поверхность воды чуть заметную рябь.

С берега не было слышно ни звука.

Такой умиротворенной красоты и спокойной заброшенности нам в Океании, кажется, встречать еще не приходилось.

О людях атолла мы знали до высадки немного. Острова Эллис — английская колония; вместе с архипелагом Гилберта, лежащим к северо-западу, они образуют административную единицу с центром на атолле Тарава. Жители Фунафути — типичные полинезийцы, и язык их во многом близок к самоанскому.

Мы были первыми советскими людьми, с которыми предстояло познакомиться фунафутицам, для нас же представлялась счастливая возможность после Самоа увидеть другой вариант полинезийской культуры.

* * *

Всю неделю, предшествовавшую приходу «Менделеева» на Фунафути, меня мучила малярия. Хотя приступ прошел и температура упала, я ощущал сильную слабость, голова кружилась. Однако лежать в прохладной каюте стало просто невозможно, да к тому же я до сих пор не мог пережить, что ничего не увидел на Западном Самоа. Судовой док-

¹ Публикуя эту статью, редакция продолжает знакомить читателей с работой этнографического отряда, участвовавшего в 1971 г. в экспедиции на научно-исследовательском судне АН СССР «Дмитрий Менделеев». См. «Сов. этнография», 1972, № 2—4; 1974, № 2.

тор, видимо, понял мое состояние и на мой вопрос, могу ли я сойти на берег, ответил с улыбкой: «Если есть силы и желание, сходите». Я почти бегом отправился собираться и через десять минут, одетый для высадки, и, самое главное, с магнитофоном через плечо и достаточным запасом ленты, сидел в боте.

Мы вылезли на пустынный пирсе и, прежде чем идти в деревню, прошли вдоль берега в противоположном от нее направлении. Когда отсюда смотришь на лагуну, ощущение особенного, ни на что не похожего покоя и ласкающей истомы становится еще сильнее. Противоположный край атолла кажется тонкой темной ниточкой. Сплошная зелень кокосовых пальм и панданусов справа и слева почти вплотную подходит к голубой воде, их отделяют от нее несколько метров отмытого волной, сверкающего белизной песка да груды серых камней, между которыми копошатся желтые крабы. Несколько каноэ с аутригерами бесшумно скользят по лагуне — рыбаки отправились на утренний лов.

Дорога, обсаженная высокими — до 30 метров — кокосовыми пальмами и низкими раскидистыми панданусами, ведет нас вдоль берега, мимо деревенского кладбища, мимо огородов с посадками таро, мимо рощиц хлебного дерева, к довольно большой открытой площадке, на которой мы неожиданно замечаем следы войны: заросшие травой, полузасыпанные воронки от снарядов, остатки снаряжения, обветшавшие заграждения. Здесь была когда-то американская военная база.

Деревня Фонгафале протянулась несколькими рядами хижин километра на два, вся она укрыта в тени деревьев. Обсаженная деревьями «улица», по которой может проехать машина, собственно одна, остальные хижины разбросаны в глубине без какого-нибудь порядка. Они в основном двух типов. Одни совсем без стен, на коротких сваях, под крышами лежат свернутые циновки, которыми можно завесить проемы; другие имеют лишь невысокие (около метра) ограждения, а в верхней части, до самой крыши, совершенно открыты. Люди сидят на нарах, застеленных циновками, занимаясь каким-то делом либо просто отдыхая. В палящий полдень или в послеобеденные часы, проходя по деревне, можно видеть внутри хижин неподвижные фигуры хозяев. «Талофа, талофа!» — певуче окликают они проходящих. Доброжелательность, искренняя любезность и приветливость фунафутийцев проявляются сразу, после первой встречи с нами.

Фунафутийский быт прост, и традиционные моменты в нем переплелись с влиянием современной цивилизации. В хижинах нередко можно увидеть стол с табуретками или лавками вокруг него, деревянные или железные кровати с перинами, одеялами и подушками, но хозяева сидят на полу или на нарах и спят на циновках. Новое — это дань моде, свидетельство достатка; сложившегося образа жизни эта показная роскошь не затрагивает.

В женской одежде почти не осталось традиционных черт. Женщины постарше носят обычные юбки и блузки, девушки — платья, все из хлопчатобумажной материи или шелка и искусственных тканей. Зато многие мужчины ходят в пестрых лавалава — длинных, до пят, кусках материи, которыми они обкручивают себя, или длинных же светлых юбках, поверх которых надеты рубашки. Молодые ребята, юноши ходят в одних шортах. У молодых — стройные, гибкие, мускулистые фигуры спортсменов, хорошо развитые плечи, крепкие, сильные руки. Фунафутийцы постарше в большинстве полные, грузные, отяжелевшие, с круглыми лицами и порядочными животами.

Все разнообразие человеческих типов, лиц, одежд, характеров фунафутийцев открылось нам на вечернем празднике, который деревня устроила для экспедиции.

Уже совсем темно, когда мы высаживаемся на пирсе, голоса невидимых людей окликают нас, произносят традиционное «талофа», и мы идем



Рис. 1. Девушки — участницы танцев



Рис. 2. Молодежный ансамбль

в деревню. Начинается дождь, я укрываю магнитофон и сумку с лентами под плащ. Мы долго шлепаем по лужам, скользим, хватаясь друг за друга. В хижинах ни огонька — вся деревня ушла на праздник.

На большой площади — дом собраний (*таусоа*). Предварительно разувшись, мы заходим внутрь. Полы огромного зала устланы циновками. Зрители уселись вдоль барьеров, у колонн, подпирающих крышу. Отдельной группкой сидят вожди деревни и члены совета местного управления.

С двух сторон зала уже разместились певцы, музыканты, танцоры. Как нам объяснили, две группы представляют две части деревни — Алапи и Сенала.

Обе группы «артистов» совершенно одинаковы по составу. Позади, у стены, располагается хор — женщины подальше, мужчины ближе к центру зала. Несколько мужчин с сосредоточенным видом уселись вокруг большого ящика, покрытого циновкой. Мне уже приходилось ви-

деть такой барабан на других островах. Рядом юноша зажал в коленях блестящую жестяную канистру. Впереди хора лицами к центру сидят девушки. Поверх обыкновенных юбочек на них надеты юбки из раскрашенных полос тапы, широких пальмовых листьев и волокон, нейлоновые и простые трикотажные белые блузки украшены венками из листьев и цветов, к рукам выше локтей привязаны тесемками пучки листьев. На головах у них — громадные, в несколько рядов, венки из цветов. Такими же венками украшены головы многих участников хора и зрителей. Венки эти очень характерны для Полинезии, их можно встретить и на других островах, повсюду они символизируют праздник и служат выражением гостеприимства. Очень скоро они появляются и на наших головах.

Пока праздник не начался, девушки сидят в спокойных позах, переговариваясь и пересмеиваясь, с любопытством поглядывая на нас. Некоторые из них удивительно напоминают героинь Гогена, только вид у них более современный.

Начинается праздник. Группы Алапи и Сенала выступают поочередно. В каждом выступлении — две-три части, длящиеся по несколько минут. Весь праздник — это непрерывное соревнование, творческий спор двух коллективов. Постепенно мы замечаем, что и зрители — как на спортивных состязаниях — поделены на две части: одни представляют Сенала, другие Алапи, и все открыто болеет за своих. Сегодня, однако, случай особый — обе группы стараются показать все лучшее гостям, и каждая из них заинтересована не только в собственном успехе, но и в успехе «соперников».

По свистку ведущего хор Сенала медленно и громко запекает песню — широкую и спокойную. Поначалу выделяются мужские голоса. В какой-то момент раздается новый свисток, ритм песни переламинается, сидящие вокруг ящика мужчины начинают слаженно бить по нему, извлекая из него гулкое барабанное звучание. К этому присоединяются звенящие удары по канистре. Хор становится мощнее, а темп постоянно ускоряется, барабанщики дубасят по ящику изо всех сил. Все большее возбуждение охватывает певцов и музыкантов, плечи и грудь у них блестят от пота, лица сияют вдохновением. Ведущий вскакивает, дает новую команду свистом и криками, иступленно размахивает руками. Он явно хочет довести громкость и темп исполнения до немыслимого предела, и в тот самый момент, когда ему это, кажется, удастся, когда все вот-вот взорвется вокруг от грохота и невозможного напряжения, — пение внезапно обрывается и наступает на несколько мгновений полная тишина. А потом... потом резкий свист раздается на другой стороне зала и сильные красивые голоса заводят новую песню, которая тоже будет доведена до высшего накала и так же прервется, когда наши уши больше не в силах будут выдержать. И так весь вечер, почти без перерывов.

Девушки, когда начинается пение, сидят сначала, как бы не замечая происходящего, затем по свистку ведущего они поднимаются и начинают танец. Стоя на всей ступне на чуть согнутых ногах, они почти не делают движений ни вперед, ни в стороны. Главное в танце составляют неповторимая игра руками, повороты головы, легкие движения тела да смена выражений лиц. Сейчас, много времени спустя, когда я вспоминаю этот вечер, передо мной плывут, летят, разговаривают десятки светло-шоколадных девичьих рук, исполненных невыразимой грации и с такой полнотой передающих все, что содержалось в танце. Мы, не знающие языка жестов, воспринимаем их чисто эмоционально. Но, оказывается, у жестов есть свое устойчивое значение, и они могут читаться. Николаю Михайловичу Гиренко повезло: рядом с ним оказался фунафутиец, отлично знавший язык танцевальных жестов и сумевший тут же довольно подробно объяснить его. Самое интересное, что жесты не только изображают нечто вполне видимое, материальное — например, плывущие по небу облака или подымающуюся звезду, или море, — но и



Рис. 3. Девушки исполняют традиционный танец

целый мир отвлеченных понятий, чувств, если угодно определенных жизненных принципов. Вот вытянутая вперед правая рука — ладонью вниз — движется покачиваясь, словно по легким волнам: это жест дружбы, дружеских отношений; еще более высокая степень — сердечности, любви: большими пальцами обеих рук танцующие плавными движениями касаются попеременно груди и живота. Ладони рук легко касаются одна другой перед грудью пальцами, чуть покачиваясь: мир, единство, согласие.

И снова руки выбрасываются поочередно вперед, правая поднимается вверх, танцующие начинают слегка кружиться: это означает свободу, радостное веселье, если хотите — полет куда-то.

По мере того как темп песни учащается и хор звучит все мощнее, приближаясь к кульминации, девушки приседают все ниже, танец постепенно приобретает большее возбуждение и резкость движений. Заключительные жесты напоминают движение в нашем матросском танце: с легкими прыжками в сторону девушки словно тянут что-то снизу. Танец кончается под традиционную формулу — «сафенга малиа» («мы много сделали», «достаточно», «хватит») и троекратное тяжелое «хэ-хэ-хэ!».

Как только девушки начинают танцевать, выражения лиц их резко меняются — куда-то исчезают ленивое спокойствие и беззаботная томность, на смену приходит горячее возбуждение, глаза сияют, ослепительные зубы открываются в широких улыбках. Каждая из танцующих, не нарушая единого плана танца, играет свою, одной ей ведомую роль, создает какой-то свой неповторимый образ.

Должно быть, у танцев этих долгая история, и она равна истории народа, их создавшего. Они, конечно, восходят к древним обрядовым, магическим, культовым пляскам. Сами танцующие этих связей уже могут не ощущать, но они есть, потому что искусство танца здесь на острове передавалось из поколения в поколение в порядке бытовой традиции, а не через какую-то хореографическую школу; мастерство усваивалось естественно и органично. Чтобы так танцевать, не надо быть обученной танцовщицей, надо быть фунафутишкой, надо родиться и вырасти здесь на атолле...

Между тем хозяева объясняют нам содержание каждого танца и каждой сопровождающей его песни, и перед нами открываются неожиданные и невероятно интересные подробности.

Начинает коллектив Сенала. Хор обращается к гостям с русского корабля: «Мы рады встретиться с вами сегодня на нашем острове. Как хорошо, что вы приехали к нам, мы славим этот день встречи и желаем вам всего наилучшего». Это традиционный полинезийский политес. Песня придумана не сейчас, она хранится в памяти на подходящий случай. Все дело в конкретном исполнении, и нам кажется, что сейчас песня звучит особенно искренно и чисто.

Не будь сегодня здесь гостей, праздник начался бы несколько по-иному: люди из Сенала стали бы хвастать в песне своим искусством пения и танца и подсмеиваться над неумеками из Алапи, а те ответили бы им чем-нибудь в этом же роде. Сегодня, однако, прямой спор отставлен.

Во втором своем цикле хор Сенала поет о том, как двадцать восемь лет назад на Фунафути упали японские бомбы. Люди острова не могут забыть этот день — «печальный день бомбардировки Фунафути». «Я буду петь для того, чтобы все знали, что было, и чтобы это больше никого не застало врасплах». Для девушек в раскрашенных юбках и с венками на головах «печальный день» так далек и так нереален... Напрасно бы мы стали искать на их лицах во время соответствующей пантомимы следы тревоги, выражение серьезности темы. Играть суровую историю они не научились и переживать ее искренно не могут.

Хор Алапи запел песню о красоте острова Фунафути, о его пальмах, о недвижном покое лагуны, о том, что для жителей деревни нет ничего дороже этого маленького кусочка земли, затерявшегося в безбрежном океане.

Перед нами было искусство совершенно живое, связанное с сегодняшним миром островитян, выражавшее их строй чувств. Ничего архаического, стародавнего не было в словах песен. Чем дальше, чем интереснее и по-своему загадочнее оказывался тот мир поэзии, в который вводил нас праздник. Коллектив Сенала исполнил песню и пляс о Ноевом ковчеге. Певцы и танцоры Алапи ответили на это пантомимой о блудном сыне. На стороне Сенала прозвучала история борьбы Давида с Голиафом, группа Алапи исполнила библейскую историю о царе Иудейском. Ни в манере пения, ни в характере музыкального сопровождения, ни в танцах нельзя было заметить чего-то такого, что выделяло бы эти песни и пантомимы из общего ряда и отличало бы их по самому духу. Это было искусство насквозь мирское, языческое, живое. Откуда же такие темы?

Позднее нам изложили ту версию, объяснявшую их появление, которая, по-видимому, признается на острове всеми. Миссионерам, обращавшим фунафутийцев в христианство, среди других языческих обычаев, распространенных на острове, не нравились и танцы, и они попытались запретить их. Вот тогда-то якобы и родилась идея спасти традиционное искусство, привив ему содержание, которое не противоречит учению церкви. К сожалению, никто не помнит (либо не хочет вспоминать) истонного содержания старых плясок и танцевальных песен. По-видимому, в традиционную музыку постоянно вливались мелодии псалмов. Но искусство пантомимы изменилось мало, что же касается новых сюжетов, то не они подчинили себе традиционное полинезийское искусство, а напротив, оно само ассимилировало и трансформировало на свой лад сюжеты и идеи библейских сказаний и новозаветных историй. В сущности, безвестные фунафутийские поэты поступили с ними совершенно так, как это делали их предшественники в разных концах земли — они увидели здесь поэтический материал, который поддается свободной обработке и в котором открывается что-то близкое, интересное, свое.

Вот, например, как интерпретировался в поэтическом восприятии островитян-рыболовов новозаветный эпизод с призванием апостолов-рыбаков на Геннисаретском озере. Люди Алапи запели:

Слушай голос, голос жизни,
Сейчас мы с мелкого места идем на глубокое.
Послушай меня, не спеши,
Мы будем ловить рыбу всю ночь.
Дети мои, всю ночь
Мы прождали рыбу, но ничего не поймали,
Надо идти на другое место.
Мы пришли на другое место
И поймали очень много рыбы.
Надо позвать еще ребят,
Пусть они помогут вытянуть сети.

Мужчина, растолковывавший нам содержание песен, с некоторым смущением заключил: «Вообще-то это о святом Петре». А у меня явилась мысль, не связана ли эта пантомима в своих истоках с теми утраченными ныне магическими плясками, которые исполнялись перед отплытием на рыбную ловлю и которые должны были обеспечить богатый улов. История о рыбаках-апостолах явилась как бы посредствующим звеном между старой магической песней и пляской и современной песней-пантомимой, в которой рыбная ловля получила уже чисто поэтическое, я бы сказал, лирико-философское осмысление. И так почти во всем. Вот хор поет о том, как Агарь в пустыне не может напоить сына и является ангел со словами: «Не плачь, вот вода для твоего сына, вот она перед тобой, дай ему напиться, не бойся, это хорошая вода». В песне ничего не говорится о чудесном колодце, потому что фунафутийцы колодцев почти не знают, зато они очень хорошо знают цену воде, особенно хорошей: у каждой хижины в деревне стоят бочки, в которые бережно собирается дождевая вода. Они, разумеется, не страдают от жажды, пока у них есть кокосовые орехи, но понятно, почему мучения Агари и Измаила ими воспринимаются вполне «по-островитяньски».

В иных случаях библейский текст оборачивается для них высокой лирикой. Как вариации на тему «Песни песней» звучат стихи:

Твое лицо красиво, божественно,
Моя любимая,
Ты так прекрасна,
Что твое лицо можно сравнить только с лицом бога.

Вряд ли миссионеры одобрили бы философию, выраженную в следующих стихах:

Смотри, как прекрасно жить под солнцем.
Посмотри и запомни,
Потому что когда ты уйдешь из этого мира,
То этой красоты уже не увидишь.

Последний цикл, исполненный людьми Алапи, как говорится, под занавес, назывался «Пляс о звездах». К тому моменту, когда началось его исполнение, тропический дождь прекратился, и черное небо с огромными звездами повисло низко-низко над нами.

Мужской голос тихо, чтобы не мешать пению, переводил нам слова:

Знаменитая звезда есть на запад от острова.
Слышишь, поют цикады,
В ночи разносятся далеко голоса,
Но сегодня эта звезда уже не там,
Она на востоке,
Она указывает, где родился Христос:
Это Вифлеем,
Это звезда царя царей.

Смотри, как прекрасен Фунафути,
Сколько птиц спряталось в тени и спят.
Смотри, сколько лодок.
Настало время и тебе отправиться на своем каноэ.
Трое волхвов отправились смотреть,
Где царь родился.
Трое волхвов плывут в Вифлеем на лодках,
И ангелы сопровождают их.

Нет, стихи эти не из числа тех, что могут обрадовать миссионеров. Зато они многое говорят тем, кто хочет понять душу маленького островного народа. Еще недавно мир был замкнут для него кольцом атолла. Теперь границы его безмерно расширяются. У народа Фунафути есть своя история, и она неотрывна от истории человечества. Именно эта большая мысль ощущается в наивных и поэтических строках песни о безвестном фунафутийце, снаряжающем свое каноэ, чтобы отправиться вслед за волхвами в неведомый Вифлеем. Фунафути прекрасен, но нельзя жить одним только Фунафути. Должно быть, очень к месту была эта заключительная песня в тот дивный вечер, когда фунафутийцы на свой полинезийский манер знакомились с учеными и моряками из далекой страны.

В промежутках между танцами были речи. Один из деревенских вождей обращался к нам на певучем местном языке, моложавый фунафутиец тут же переводил по-английски, а наш капитан — по-русски. Полинезийцы умеют и любят говорить приветственные речи, они очень искусно соединяют привычные формулы гостеприимства с фразами, подсказываемыми конкретными обстоятельствами. На этот раз таким «обстоятельством» был советский корабль. Громадный белый красавец, видимо, произвел впечатление на островитян. Видимо, и люди с корабля им нравятся. Особенно поражает их множество женщин в составе экспедиции. Они не представляли себе, что женщины могут быть учеными. Наш добрый смех рассеивает их смущение. Встреча заканчивается тем, что капитан приглашает всех завтра на корабль.

К вечеру следующего дня все население деревни, за исключением совсем старых и самых маленьких, было у причала. Первые катера доставили на корабль школьников. Поднявшись по веревочному трапу на палубу, они поначалу жались друг к другу, сверкающие внутренности корабля ослепили их. Но очень скоро они освоились, расползлись по всему судну, и их потом пришлось извлекать из самых неожиданных мест.

Постепенно корабль заполнился гостями с острова.

На верхней палубе, после того как гостям показали кают-компанию, конференц-зал, машинный зал, лаборатории, штурманскую рубку, прокрутили несколько фильмов, состоялось торжество. Снова были песни и пляски, снова произносились речи, а в заключение один из вождей сказал: «Мы только сегодня с удивлением узнали, что в вашей стране нет кокосовых пальм. Мы привезли вам четыреста пятьдесят кокосовых орехов, чтобы каждый из вас мог показать их у себя дома».

Наутро мы снова в деревне. Людей мало — дети в школе, многие взрослые ушли на огороды, отправились ловить рыбу. Мы идем каменистым берегом. Громадные желто-белые раковины, выброшенные ночным приливом, сушатся на солнце, длинные «пальцы» на них обломаны. Женщины метут дворы у хижин, приветливо окликают нас. Заговариваем с несколькими девушками, оказавшимися поблизости, заводим разговор о песнях. Одна из них — Самола — немного понимает по-английски, во всяком случае, она быстро усваивает, чего я хочу, и уже минут через пять мы с Владимиром Николаевичем Басиловым сидим в окружении девушек и молодых женщин на веранде. Самола приносит

маленькую гитару (*укулеле*). У нее приятный густой низкий голос, у ее подруг — повыше.

Несколько часов провели мы на веранде, казалось, совершенно отгороженные от остального мира, целиком погруженные в мир девичьей фунафутийской песни. Раз а два-три неожиданно обрушивался тропический дождь, и шум его начинал перекрывать голоса поющих, но очень скоро снова приходила тишина, и мы слышали одну лишь песню. Перед нами разворачивалась как бы сюита из множества песен, все они были связаны одной темой — темой сегодняшнего Фунафути, в них поэтически чисто и непритязательно выражались настроения, лирические раздумья, ожидания молодых островитян. Это была поэзия повседневности, в ней нельзя было найти ничего, что выходило бы за пределы острова, она вся была замкнута в кольцо лагуны. ...Молодые люди плывут в каное по лагуне, любуясь ее красотой... Как прекрасен Фунафути с его высокими пальмами и яркими цветами... Скауты приехали с других островов и жгли на Фунафути лагерный костер... Девушки и юноши участвовали в постройке дома; по случаю окончания работы был устроен праздник.

Самола тут же называет даты, когда происходило то или другое событие. Жизнь на острове столь спокойна и однообразна, что любой случай становится событием и по поводу его слагают песню. В большинстве песен мир безоблачен и светел, и лирике их больше всего подходит определение созерцательной. Характеру слов вполне соответствуют и мелодии — нежные, слегка задумчивые, чуть-чуть тронутые печалью.

Есть и песни с конфликтным началом. Одну такую песню Самола излагает особенно подробно. К девушке приходит друг с дурными намерениями («Он нехороший, очень нехороший»), а потом идет к другой и той рассказывает все о первой...

Раздумывая над всем услышанным, я начинаю сопоставлять содержание фунафутийских девичьих песен с содержанием русских деревенских частушек и неожиданно обнаруживаю в тех и других немало общего. Главное, что их сближает, — это стремление поэтически запечатлеть самые обычные житейские ситуации, выразить девичий взгляд на происходящее, передать такие душевные движения, о которых никто не знает и знать не может. Форма спокойной, удивительно мелодичной, богатой переходами, как бы переливающейся песни очень соответствует и характеру полинезийцев, и окружающей их обстановке. Похоже, вместе с тем, что такие песни — явление сравнительно новое и что здесь не обошлось без влияния «западной» культуры. Ведь и укулеле в конечном счете, не говоря уже об обычных гитарах, — результат того же влияния. А без укулеле такие песни не поются.

Между тем мне хочется услышать что-нибудь более традиционное. Девушки, по моей просьбе, приводят пожилую полинезийку, и она, сначала смущаясь немного, поет мне колыбельную — «Спи, мой мальчик, мой дорогой...». Мне уже приходилось слышать колыбельные от женщин на Новой Гвинее, на Новых Гебридах, на Фиджи. Всюду в них звучат мотивы материнской любви и материнской заботы, тревоги, думы, а рядом с ними — неизменные мотивы сна, уговоры, повеления уснуть, спать... Различны слова и непохожи мелодии этих песен, но мне кажется уже, что, даже не зная слов, колыбельную всегда можно различить по какой-то особой нежности, по ни с чем не сравнимым ласково-повелительным интонациям.

Девушки слушают, слегка посмеиваясь. Сами они, конечно, уже не помнят, как им пели колыбельную, а то, что, может быть, скоро и они станут петь ее, пока не приходит в голову. Оглушительным смехом встречают Самола и ее подруги мою просьбу — вспомнить песни, которые они пели лет пять-шесть назад. Под непрерывный смех Самола пытаются воспроизвести детскую шуточную песню. «Мой Пепе, мой Пе-

пе», — начинает она, но всякий раз хохот буквально душит ее и не дает продолжить. Так и сохранились у меня на ленте эти повторяющиеся сквозь приступ хохота два слова, а след за ними — и всеобщий наш смех, долго раздававшийся на веранде.

Успокоившись, Самола показала нам одну детскую игровую песенку, в которой, собственно, слова не пелись на определенный мотив, а произносились речитативом. Самола и ее подруга уселись одна против другой и повели диалог, по ходу которого спрашивавшая касалась рук, щек, ушей, носа подруги, а под конец крепко вцеплялась ей в волосы и под всеобщий смех тянула голову вниз. Смысл игры, видимо, состоял в том, чтобы одной избежать такого финала, а другой — вовремя схватить за волосы.

Потом показали любопытную считалку. Девушки уселись в круг, выставив свои ноги. Под песню Самола стала считать по ногам и после каждого куплета отбрасывала чью-то ногу. Случайно, или так Самола подстроила, в конце концов осталась одна ее нога, она стала считаться с полом и в конце ловко передернула счет, чтобы выиграть.

Жаль, что недостаток времени не позволил нам поглубже заглянуть в этот совершенно неизведанный мирок детского полинезийского фольклора.

Девушки, совершив краткий заход в недавнее и уже такое далекое детство, снова вернулись к своим сегодняшним песням.

Кто же сочиняет их на этом острове? Задавать прямо этот вопрос моим новым знакомым я не стал, по опыту зная, что могу получить ответ вполне определенный, но далекий от реальности. Народная песня обладает удивительной способностью — она рождается как бы сама, она безлична, и каждый знающий ее считается одним из ее создателей. В наше время, однако, у песен все чаще появляются реальные авторы, и имена их как первотворцов какое-то время держатся в памяти окружающих.

На следующий день после встречи с Самолой и ее подругами мы снова сидели под сводами таусоа. На этот раз не было ни хора, ни танцоров, мы были гостями небольшого молодежного ансамбля. Юноши лет 18—20, типичные фунафутийцы, отлично сложенные, с красивыми открытыми лицами, белозубые, собрались в кружок. В руках у них — укулеле, гитары, мандолины. Владеют инструментами они превосходно. У них мягкие, несильные, типично «океанийские» голоса. В ансамбле несколько девушек, они явно робеют, и я специально прошу их петь громче, чтобы их чистые красивые голоса были слышны. Представляю, что где-нибудь у нас на концерте художественной самодеятельности — на самом высшем уровне — такой ансамбль имел бы громадный успех. И музыка, и слова, и манера исполнения удивительно гармонируют со всем тем, что окружает нас: с недвижной гладью лагуны, со скользкой вдали лодкой, с нависшими над хижинами верхушками кокосовых пальм, с атмосферой покоя и истомы.

Рядом со мной оказывается немолодой, интеллигентного вида, в длинной голубой юбке и белой кофте фунафутиец. На безукоризненном английском языке он сообщает мне сведения о спетых песнях. И уже первый его комментарий заставляет меня насторожиться. Песню, только что исполненную, я слышал вчера от девушек — это песня о красоте острова Фунафуту. Мой новый знакомый сообщает мне без всякого нажима: «Эту песню сложил житель Фунафуту по имени Тонгиа — участник ансамбля», — и он показывает на парня с мандолиной. Следующая песня — о поездке на рыбную ловлю — тоже принадлежит Тонгиа. А потом я записываю все новые и новые имена авторов песен, и почти все они сейчас находятся здесь в кругу. Я обращаю внимание на форму, в которую облекает мой переводчик сообщения об авторстве той или другой песни. «Это песня о цветущем дереве канава. Ее сложил

Теувини. Он думал о тени, которую бросает цветущее дерево». — «Эта песня сложена Менёуа с мыслями об очень маленьком острове в южной части океана, о деревьях, цветах и людях этого острова». — «Эту песню сложил Сингаитеава с мыслями о любви. Когда двое влюбленных расстаются, юноша складывает песню о своей возлюбленной, оказавшейся далеко от него».

Песня — непосредственное выражение мыслей и чувствований того, кто ее слагает, и самый процесс создания песни — это своеобразное осмысление какой-то ситуации, какого-то жизненного момента.

Передо мной сидели самобытные поэты-певцы. Любая из песен, исполненных ими, могла стать украшением концерта, прозвучать по радио и на пластинке.

Нетрудно было заметить известную однотипность музыкального материала, в котором причудливо соединились особенности традиционной полинезийской музыки с современной эстрадой. Песни фунафутийцев были составлены из мелодических блоков, варьируемых формул, искусно соединенных и обогащенных импровизацией. Некоторые мотивы казались мне знакомыми — похоже, я слышал их уже на Фиджи и на Самоа, но полного совпадения не было. Музыка этих песен одновременно «своя» и «общая», и в этом смысле творчество молодых фунафутийцев в принципе сходно с самодельным молодежным музицированием в других странах и на других континентах. Важно, что они нашли форму и стиль, позволяющие им полно выразить себя и сказать свое поэтическое слово об их родном острове.

Руководитель ансамбля — Лоту, юноша с огромной копной волос, закрывающей лоб, мастерски играет на всех инструментах. Ему принадлежит несколько прекрасных песен и в том числе песня, складывая которую, «Лоту думал о любви». Мысли юноши мой переводчик обобщил в словах: «Любовь — это очень хорошая вещь. Любовь — это очень плохая вещь».

Уровень мастерства и импровизаторские возможности ансамбля очень наглядно продемонстрировал один случай. В паузе между исполнением ребята попросили нас спеть что-нибудь. Мы с Басиловым спели на два голоса «А где мне взять такую песню». По-видимому, она понравилась, ребята быстро, но по-своему, восприняли мелодию, подобрали аккомпанемент, а мы попытались изложить ее содержание. Я почти уверен, что очень скоро в репертуаре ансамбля появится новое произведение, которое в чем-то будет напоминать нашу песню, но не станет ее простым повторением. Должно быть, не одна песня ансамбля появилась таким образом — путем трансформации в духе привычного стиля какой-то понравившейся чужой мелодии.

Итак, после превосходного танцевального коллектива — великолепный ансамбль музыкантов-певцов. И все это в одной деревне, соединенной с внешним миром тонкими нитями. Напряженный пульс художественной жизни Фунафути поражает даже после всего того, что нам пришлось увидеть и услышать в других местах Океании. О Фунафути можно с полным правом сказать как об острове песен. Его обитатели удивительно музыкальны. Но дело не только в природной одаренности и творческой активности островитян.

В таких случаях очень многое еще значит чья-то личная инициатива, чей-то организаторский талант, чья-то воля и энтузиазм, творческий пример. На Фунафути, похоже, все нити творческой жизни тянутся к одному человеку — к Тапу Ливи. Впервые мы увидели его в роли руководителя хоровой и танцевальной группы Сенала во время вечернего праздника. Казалось, он не замечал и не слышал ничего вокруг, кроме хора и девушек, исполнявших пляски. Обнаженный по пояс, в традиционной лавалава, толстый, обливаясь потом, он кричал своим певцам что-то, срывая голос, ожесточенно дирижировал одной рукой. На лице его вы-

ражалось вдохновение, он всякий раз доводил хор до изнеможения и сам вот-вот готов был, кажется, отдать последние силы, но проходили минуты паузы, начинался новый номер, и Тапу Ливи снова вел свою группу полный сил и творческого подъема.

Ансамбль Лоту, как постепенно выяснилось, тоже был обязан многим Тапу Ливи. А затем мы узнали, что Тапу Ливи и сам сочиняет и в сущности является настоящим и своеобразным композитором.

И вот мы в его доме. Тапу Ливи — вождь большесемейной общины, но по его жилищу это не видно. Никаких признаков, которые хоть как-то указывали бы на большой достаток, на обладание властью, на особый авторитет. Циновки на полу, простой сундук в углу, несколько семейных фотографий в общей рамке под стеклом. Молодая миловидная жена, веселая, смешливая, приносит вскрытые кокосовые орехи и эмалированные кружки. Позже, за обедом, на который нас приглашают остаться, она угощает нас традиционным полинезийским блюдом — вареными кусочками плодов хлебного дерева, таро и рыбы — с добавлением отварного риса.

Тапу Ливи в 1971 г. было сорок восемь лет. Он долго жил на Западном Самоа и оставил там свою первую семью, бывал на Фиджи. О богатстве, о деньгах Тапу Ливи говорит с откровенной неприязнью. Он убежден, что ничего хорошего деньги не приносят и что человеку нужно не богатство, а честное имя и душевное спокойствие. Тапу Ливи философски относится к жизни, видя в ее бесконечном разнообразии проявление единой закономерности. Ему присущ своеобразный пантеизм, который, видимо, является одним из источников его творчества. Тапу Ливи говорит, что к сочинению песни он приступает с мыслями о боге, который дает людям пищу, питье («Я имею в виду воду», — уточняет Тапу Ливи), жизнь. Однако в песнях его нет ничего собственно религиозного, он поет о жизни, о ее радостях, печалях, о ее проблемах. Аккомпанируя себе на укулеле, композитор поет песню, с которой, видимо, связаны у него особенно дорогие воспоминания: «Эту песню я сложил вскоре после войны. Я был молод тогда, моя подруга уехала на другой остров, и я пел о ней».

Следующая песня, которую исполняет Тапу Ливи, — «О бутылке вина». Передавать нам ее содержание он не стал: «Каждый понимает, о чем в ней говорится». В репертуаре композитора есть песни и иного содержания, указывающие на то, что социальные проблемы волнуют его. Горечью и глубоким сочувствием к страдающим людям пронизана его песня о деревне прокаженных на одном из островов Фиджи. Тапу Ливи услышал об этой деревне, когда был несколько лет назад на Фиджи. Любопытно, что пребывание на этом архипелаге, полном тропических красот, в местах, о которых не без оснований пишут и говорят как о земном рае, отозвалось в творчестве Тапу Ливи так драматически.



Рис. 4. Тапу Ливи

И на Фунафути композитор находит для своих песен не только темы светлые, радостные, и поет не только о запахе цветов, о рыбной ловле, о гостях острова. Одна из лучших его песен возвращает нас к временам войны. Лицо Тапу Ливи мрачнеет, когда он вспоминает об обстоятельствах, при которых была сложена эта давняя песня. «Это было в 1943 году, когда американцы явились сюда. Это песня о людях из Америки и о женщинах с нашего острова. Когда моряки высадились здесь, они пытались брать силой девушек из домов и увозить их в лес на машинах, чтобы делать там что-то дурное. Наши люди стали жаловаться, и командование должно было строго предупредить, что плохие люди будут наказаны».

В песне Тапу Ливи звучат горечь и негодование, он до сих пор не может забыть о нанесенных его мирному острову обидах.

Последние такты песни композитор донпевает под разноголосый шум бегутишек, бегущих из школы.

Как сочиняет Тапу Ливи свои песни?

К творчеству он относится исключительно серьезно. Песня для него — событие, он долго готовится к ее созданию, внутренне обдумывает, мы бы сказали, вынашивает ее. Слова песни он записывает, а мелодия, сложившись, живет в памяти, потому что нотной грамоты композитор не знает.

Во время пребывания «Дмитрия Менделеева» на Фунафути Тапу Ливи привязался к нам и не скрывал своих симпатий. Тронули ли его наш особенный интерес к искусству острова и внимание к его песням или вообще наш глубокий и явно бескорыстный интерес к самым различным сторонам жизни фунафутийцев, дружелюбие и уважительное к ним отношение — трудно сказать, но, кажется, впервые Тапу Ливи был по-настоящему растроган, прощаясь с советскими людьми, которых еще недавно совершенно не знал. Провожая нас, он сказал. «Сейчас я вернусь и начну обдумывать песню о гостях с русского корабля. А когда вы приедете в следующий раз, мы покажем вам танец, посвященный вашему пребыванию на острове».

Катер отходит от нашего судна. На корме — Тапу Ливи, в своей неизменной цветистой лавалава, босой, обнаженный по пояс, с венком из цветов на голове, подняв руку в прощальном приветствии, задумчиво смотрит на нас. Дни, проведенные с нами, отзовутся в песне. Какой она будет?

ПЯТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОКЕАНИСТОВ И АВСТРАЛОВЕДОВ

18—19 декабря 1973 г. в Москве состоялась пятая всесоюзная конференция океанистов и австраловедов¹. В своем вступительном слове заместитель председателя Советского тихоокеанского комитета АН СССР К. В. Малаховский отметил, что за два года, прошедших со времени предыдущей конференции, гуманитарные исследования Австралии и Океании получили в нашей стране дальнейшее развитие: опубликованы новые интересные работы, защищены несколько докторских и кандидатских диссертаций, группа ученых-гуманитариев приняла участие в 6-м экспедиционном рейсе «Дмитрия Менделеева». Советские ученые начали подготовку к XIII Тихоокеанскому научному конгрессу, который состоится в 1975 г. в канадском городе Ванкувере.

Из 22 докладов, представленных на конференцию, половина была прочитана сотрудниками Института этнографии АН СССР: москвичами В. П. Алексеевым, М. В. Крюковым, К. Ю. Мешковым, П. И. Пучковым, Г. Г. Стратановичем, Д. Д. Тумаркиным, Я. В. Чесновым, М. А. Членовым, ленинградцами — В. Р. Кабо, Л. Г. Розиной, И. К. Федоровой.

Доклад В. П. Алексеева был посвящен положению австралийцев в расовой систематике. Анализ генофонда австралийских аборигенов свидетельствует об их длительном развитии в условиях изоляции. По археологическим данным, эта изоляция продолжалась 25—30 тыс. лет. К началу этого периода и к более раннему времени относятся палеоантропологические аналогии австралоидному краниологическому комплексу признаков, обнаруженные в Африке. Это заставляет думать, что предки австралийцев пришли на пятый континент из Восточной Африки и Передней Азии. По отношению к западному европеоидно-негроидному стволу австралоиды занимают положение протоморфного варианта.

Тема доклада В. Р. Кабо — «Место тасманийцев на шкале развития общественных форм». Проанализировав обширный материал, рассеянный по многочисленным, зачастую малозвестным публикациям прошлого столетия, автор предложил свою концепцию по этому вопросу. Он считает, что тасманийцы представляют тот этап общественного развития, который был достигнут человечеством в эпоху позднего палеолита. Тасманийцы развивались в условиях почти полной изоляции вплоть до европейской колонизации, а потому данные об их общественных отношениях могут быть использованы при исследовании общих закономерностей истории первобытности, главным образом на стадии верхнего палеолита. В докладе были рассмотрены такие структурные единицы тасманийского общества, как локальные группы и семьи, племена и лингвистические общности.

Я. В. Чеснов в докладе о происхождении земледелия в Океании проанализировал эту проблему в связи с этногенетическими процессами, которые протекали в Юго-Восточной и Восточной Азии. Современные исследования показывают, что предки малайско-полинезийских народов, обитавшие на материке Азии, были, несомненно, знакомы с земледелием, причем с возделыванием не только корнеплодных и клубнеплодных культур, но также просяных и риса. Установлено, что рис в Микронезии (о-в Гуам) был известен еще до появления здесь европейцев. Вместе с тем накапливаются данные о том, что Меланезия была в древности одним из центров одомашнивания растений, прежде всего сахарного тростника.

В докладе П. И. Пучкова «Этноязыковые проблемы в Океании» подчеркивалась сложность задач культурного и национального строительства, которые встанут и будут вставать перед океанийскими странами по мере достижения ими независимости. Для многоязычных стран Океании важное значение имеет выбор языка межгруппового общения, который со временем должен превратиться в национальный язык. В одноязычных странах остро стоит вопрос об адекватном литературном развитии местного языка. Вопрос о выборе или развитии национального языка находится в тесной связи с

¹ О предыдущих конференциях см.: «Сов. этнография», 1968, № 6; 1969, № 5; 1970, № 6; 1971, № 5.

интеграционными и консолидационными процессами, идущими в настоящее время в Океании.

Д. Д. Тумаркин сделал доклад «Фунафути: опыт этносоциологического исследования». Доклад был основан на полевых материалах, собранных во время экспедиции 1971 г. на «Дмитрий Менделеев». Остановившись на основных проблемах истории населения этого атолла, автор перешел к характеристике хозяйства и социальной организации современных фунафутийцев. Он, в частности, отметил, что основным источником денежных поступлений (более важным, чем продажа копри) стали заработки мужчин, работающих по контракту в фосфоритовых карьерах о-вов Науру и Ошен. Докладчик рассказал о встречах с Тапу Ливи — вождем одной из местных большесемейных общин, оригинальным мыслителем и композитором-самородком. Как сообщил Д. Д. Тумаркин, в 1972 г. на Фунафути обрушился ураган, который причинил огромный ущерб жителям атолла и способствовал дальнейшему подрыву их самобытного жизненного уклада.

М. В. Крюков выступил с докладом «Кризисные демографические ситуации и возникновение „гавайских“ систем родства в Океании». На основе анализа данных по океанийским системам родства, собранных во время экспедиции на «Дмитрий Менделеев», автор выдвинул гипотезу о двух путях трансформации первоначальной «гаврайской» системы. Один из них ведет к возникновению «коллатерально-раздвоенных» терминологий (папуасы Берега Маклая), другой — к системам «гавайского» типа (меланезийцы острова Эроманга). Второй путь развития связан с аномальными, кризисными ситуациями, следствием которых является вынужденная эндогамия.

Доклад И. К. Федоровой был посвящен рассмотрению астрономических познаний полинезийцев и анализу особенностей календарных циклов, в соответствии с которыми строилась вся жизнь островитяни. Полинезийцы издавна вели наблюдения за небесными светилами, которые служили им ориентиром как в пространстве, так и во времени; знакомы им были и зодиакальные созвездия. Счет времени велся как по земледельческому, так и по лунно-солнечному календарю. Рассмотрение названий календарных месяцев подтверждает вывод археологов о том, что заселение Полинезии шло с запада на восток. Этимология этих названий показывает, что зона наиболее тесных межостровных контактов лежала между 10° и 15° ю. ш. (о-ва Тонга, Самоа, Токелау, Хорн, Кука, Маркизские).

К. Ю. Мешков в своем сообщении остановился на ряде культурных параллелей между Океанией и Юго-Восточной Азией, а также высказал соображения по поводу возможности утраты некоторых культурных достижений в процессе заселения Океании. Г. Г. Стратанович охарактеризовал элементы материальной культуры (в частности обогриваемую лужанку «кан»), которые, по его мнению, свидетельствуют о древних миграциях из островного мира в Юго-Восточную Азию и южные районы Восточной Азии. В докладе М. А. Членова рассматривался ряд аспектов культуры, языка и традиционной социальной организации населения Восточной Индонезии, противопоставляющих этот район западноиндонезийским областям и сближающих его с меланезийско-новогвинейской областью. В центре внимания докладчика находился «какихан» — единственный тайный мужской союз на территории Юго-Восточной Азии.

Л. Г. Розина сделала доклад «В. В. Святловский — собиратель коллекций по Австралии и Океании». Ученый-экономист и общественный деятель, В. В. Святловский был отправлен в зарубежную командировку с задачей приобретения коллекций для Музея антропологии и этнографии (МАЭ). Он успешно справился с поставленной перед ним задачей и в 1908 г. привез в этот старейший русский музей около тысячи экспонатов из Австрало-Океанийского региона, Америки, Африки и с острова Цейлон. Примерно половина его приобретений относится к Австралии и Океании. Среди них такие ценные экспонаты, как крупные резные панно домов собраний маори, орудия, применявшиеся гавайцами при изготовлении тапы, обрядовые маски и сигнальный барабан с Новой Гвиней, маски членов тайных союзов с Новых Гебрид и др. Значительный интерес представляют многочисленные письма В. В. Святловского, хранящиеся в МАЭ. В них содержатся яркие зарисовки культуры и быта посещенных им народов, дается характеристика ряда этнографических музеев Западной Европы, Америки и Океании.

В. П. Николаев (Ин-т востоковедения АН СССР) выступил с докладом «Проблемы интеграции Тихоокеанских островов». Он отметил, что независимые и самоуправляющиеся страны Океании проводят активную политику, направленную на достижение экономической независимости, социальное обновление, развитие культуры и народного образования. Западное Самоа, Науру, Тонга, Фиджи и о-ва Кука создали несколько региональных межправительственных организаций: Тихоокеанскую производственную ассоциацию (куда, кроме них, входят Ниуэ, о-ва Гилберта и Эллис), Бюро экономической кооперации и Южнотихоокеанский форум, на котором обсуждаются политические и экономические проблемы, общие для всей Океании. Эти органы все более укрепляются в организационном отношении и со временем могут стать эффективными инструментами социально-экономического и политического развития тихоокеанских островных государств. Кроме того, освободившиеся страны ведут наступательную политику в организациях региональной интеграции, созданных метрополиями (Южнотихоокеанская комиссия, Южнотихоокеанская конференция) и пытаются перестроить работу этих органов так, чтобы их деятельность больше отвечала насущным потребностям коренного населения Океании.

Доклад Л. Г. Стефанчук (Ин-т востоковедения АН СССР) был посвящен просвещению в Папуа — Новой Гвинее, которая 1 декабря 1973 г. получила внутреннее самоуправление и в ближайшее время должна стать независимым государством. Система просвещения, введенная здесь в прошлом десятилетии австралийской колониальной администрацией, страдает серьезными недостатками. Так, не сбалансировано число мест в высшей, средней и начальной школе, характер обучения слабо увязан с особенностями социально-экономического развития страны, что затрудняет трудоустройство молодежи, не решена задача соединения общего и профессионального образования. Более того, значительная часть детей вообще не охвачена школьным обучением. Понимая значение просвещения и подготовки национальных кадров для упрочения независимости и дальнейшего развития страны, правительство самоуправляющейся Папуа — Новой Гвинеи прилагает большие усилия для преодоления отставания в этих вопросах.

Значительное внимание на конференции было уделено различным аспектам деятельности лейбористского правительства, находящегося у власти в Австралии с декабря 1972 г. И. А. Лебедев (Ин-т мировой экономики и международных отношений АН СССР) проанализировал внешнюю политику этого правительства, а В. И. Иванов (Ин-т востоковедения АН СССР) — его меры в области экономики. О. В. Жарова (Ин-т востоковедения АН СССР) сделала сообщение об австралийско-китайских отношениях на современном этапе.

В. Б. Якубовский (Ин-т мировой экономики и международных отношений АН СССР) рассмотрел в своем выступлении основные направления в политике крупнейших империалистических держав в бассейне Тихого океана, осветил новые формы и методы их экономической экспансии в этом районе, остановился на перспективах борьбы между ними за местные рынки сбыта, источники сырья и сферы приложения капитала. В. Л. Резников (Ин-т востоковедения АН СССР) представил доклад «Японо-западногерманские экономические отношения: соперничество и партнерство».

В конференции приняли активное участие филологи-австраловеды. М. Г. Андреева (МГУ) рассказала об австралийской балладе и ее роли в становлении национальной поэзии. О. В. Радзевич (Минский педагогический ин-т) проанализировала роман К. Герберта «Каприкорния» — выдающееся произведение австралийской литературы 1930-х годов. Б. Я. Чабан (Донецкий политехнический ин-т) осветил пути развития послевоенного австралийского романа (1946—1966 гг.), а А. С. Петриковская (Ин-т востоковедения АН СССР) охарактеризовала наиболее интересные произведения этого жанра, опубликованные в Австралии в последние годы.

В заключение был показан цветной документальный фильм «Фунафути», снятый участниками экспедиции на «Дмитрии Менделееве» В. Н. Басиловым (Ин-т этнографии АН СССР).

Пятая всесоюзная конференция океанистов и австраловедов в целом отразила возросший научный уровень советских гуманитарных исследований Австралии и Океании. Но, к сожалению, на ней не были представлены быстро развивающиеся научные центры Сибири и Дальнего Востока, не было докладов по собственно лингвистической проблематике.

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником.

Д. Д. Тумаркин

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУППЫ ОНОМАСТИКИ ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР

В 1967 г. в Институте этнографии АН СССР была создана Группа ономастики. В настоящее время она является одним из ведущих центров ономастических исследований в нашей стране. Своими успехами Группа ономастики прежде всего обязана организаторским способностям и неукротимой энергии В. А. Никонова.

Ономастика по своей проблематике тесно связана с этнографией: ономастика и проблемы этногенеза народов, ономастика и формы социальной организации, ономастика и этнические процессы... Сегодня уже совершенно ясно, что решение этих и многих других теоретических и практических проблем и задач этнографии невозможно без широкого привлечения материалов ономастики в целом или отдельных из ее отраслей — этнонимики, антропонимики, топонимики, теонимики, космонимики и других.

С первого дня своего создания Группа ономастики Института этнографии обратилась к изучению наименее разработанной области ономастики — этнонимии. На заседаниях Группы были зачитаны доклады по истории многих этнонимов¹. Эти доклады, а также

¹ Р. Ш. Джарылгасинова, М. В. Крюков, А. В. Суперанская, М. А. Членов, Новые исследования по ономастике, «Сов. этнография», 1968, № 1, стр. 165—166.

исследования других ученых, связанных с Группой, и составили ядро первого в мировой и советской ономастической науке сборника «Этнонимы» (ответственный редактор В. А. Никонов)², целиком посвященного проблемам этнонимии. Сборник открывает статья В. А. Никонова «Этнонимия», в которой автор ставит ряд теоретических вопросов. Так, определяя пути дальнейшего исследования этнонимии, В. А. Никонов пишет: «Анализ происхождения этнонима — одна из важных задач этнонимии, но не единственная и не главная... Этнонимика исследует всю историю этнонимов, для нее все изменения столь же драгоценны, как и первичная форма, — они красноречивые свидетели истории. Этнонимика — изучение функционирования этнонимов и судьбы каждого как звена их системы, т. е. анализ движения их системы в целом и ее современного состояния, к нему исследователи еще не приступили»³.

Сборник получил положительные отклики в советской и зарубежной литературе. Так, Э. Эйхлер писал в своей рецензии: «Этот сборник, посвященный наименее изученной отрасли ономастики, найдет много внимательных читателей не только в СССР, которые благодарно подхватят эту инициативу»⁴.

Уже в первых работах по этнонимике внимание исследователей привлекли не только конкретные этнонимы, но и вопросы теории и методологии науки в целом (Е. В. Ухмылина, В. А. Никонов, М. В. Крюков, Г. Г. Стратанович, М. А. Членов, И. Х. Абдуллаев, К. Ш. Михайлов, Р. Г. Кузеев, В. В. Пименов, В. В. Федоров, Я. В. Чеснов и другие)⁵.

Перед этнонимикой стоит ряд важнейших задач, требующих скорейшего разрешения: более четкое выделение различных категорий этнонимов, уточнение терминологии, разграничение этнонимов и других имен собственных, выработка таксономической системы для классификации этнонимов различного типа.

Наряду с этнонимией одним из ведущих направлений исследований Группы ономастики стала антропонимия, ее история, закономерности развития, практические задачи современности. Теоретическим введением в эту проблематику при создании группы явился доклад В. А. Никонова «Личное имя — социальный знак» (1966), опубликованный затем на страницах журнала «Советская этнография»⁶. Группа ономастики выступила как инициатор и как один из ведущих организаторов Всесоюзного совещания «Личное имя (проблемы антропонимии)», которое состоялось в Москве в апреле 1968 г.

Совещание, подготовленное Институтом этнографии совместно с Институтом языкознания АН СССР и отделом ЗАГС юридической комиссии при Совете Министров РСФСР, явилось значительным научным событием⁷. Совещание отразило широкий размах антропонимических исследований практически во всех союзных и автономных республиках нашей страны.

Материалы совещания опубликованы в специальном сборнике⁸.

Широко развернувшиеся в нашей стране исследования по антропонимике создали возможность приступить к подготовке энциклопедического справочника «Личные имена у народов мира» (ответственный редактор М. В. Крюков). В 1970 г. группа ономастики выпустила пробный сборник⁹, в котором были опубликованы шесть статей по ан-

² «Этнонимы», М., 1970.

³ В. А. Никонов, Этнонимия, Сб. «Этнонимы», стр. 30.

⁴ E. Eichler, Ethnopolyme, «Deutsche Literaturzeitung», Berlin, 1971, № 9, S. 749—751; см. также рец. Дж. Б. Логашевой в журнале «Сов. этнография», 1972, № 3, стр. 174—176.

⁵ Е. В. Ухмылина, Названия жителей Кочубеевщины, сб. «Ономастика Поволжья. Материалы I Поволжской конференции по ономастике», Ульяновск, 1969, стр. 250—257; ее же, Названия и прозвища русского населения Горьковской области, сб. «Этнонимы», стр. 255; В. А. Никонов, Указ. раб.; М. В. Крюков, Об этнической картине мира в древнекитайских письменных памятниках II—I тыс. до н. э. (к проблеме корреляции понятий этническая общность — этноним), Там же, стр. 34—45; Г. Г. Стратанович, Проблема «скользящих этнонимов», Там же, стр. 51—60; М. А. Членов, О некоторых индонезийских этнонимах (к вопросу об этнонимической классификации), Там же, стр. 87—102; И. Х. Абдуллаев, К. Ш. Михайлов, К истории дагестанских этнонимов *лезг* и *лак*, сб. «Этнография имен», М., 1971, стр. 13—25; Р. Г. Кузеев, Опыт исторической стратификации родоплеменной этнонимии башкир, сб. «Ономастика Поволжья — 3. Материалы III Конференции по ономастике Поволжья», Уфа, 1973, стр. 9—21; В. В. Пименов, В. В. Федоров, Удмуртские и марийские названия народов Поволжья, Там же, стр. 22—26; Я. В. Чеснов, Название народа: откуда оно? «Сов. этнография», 1973, № 6, стр. 135—146.

⁶ В. А. Никонов, Личное имя — социальный знак, «Сов. этнография», 1967, № 5.

⁷ Итоги совещания были широко освещены как в советских, так и в зарубежных изданиях. См.; например: R. S. Džarylgasinoва, M. V. Krjukov, Die erste Allunionsberatung zum Thema «Eigennamen», «Demos», Berlin, 1969, No. 3, S. 290—294; N. Zhukovskaja, O. Molchanova, Paper on orientology of the anthroponymic conference «Personal Names», «Acta Orientalia», vol. 22, No 2, Budapest, 1969, p. 277—281.

⁸ «Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. Проблемы антропонимии», М., 1970.

⁹ «Имена у народов мира. Материалы к справочнику», М., 1970.

ропонимическим системам народов, относящихся к различным языковым группам. Здесь были охарактеризованы системы имен исландцев (Г. И. Анохин), китайцев (М. В. Крюков), латышей (В. Сталмане), румын (П. Васченко), таджиков (А. Гафуров) и калмыков (В. П. Дарбакова). В сборник вошла также работа В. А. Никонова, в которой поставлен ряд общих проблем антропонимики¹⁰. В настоящее время ведется работа по подготовке полного справочника «Личные имена у народов мира». Необходимость подобного издания диктуется обстоятельствами двоякого рода. Во-первых, практической потребностью дать читателю сумму основных сведений о характерных особенностях личных имен, бытующих у народов мира, различных по языку, социально-экономическому строю, культуре и традициям. По мере расширения международных контактов и налаживания постоянных связей между различными странами потребность в этом ощущается все более остро. Поэтому в статьях справочника много места будет отведено не только характеристике имен, но и различным формам обращения, т. е. способам употребления личных имен в процессе общения людей. Во-вторых, подготовка подобного сборника, в котором будут систематизированы материалы по различным антропонимическим моделям, позволит сделать некоторые теоретические выводы о структуре и функциях личного имени как социального явления¹¹.

Особое значение данные антропонимики приобретают в наши дни в связи с расширением работ по темам: национальные и культурные взаимодействия, этнические процессы как в нашей стране, так и за рубежом. В помощь этнографам, изучающим антропонимические процессы у народов Советского Союза, Группой подготовлен «Вопросник по антропонимике» (И. С. Гурвич, Б. О. Долгих, Т. Б. Долгих, В. А. Никонов).

Теоретическим проблемам и практическим задачам антропонимики посвящена недавно вышедшая в свет монография В. А. Никонова¹².

В области топонимики наибольшее внимание исследователей привлекла проблема связи топонимии и исторической географии. С докладами по этой проблематике участники Группы (И. В. Власова, С. С. Губаева, А. Н. Деметьева-Лескинен, Р. Ш. Джарылгасинова, М. А. Членов) выступили на XI Международном конгрессе по ономастике (София, 1972 г.)¹³. Важный вопрос о связи топонимии с этнонимией удачно освещен в диссертации С. С. Губаевой «Этнонимы в топонимии Ферганской долины»¹⁴.

В изданиях, подготовленных Группой ономастики, было обращено особое внимание на необходимость разработки и других разделов ономастической науки: таких, как теонимия, зоонимия, космонимия, ктематонимия¹⁵.

С выходом в свет в 1971 г. сборника «Этнография имен»¹⁶ мы можем говорить о зарождении и оформлении нового научного направления — этнической ономастики. Важность этнографического аспекта изучения имен собственных была блестяще показана В. А. Никоновым на примере ономастики Украины и Средней Азии¹⁷.

За прошедшие годы Группа ономастики Института этнографии АН СССР стала всеоюзным ономастическим центром. И дело не только в том, что в трудах Группы активно участвуют многие ученые союзных и автономных республик, краев и областей нашей страны. Группа является одним из организаторов всесоюзных и региональных ономастических конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров. Традиционными стали конференции по ономастике Поволжья: первая состоялась в 1967 г. в Ульяновске, вторая — в 1969 г. в Горьком, третья — в 1971 г. в Уфе; четвертая — в 1973 г. в Саранске¹⁸. Пятую конференцию по ономастике Поволжья намечено провести в г. Пензе.

¹⁰ В. А. Никонов, Системы личных имен, сб. «Имена у народов мира», стр. 39—50.

¹¹ «Имена у народов мира. Материалы к справочнику», стр. 3.

¹² В. А. Никонов, Имя и общество, М., 1974.

¹³ Р. Ш. Джарылгасинова, XI Международный конгресс по ономастике, «Сов. этнография», 1973, № 4, стр. 163—165.

¹⁴ С. С. Губаева, Этнонимы в топонимии Ферганской долины, Автореф. канд. дис., М., 1973.

¹⁵ См., например: Н. Ф. Мокшин, О мордовской и марийской теонимии, сб. «Личные имена в прошлом, настоящем, будущем», стр. 329—334; Г. Ф. Фельде, Зоонимы Гюлькябасского района Чимкентской области, сб. «Этнография имен», стр. 237—239; Д. К. Нуржанова, Казахская космонимия, Там же, стр. 234—236; А. Л. Василевский, Некоторые вопросы ктематонимии, Там же, стр. 240—245; В. А. Никонов, Космонимия Поволжья, сб. «Ономастика Поволжья — 3», Уфа, 1973, стр. 373—381.

¹⁶ См. рецензии на сборник: И. Г. Добродорова в «Вопросах языкознания», 1972, № 4, С. А. Арутюнова в «Сов. этнографии», 1972, № 6.

¹⁷ В. А. Никонов, Этнография и ономастика (на материале Украины), «Сов. этнография», 1971, № 5, стр. 25—36; его же, Этногенез народов Средней Азии и ономастика, «Всесоюзное археолого-этнографическое совещание по итогам полевых исследований 1972 г. Тезисы докладов и сообщений по этнографии». Ташкент, 1973, стр. 84—85.

¹⁸ Р. Ш. Джарылгасинова, М. В. Крюков, А. В. Суперанская, М. А. Членов, Указ. раб., стр. 167—168; Н. Л. Жуковская, М. А. Членов, II Поволжская конференция по ономастике, «Сов. этнография», 1970, № 3; И. В. Власова, Т. П. Федянович, III Поволжская конференция по ономастике, «Сов. этнография», 1972, № 3; З. Г. Урақсин, Р. З. Шакулов, III Поволжская конференция по ономастике, «Сов. тюркология», Баку, 1971, № 6; Т. П. Федянович, IV Конференция по ономастике Поволжья, «Сов. этнография», 1974, № 2.

Материалы трех первых конференций были опубликованы¹⁹. Материалы четвертой конференции по ономастике Поволжья находятся в печати.

Обращение к исследованию ономастики Поволжья не случайно. Поволжье как историко-культурный регион, с его своеобразной этнической историей и сложной лингвистической ситуацией, представляет огромный интерес и для этнографов, и для специалистов по ономастике.

Понимание важности и актуальности изучения ономастики народов Средней Азии и Кавказа побудили Группу провести в 1969 г. в Самарканде Межреспубликанский семинар по ономастике²⁰, а в 1971 г. в Махачкале Кавказский ономастический семинар²¹.

В работе Группы ономастики ИЭ АН СССР особое место занимают проблемы, связанные с изучением ономастики Востока (как советского, так и зарубежного). На XI Международном конгрессе по ономастике отмечалось, что в области изучения ономастики Востока Группа ономастики Института этнографии АН СССР стала одним из крупнейших научных центров в мире. Подготовлены находящиеся в печати два сборника — «Ономастика Востока» и «Ономастика Средней Азии».

По инициативе В. А. Никонова, 12 советских ученых-востоковедов выступили на страницах журнала «Народы Азии и Африки» с предложением о созыве Международного конгресса по ономастике Востока²².

Группа теснейшим образом связана с исследователями в области ономастики как в нашей стране, так и за рубежом (в МНР, Болгарии, Румынии, ГДР, Чехословакии и др.).

Учитывая огромный вклад В. А. Никонова в развитие советской и мировой ономастики, Международный комитет ономастических наук при ЮНЕСКО избрал его в 1972 г. своим почетным членом.

Перед группой ономастики стоит много важных еще не решенных задач: дальнейшая разработка вопросов теории и методологии, а также дальнейшее развитие исследований в тех областях науки, которые наиболее тесно связаны с этнографией.

Р. Ш. Джарылгасинова

¹⁹ «Ономастика Поволжья. Материалы I Поволжской конференции по ономастике», Ульяновск, 1969; «Ономастика Поволжья — 2. Материалы II Поволжской конференции по ономастике», Горький, 1971; «Ономастика Поволжья — 3». Материалы III Конференции по ономастике Поволжья», Уфа, 1973.

²⁰ Р. Ш. Джарылгасинова, Межреспубликанский семинар по ономастике, «Сов. этнография», 1969, № 4.

²¹ Дж. Б. Логашова, Кавказский ономастический семинар, «Сов. этнография», 1971, № 6; З. У. Блягоз, Кавказский ономастический семинар, «Филологические науки», М., 1972, № 1.

²² О Международном конгрессе по ономастике Востока, «Народы Азии и Африки», 1972, № 4, стр. 232—233.

ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ П. Г. БОГАТЫРЕВА

В Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии секцией фольклора с 1972 г. стали ежегодно проводиться Чтения памяти П. Г. Богатырева. Последнее публичное выступление ученого состоялось в этом научном учреждении на конференции «Историческое развитие народного театра»¹.

Первая серия Чтений прошла в ноябре 1972 г., вторая — в ноябре 1973 г.

Первые Чтения были посвящены теме «Драматические формы народных обрядов». Во вступительном слове В. Е. Гусев (Ленинград) рассказал об откликах на кончину П. Г. Богатырева в советской и зарубежной прессе, уделив особое внимание статьям, опубликованным в Чехословакии — стране, с которой особенно тесно была связана деятельность ученого, являвшегося почетным доктором Пражского и Братиславского университетов. Охарактеризовав вклад П. Г. Богатырева в фольклористику, В. Е. Гусев подчеркнул, что многие проблемы, разрабатывавшиеся ученым, такие как сравнительно-историческое изучение различных видов народной культуры, закон возрастания эстетических функций в обрядовом фольклоре при постепенной утрате им магических функций, различение так называемой «активной» и «пассивной» коллективности в процессе создания фольклорных произведений и т. д. до сих пор сохранили свою ценность.

¹ См.: О. Р. Арановская, Л. М. Излева, Конференция фольклористов в Ленинграде, «Сов. этнография», 1972, № 2.

К. В. Чистов (Ленинград) в докладе «Актуальные проблемы изучения традиционных обрядов Русского Севера» рассмотрел вопрос о характере так называемой северорусской архаики. Современные выводы ученых о сравнительно позднем формировании северорусской этнической общности дают основание оценить «северорусскую архаику» как фольклорно-этнографический комплекс позднего типа, корни которого нужно искать в XIV—XVII вв., когда он формировался и распространялся на территории позднейшей северорусской историко-этнографической зоны.

Существенный вклад в разрешение вопроса о художественной специфике народной театральной традиции внес доклад В. Ю. Крупянской (Москва) «Композиция народной драмы „Лодка“ в связи с проблемой совмещения в народном театре трагедийного и комического». Подчеркнув сложность изучения поэтики народного драматического искусства, докладчица выделила основные типы композиционного построения «Лодки», отметил характерные особенности каждого типа и то общее, что объединяет все вариации драмы. К основным композиционным приемам относятся механическое сцепление частей пьесы, динамичность ее, прием контрастности, обуславливающий обильное введение комедийных моментов, пародийного повтора, трагикомических фигур.

В. Е. Гусев в докладе «О народной игре в мнимого мертвеца» проследил эволюцию традиционных обрядовых игр (святочных, свадебных, похоронных), сосредоточив внимание на общем для них фарсовом эпизоде отпевания «покойника» (появление в процессии ряженных фигур священника и дякона и связанное с этим пародирование церковной службы). Докладчик проиллюстрировал свои выводы русским, белорусским, украинским материалом, а также привел аналогичные хорватские материалы из архива Загребского института народного искусства (Югославия). Это позволило докладчику расширить сложившиеся представления об ареале бытования фарсовых игр «в отпевание покойника» и выделить четыре очага их бытования у славян: северорусский, приднепровский, карпатский и хорватский.

Б. Н. Путилов (Ленинград) на основе изучения данных по фольклору папуасов Берега Маклая, оставленных великим русским ученым Н. Н. Миклухо-Маклаем, и личных наблюдений, сделанных им во время экспедиции на судне «Дмитрий Менделеев» (1971 г.), высказал некоторые соображения о развитии и судьбе театрализованных форм фольклора у папуасов. Он отметил также, что моменты драматизации и ныне обнаруживаются в похоронном обряде (по сравнению с записями Миклухо-Маклая они выступают теперь в сильно ослабленном виде) и в обряде инициации, который сохранился у папуасов до сих пор.

Доклад Н. И. Савушкиной (Москва) был посвящен театральным элементам в святочном ряжении — мафсовом, широко распространенном развлечении старой русской деревни. Генетически связанное с магическими обрядами, ряжение в процессе развития приобрело новые качества и функции. Для современного его состояния, — говорилось в докладе, — характерно смещение сроков ряжения, появление новых персонажей бытового плана, переосмысление традиционных масок. В то же время приемы ряжения в основном остаются традиционными, в нем существуют свои мастера, знатоки, широко известные в округе.

Сообщение Г. Г. Шаповаловой (Ленинград) «Инсценировки свадебного обряда на сельской клубной сцене» явилось результатом наблюдений докладчицы во время экспедиции 1969—1972 гг. в Калининскую и Костромскую области. Г. Г. Шаповалова различает три вида инсценировок свадебного обряда: в первом — элементы свадебного обряда входят в профессиональное творчество композиторов и драматургов; во втором — свадебный обряд, утративший свою магическую функцию и ставший спектаклем, показывается со сцены и имеет тенденцию перерасти в отдельный номер эстрадной программы без сохранения этнографических особенностей данного региона, в третьем — инсценировка возникает на месте под руководством одной из участниц. В этом случае бережно сохраняются многие региональные особенности свадебного обряда. Исполнители выступают не как артисты, а как мемуаристы, в действии рассказывающие о том, что было пережито ими самими в молодости. Этот вид инсценировок сейчас наиболее ценен для этнографии и его следует всячески поддерживать.

Открывая вторые Чтения, В. Е. Гусев подчеркнул, что их тема — «Функции фольклора» — определена не только научными интересами П. Г. Богатырева, но и актуальностью самой проблемы для современной науки. Долг советских ученых в том, чтобы, не возрождая функциональный метод Малиновского и его последователей, подвергнутый в свое время критике, рассмотреть с позиций марксистско-ленинской методологии сущность и социальную направленность функций народного искусства с учетом современных достижений фольклористики.

В докладе «Полифункциональность фольклора» В. Е. Гусев рассмотрел существующие определения понятия «функция фольклора». Докладчик обратил внимание на недостаточность бифункциональной методики анализа фольклора (соотношение практической и эстетической функций) и предложил математически выраженные формулы множественности, качественной определенности и социальной значимости функций фольклора. В. Е. Гусев охарактеризовал систему и подсистемы функций фольклора (критикуя одновременно понятие «структура функций»), рассмотрел соотношение функции и жанра, обратив внимание на односторонность представления о прямой зависимости жанра от функции. По мнению докладчика, нужно изучать не только систему функций фольклора, но и сам фольклор необходимо рассматривать как систему, функционирующую в определенном обществе. Поэтому изучение функций фольклора может рассмат-

риваться как частный случай социологического (в широком смысле) изучения фольклора, а сам функционально-системный метод — как одна из конкретных методик марксистско-ленинского метода.

Б. Н. Путилов (Ленинград) в докладе «К типологии функциональных связей в фольклоре» говорил о том, что считает неправомерным употребление понятия «функция» лишь в значении «роль текста, лежащая за его пределами». Функции — это определенные типы связей и зависимостей, как внетекстовых, так и текстовых, имеющих внутреннее, структурное значение. Как показал докладчик, функциональные связи в фольклоре — это связи фольклорных структур с внефольклорными. Они отличаются устойчивостью и закономерной обусловленностью, функциональные связи фольклора — это преимущественно его связи с бытом и обрядом, отличающиеся динамичностью. Функциональность фольклора неправомерно рассматривать как набор внеэстетических признаков, равноценных с эстетическими. В ряде случаев функциональные связи представляют собой специфический способ осуществления художественных связей с определенными сферами действительности.

В докладе К. В. Чистова (Ленинград) «К вопросу о теоретическом различии фольклора и литературы», который явился прямым развитием его статьи «Специфика фольклора в свете теории информации»², были высказаны некоторые соображения о принципах дифференциации эстетической и неэстетической информации. Докладчик также выделил основные факторы, формирующие коммуникативную ситуацию в сфере фольклора (осуществление коммуникации в рамках стабильных малых групп, обладающих своей традицией и сходным социальным и эстетическим опытом, возможность смены ролей «исполнителей» и «слушателей», варьирование структуры исполнителя — соло, хор, исполнитель, творец, проза, поэзия и т. д. — и самого коммуникативного акта, наличие сильных и сверхсильных внетекстовых связей и т. п.).

Выступление О. Р. Арановской (Ленинград) было посвящено выяснению функций мифа в древнегреческой трагедии. Как известно, она черпает сюжеты из мифического прошлого, причем мифологическая направленность трагедии углубляется по мере развития жанра. Как отмечалось в докладе, информация, исходящая от автора трагедии, была рассчитана на истинное «допонимание» и довершение со стороны слушателей, которым отводилась отнюдь не пассивная роль в процессе творчества. Соотношение индивидуального и коллективного элементов греческой трагедии построено по принципу дополнительности, поэтому представляется совершенно невозможным понять древнегреческого автора вне фольклорной традиции.

В докладе В. В. Сенкевич-Гудковой (Петрозаводск) «Народный этикет в саамской песне — йойче» были описаны наиболее употребительные случаи замены в саамской песенной лирике непристойных слов, выражений, названий людских пороков эвфемистическими метафорами, загадками, даже комической мелодией. Докладчица особо обратила внимание на соединение инсказательной и магической функций в песнях девушек, мечтающих о замужестве.

И. И. Земцовский (Ленинград) в докладе «Функции песни и проблемы музыкального формообразования» говорил о том, что с социальными функциями песни связаны не отдельные конкретные музыкальные формы, а стилевые закономерности формообразования. Однако в форме, как и в содержании, не все связано с функцией, да и связи бывают различные: реже непосредственные, чаще опосредованные (имеются в виду лишь функции, реализованные в художественной структуре). Автор различает функции моно- и полиморфные и приводит примеры полиморфности функций и полифункциональности форм.

Р. И. Беккер (Ленинград) в докладе «Сцена „Мнимый барин“ в русском фольклоре» поделилась мыслями о функциях и формах бытования этой сцены, исполнявшейся самостоятельно или в контаминации с народными драмами «Лодка» и «Царь Максимилиан».

В докладе Г. А. Левинтона (Ленинград) «Функции словесных текстов в свадебном обряде» словесные тексты свадебного обряда (преимущественно песенные) рассматривались с точки зрения системы функций всякого речевого коммуникативного акта (по модели Р. Якобсона). Демонстрировалась специфика реализации основных функций в обряде (по сравнению с обычным речевым актом). Основное внимание докладчик уделил функциональной трактовке некоторых особенностей связи значения песни с обрядом и особенно при переходе из одного контекста в другой.

Функциональности свадебных напевов-формул был посвящен доклад В. А. Лапина (Ленинград). Функциональность определялась им через значение формульных напевов в традиционном свадебном обряде поморов. Автор исходил из того, что напев-формула выделяет наиболее важные свадебные персонажи из общего ряда лиц — участников свадьбы.

Чтения закончились плодотворной дискуссией, подтвердившей актуальность затронутых вопросов и наметившей дальнейшие пути и аспекты изучения функций фольклора.

А. Ф. Некрылова

² См. «Вопросы философии», 1972, № 6.

В последнее время заметно оживились связи между советскими и польскими фольклористами. В дни VII Международного конгресса славистов, состоявшегося в Варшаве в августе 1973 г., большая группа советских специалистов в области народной культуры получила возможность вступить в непосредственные контакты с польскими коллегами. Ярким проявлением взаимного интереса и сотрудничества польских и советских ученых была конференция «История польско-русских связей в области этнографии» (Вроцлав, сентябрь 1973 г.). В этих благоприятных условиях протекала моя научная командировка.

После конгресса славистов я в качестве гостя Министерства культуры и искусства ПНР более месяца знакомился с научной деятельностью польских фольклористов. В первую очередь меня интересовала история народной антифашистской песни. Я работал в библиотеках, архивах и музеях Варшавы, Торуня, Познани, Вроцлава, Люблина, Келец (в 1963 и 1966 гг. я побывал также в Кракове и Закопане), посетил многие места партизанских боев в годы второй мировой войны, записывал песни в Келецком и Люблинском воеводствах. В предлагаемой вниманию читателей статье в соответствии с двумя основными направлениями моей работы будет рассказано о современном состоянии польской фольклористики и об изучении польских партизанских песен.

Польша — одна из стран, где региональные отличия в этнически однородной культуре ярко выражены, что ощущается до сих пор. Не случайно региональный принцип собирания, публикации и изучения фольклора не только лег в основу классической фольклорно-этнографической серии Оскара Кольберга¹, но в значительной мере определил направление деятельности и позднейших исследователей народного искусства. Эту традицию продолжал журнал польских фольклористов «Литература Людова» в течение первого десятилетия своего существования (1957—1967 гг.). В соответствии с этой традицией создавались многие сборники, монографии и статьи, посвященные народной культуре и фольклору отдельных частей и этнографических районов Польши. Этот интерес к местным особенностям культуры распространяется даже на городскую культуру. Характерно, например, появление книги Б. Вечоркевича «Варшавские просторечия прежде и сегодня»², автора которой привлекают особенности языка и фольклора отдельных районов польской столицы, а также устный репертуар различных социальных и профессиональных групп. Замечу, кстати, что, по моим личным наблюдениям, репертуар и манера исполнения самодеятельных городских ансамблей, которые поныне поют анонимные песенки на улицах Варшавы и Кракова, заметно различаются между собой, и даже в самой Варшаве ансамбли на ул. Черняховской и на ул. Хмельной не похожи один на другой. Региональные отличия сознательно культивируются многочисленными местными городскими и сельскими фольклорными коллективами, что особенно заметно в репертуаре и в исполнительских стилях различных фольклорных фестивалей, проводимых в Польше ежегодно в нескольких местах (я имел возможность познакомиться с одним из таких фестивалей — в Казимеже Дольном, прослушав записи нескольких последних лет).

Однако, по убеждению многих современных фольклористов, региональный метод изучения фольклора исчерпал свои возможности. Польская фольклористика, возродившаяся после второй мировой войны, находится сейчас на том этапе своего развития, когда учеными осознается необходимость критического анализа пройденного пути и отказа от некоторых традиций, когда осуществляется поиск новой проблематики и новой научной методики. Это проявляется в тех научных дискуссиях, которые протекали в Польше в последнее десятилетие: на конференции, посвященной современному состоянию фольклористики славянских народов (Варшава, 1966), на сессии, посвященной современному фольклоризму в Польше (Познань, 1969), на конференции, посвященной актуальным проблемам современной фольклористики (Варшава, 1971), на общепольской научной сессии «Народная и крестьянская культура» (Вроцлав, 1973). Быть может, в еще большей степени перелом в деятельности польских фольклористов ощущается в новом направлении журнала «Литература Людова», возобновленного в 1972 г. (ныне он издается во Вроцлаве под редакцией Ч. Гернаса). Стремление выработать новые методы исследования фольклора, возросший интерес к теоретическим проблемам я особенно остро почувствовал, знакомясь с работами и творческими замыслами исследователей среднего и младшего поколений польских фольклористов — Ч. Гернаса, Л. Белявского, Р. Гурского, Я. Садовника, Г. Чайки, Р. Сулимы, Р. Вроцлавского, Е. Бартмиńskiego, Я. Ягеллы, Я. Стенчиевского.

Достижения современной польской фольклористики очевидны. Это и академическое монументальное издание Полного собрания трудов О. Кольберга³, и завершение семи-

¹ «Lud. Jego zwyczaj, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusta, zabawy, pieśni i tańce», Warszawa, 1857—1910.

² B. Wiczorkiewicz, «Gwara warszawska dawniej i dziś», Warszawa, 1966.

³ O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. I—66, Kraków — Warszawa, 1961—1973 (издание продолжается).

томного издания «Народ белорусский» М. Федеровского⁴, и солидное переминологическое издание «Новая книга польских пословиц и поговорок» в четырех томах⁵, и издание силезских песен из рукописного собрания Ю. Ломпы (1970)⁶, и единственный пока в социалистических странах энциклопедический «Словарь польского фольклора»⁷, и добротнo выполненные «История польской фольклористики» (1800—1863)⁸, и серия сборников «Фольклористические исследования»⁹. В подготовке этих трудов велика заслуга Ю. Кжижановского, И. Буршты, А. Обрембской-Яблоньской, Р. Гурского, Г. Капелуся, С. Сьвирко, Б. Зацшевского и их сотрудников и учеников. Польская фольклористика последнего десятилетия обогатилась как трудами фольклористов-филологов Ч. Гернаса («В калиновом лесу»)¹⁰, Д. Симонидеса («Силезские восстания в современных рассказах»)¹¹, Г. Чайки («Болгарская и македонская народная историческая песня», «Героический народный эпос южных славян»)¹², так и фольклористов-музыковедов А. Чекановской, М. и Я. Собеских, Л. Белявского, Я. Стеншевского и др. (о них далее).

Симптоматична активизирующаяся деятельность в области фольклористики этнографов К. Завитович-Адамской, И. Климашевской, А. Кутшебы-Пойнаровой, М. Знамеровской-Прюфферовой, И. Буршты, М. Гладыша и др. Противопоставленные прежде одна другой, фольклористика и этнография в Польше в последнее время снова испытывают потребность к сближению. Не случайно именно в Польше появилась замечательная книга А. Чекановской «Музыкальная этнография»¹³.

Проанализировать и оценить все эти и другие работы — задача специальных рецензий и обзоров, я же в настоящих заметках делюсь лишь сведениями, почерпнутыми во время своей поездки, и личными впечатлениями от встреч и бесед с польскими коллегами.

В Варшаве я познакомился с деятельностью коллектива фольклористов Института искусств Польской академии наук, который был создан на основе возникшего в 1947 г. первого в послевоенной Польше центра изучения фольклора — Государственного института исследований народного искусства. В его составе первоначально работали три секции — народной музыки (руководитель М. Собеский), народной литературы (руководитель Ю. Кжижановский), народного танца (руководитель Т. Зыглер). В 1957 г. произошла реорганизация института, и различные секции народного искусства слились в единую Лабораторию исследований польского фольклора с филиалом в Познани. В первое послевоенное десятилетие фольклористами института была осуществлена огромная по своему размаху и значительная по результатам собирательская работа, позволившая восстановить погибшие во время войны старые фольклорные архивы. (К середине 1960-х годов архив народной музыки Института искусств содержал 65 тыс. песен и инструментальных наигрышей, записанных на магнитную пленку, около 18 тыс. слуховых записей мелодий и около 30 тыс. рукописных текстов). В последующие годы деятельность фольклористического коллектива сосредоточилась на систематизации и подготовке к печати этих записей, был создан ряд сборников и монографий. В течение долгих лет лабораторией руководил М. Собеский, крупнейший специалист в области польской народной музыки. После его смерти коллектив возглавил Л. Белявский, автор книги «Ритмика польской народной музыки»¹⁴, большой статьи о польской народной музыке в «Словаре польского фольклора» и других интересных работ; в настоящее время им подготовлена к печати новая значительная монография «Теория времени и ее значение для музыкальной этнографии». Старейшая сотрудница института Я. Со-

⁴ M. Federowski, *Lud białoruski*. «Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877—1905», t. 5—7, Warszawa, 1958—1969 (издание начало выходить в свет в 1897 г., четвертый том вышел в 1935 г.).

⁵ «Nowa księga przysłów i wrażeń przysłowiowych polskich». W oparciu o dzieło S. Adalberga opracował Zespół pod kier. J. Krzyżanowskiego. t. I—III, Warszawa, 1969—1972 (том четвертый — в печати).

⁶ «Pieśni ludu śląskiego ze zbiorów rękopiśmiennych Jozefa Lompy. Wyd. B. Zakrzewski», Wrocław, 1970.

⁷ «Słownik Folkloru Polskiego», Warszawa, 1965.

⁸ «Dzieje folklorystyki polskiej. 1800—1863. Epoka przedkolbergowska», Wrocław, 1970.

⁹ «W świecie pieśni i bajki. Studia folklorystyczne. Red. R. Górski, J. Krzyżanowski», Wrocław, 1969; «Między dawnymi a nowymi laty...», «Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego», Wrocław, 1970; «Z zagadnień twórczości ludowej», «Studia folklorystyczne», Wrocław, 1972; «Ludowość dawniej i dziś», «Studia folklorystyczne», Wrocław, 1973.

¹⁰ Cz. Hernas, *W kalinowym lesie*, t. I—II, Warszawa, 1965.

¹¹ D. Simonides, *Powstania Śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych*, Opole, 1972.

¹² H. Czajka, *Bułgarska i macedonska historyczna pieśń ludowa*, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968; e.e. же, *Bohatera epika ludowa słowian południowych. Struktura treści*, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1973.

¹³ A. Czekanowska, *Etnografia muzyczna. Metodologia i metodyka*, Warszawa, 1971.

¹⁴ L. Bielawski, *Rytmiка polskich pieśni ludowych*, Kraków, 1970.

беска, плодотворно работающая в науке и поныне, издала солидную музыкально-этнографическую монографию «Из исследований музыкального фольклора Великой Польши» (где рассмотрен музыкальный быт народных обрядов и праздников)¹⁵. Разносторонностью и глубиной отличается исследование другого крупного фольклориста-музыковеда Я. Стеншевского. Народные танцы изучает Г. Домбровская. Фольклорист-филолог Я. Садовник, много работавший в области библиографии, текстологии и классификации народных песен, исследует фольклорную стилистику. А. Миоуховская изучает общественную проблематику польских народных песен. С. Яворская — язык народной песни. Этими учеными в сотрудничестве с А. Шлезевским и А. Шурмяк-Богущкой на основе полевых записей составлена одна из лучших фольклорных антологий, вышедшая в свет недавно вторым изданием — «Песни Подхалья»¹⁶. В настоящее время работа фольклористов Института искусств находится в стадии реорганизации, создаются два отдела — Лаборатория документации фольклора (руководитель — Л. Белявский) и Архив (руководитель — Я. Садовник). В связи с этим коллектив интенсивно разрабатывает принципы систематизации и документации фольклора.

В Познани находится филиал фольклористической лаборатории Института искусств, объединяющий небольшой, но весьма продуктивно работающий коллектив. Познань в истории польской фольклористики сыграла особую роль. Здесь в 1930 г. Л. Каменьский создал богатейший Региональный фонограммархив, полностью уничтоженный в годы второй мировой войны. В 1945 г. ученики Каменьского — М. и Я. Собеские по личной инициативе приступили к возобновлению собирательской работы, и их записи на освобожденных землях Польши положили начало Западному фонограммархиву, материалы которого затем легли в основу упомянутого выше Архива народной музыки в Варшаве. Однако и после перемещения фольклористического научного центра в Варшаву в Познани не прекратилась фольклористическая деятельность. В настоящее время в Познанском филиале Института искусств традиции Каменьского и супругов Собеских успешно продолжают В. Кшыжаняк, написавшая докторскую диссертацию о польских колендах XVII—XVIII вв., Я. Лисаковский, видный специалист в области инструментальной музыки, автор книги «Песни Калиские»¹⁷, и инструментовед А. Павляк, работающий над диссертацией о музыкальном фольклоре Куяв. Этими учеными подготовлена коллективная музыкально-этнографическая монография «Куявы», первая в серии «Польская народная песня и музыка. Источники и материалы»¹⁸. На очереди такая же монография о Вармии и Мазурах, в перспективе — антология польского народного театра. С фольклористами Института искусств тесно сотрудничает кафедра этнографии Познаньского университета, в частности фольклорист-музыковед Б. Липетте, интересы которого сосредоточены в области современного фольклора и типологии народных песен.

Чувство глубокого уважения и восхищения вызывает работа редакции, готовящей полное собрание сочинений О. Кольберга — издания, не знающего себе равных в современной этнографии и фольклористике (председатель редакционного комитета Ю. Кжижановский, главный редактор И. Буршта, секретарь редакции М. Тарко). Небольшой коллектив сотрудников редакции в течение более десяти лет ведет поистине подвижнический труд, достойный памяти выдающегося деятеля польской культуры (достаточно сказать, что составленная ими подсобная справочная картотека песен из архива О. Кольберга насчитывает свыше 30 тыс. песенных зачинов). Мне была предоставлена возможность познакомиться с частью рукописного наследия О. Кольберга, и я воочию убедился в текстологических и издательских трудностях, которые пришлось преодолеть польским коллегам при подготовке издания. Достаточно просмотреть несколько архивных папок (из 76), чтобы оценить по достоинству трудолюбие и мастерство сотрудников редакции и значение достигнутых ими результатов.

Характерная особенность научной жизни Познани — постоянное плодотворное сотрудничество этнографов и фольклористов, музыковедов и филологов, университетских, академических и музейных работников (Познанский музей народной культуры и народного искусства возглавляет С. Блащик, живо интересующийся проблемой современного фольклоризма). Работу познанских фольклористов координирует И. Буршта, заведующий кафедрой этнографии Познаньского университета и редактор серии «Люд»¹⁹. Социолог и этнограф, он в последние годы проявляет постоянный интерес к фольклору. Итоги его теоретических и методологических занятий в области народной культуры изложены в подготовленной к печати книге «Культура народная, культура национальная». Первая ее часть посвящена в основном проблеме судеб региональных традиций в процессе культурной интеграции, во второй выясняется соотношение понятий «народ», «нация», «народность», «народознание», в третьей определяется мест

¹⁵ J. Sobieska. *Ze studiów nad folklorem muzycznym Wielkopolski*, Kraków, 1972.

¹⁶ *Pieśni Podhala, Antologia*, Warszawa, 1972 (издание первое — 1957).

¹⁷ J. Lisakowski, *Pieśni Kaliskie*, Kraków, 1971.

¹⁸ «Kujawy. Polski pieśń i muzyka ludowa». *Zróżdła i materiały*, Cz. I, Wrocław, 1973.

¹⁹ Одно из наиболее важных научных мероприятий, организованных познанскими фольклористами — общепольская научная конференция, материалы которой опубликованы в кн. «Folklor w życiu współczesnym», Poznań, 1970.

народной культуры в национальной культуре, характеризуется современный фольклор и роль традиций в современной культуре.

Во Вроцлаве я имел возможность встретиться лишь с новым главным редактором журнала «Литература Людова», директором Института польской филологии при Познаньском университете Ч. Гернасом, человеком незаурядной творческой энергии, успешно работающим в разных областях гуманитарных наук, в театроведении и художественной критике (кандидатская диссертация Ч. Гернаса была посвящена польским «хейкалам» — утренним средневековым песням, в качестве докторской он представил названную выше книгу «В калиновом лесу», новейшая его работа — солидная монография о культуре барокко). Журнал заслуживает специального обзора, пока же я ограничусь изложением его программ, как ее характеризует сам Ч. Гернас. Основные задачи журнала — преодолеть привычные представления о фольклоре и расширить границы фольклористики; привлечь внимание к жанрам и видам, которыми не интересовалась традиционная фольклористика (городской фольклор, письменные формы народного творчества и др.); обсуждать современные, наиболее актуальные и острые проблемы (фольклор и современная культура, генеалогия жанров), развивать научную дискуссию; широко освещать современную международную научную жизнь; избегать комплиментарных отзывов, культивировать проблемные, аналитические рецензии; публиковать наряду со статьями маститых ученых работы молодых, впервые вступающих в науку исследователей, наряду со статьями польских фольклористов — статьи зарубежных специалистов. Хотя заведомо можно сказать, что смело задуманная и полемически реализуемая программа журнала вызовет споры среди польских коллег, но, на мой взгляд, это будет лишь способствовать оживлению и продвижению вперед польской фольклористики.

Посещая другие польские города, я везде, даже там, где формально не существует фольклористических центров, встречал людей, основательно изучающих фольклор. В Торuni это собиратель и исследователь обрядовых песен И. Багиньская и директор этнографического музея А. Блаховский, изучающий современные формы традиционных обрядов. Торунский музей располагает богатыми коллекциями народного искусства и готовится открыть специальную выставку народных музыкальных инструментов. В стадии организации находится и специальный музей народных инструментов в городке Шидловце. В Кельцах, в Доме культуры, работает молодая фольклористка Б. Срока, автор отличной работы о партизанских песнях. В Кельцах же в местном этнографическом музее плодотворно трудится группа специалистов по народному искусству. В Люблине развивается очень интересное направление фольклористики, смежное с филологией, изучающее природу, тенденции и стилистику крестьянской поэзии (А. Александрович, Е. Бартминьский). Кстати, в Польше ныне вообще возрос интерес к поэтическому творчеству крестьян (В. Помяновская, Р. Сулима в Варшаве, Ч. Гернас во Вроцлаве и др.). В Люблине фольклором занимаются главный редактор местной радиостудии Т. Тлушкевич и сотрудница Б. Юркевич, принимающие, наряду с Г. Молицкей-Лещинской участие в организации ежегодных фольклорных фестивалей в Казимеже Долном и создавшие ценный фольклорный фонограммархив. В Силезии, в г. Ополе, актуальные проблемы фольклористики разрабатывает целая плеяда ученых: А. Дыгач (рабочий и антифашистский фольклор), Д. Симонидес (социологическое изучение современной народной прозы), Ю. Лигенза (рабочий фольклор), Ч. Тащина (народные песни). На севере Польши ведется большая собирательская и исследовательская работа в области изучения кашубского фольклора. Здесь давно и плодотворно трудится Л. Ронпель (Орлсвс). В южной Польше продолжается изучение фольклора гуралов в местных этнических музеях²⁰. В Кракове в течение многих лет жил ныне покойный Р. Рейфусс, старейший и один из крупнейших знатоков народного искусства, в частности польского народного кукольного театра — шопки²¹. Сейчас изучение народного кукольного театра поднялось на новую ступень. Интересно заявили о себе в этой области Р. Вежбовский (Лодзь) и особенно автор превосходной книги «История театра кукол» и ряда оригинальных статей Г. Юрковский (Варшава)²².

Я ограничился теми лицами, с которыми встречался. Мне известно, что и в тех местах, которые я посетил, и в иных городах Польши успешно работают и другие фольклористы. Но и те беглые и далеко неполные сведения, которые я привел, думается, убедительно свидетельствуют о многочисленности специалистов в области народного искусства и о разнообразии их интересов. Однако у меня сложилось впечат-

²⁰ Например, активна издательская деятельность сотрудника музея в Жешуве Ф. Котули, см.: F. Kotuła. Z Sandomierskiej Puszczy (Gawędy kulturowo-obyczajowe), Kraków, 1962; его же. Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgorzan; Lublin, 1969; его же. Hei leluja czyli o wygasiających starodawnych pieśniach Kołędniczych w Rzeszowsiem. Warszawa, 1970.

²¹ См., например, R. Reinfuss, Sropke krakowski, Kraków, 1958. С Р. Рейфуссом я имел полезные для меня беседы во время прежнего приезда в Польшу, тогда же многое для понимания польского народного искусства дали мне встречи с директором Краковского этнографического музея Т. Северином и ныне покойным директором Татарянского музея в Закопане Ю. Збровским.

²² H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek, Warszawa, 1970, См. также: Szopka Krakowska, Zbiór i opracowanie Piotr Płatek, Kraków, 1971.

ление, что силы польских фольклористов весьма распылены. В Варшаве параллельно с Институтом искусства в Институте литературных исследований трудится группа фольклористов-филологов, созданная в свое время Ю. Кжижановским и возглавляемая ныне Е. Капелуш, однако работа этих крупнейших фольклористических коллективов, равно как и других, ведется изолированно; собираемые ими материалы зачастую остаются неизвестными даже коллегам. Поэтому я с большим удовлетворением встретил известие, что при Польском народоведческом обществе образуется Комиссия фольклористических исследований, которая призвана стать единым координационным центром польских специалистов в области народного искусства.

Значительную часть времени я посвящал ознакомлению с местами, где развивалось партизанское движение, встречам с ветеранами второй войны, сборнику партизанских песен. Когда десять лет назад я приступил к изучению партизанского фольклора и в результате моих первых изысканий была опубликована статья «Песни польских партизан»²³, в самой Польше еще не было научных исследований в этой области (в печати появилось лишь несколько интересных газетных статей журналиста Е. Кондзеля). Журнал «Литература Людова» оказал мне честь, опубликовав мою статью в польском переводе с лестным для меня примечанием от редакции²⁴. С тех пор ситуация заметно изменилась. Молодежный еженедельник «Нова Весь» несколько лет назад объявил конкурс собирателей фольклора, вызвавший широкий отклик во всей стране. В редакцию поступило свыше 4,5 тыс. записей, среди них значительную часть составили солдатские и партизанские песни. В оргкомитете и жюри конкурса работали фольклористы Варшавы. На основе собранных во время конкурса материалов ими была создана отличная антология «С песней и карабином» (составитель, автор статьи и комментариев С. Сьвирко, музыкальный редактор Я. Собеска, библиографическая документация Е. Кондзеля)²⁵. Незадолго перед этим в Лодзи журналистом Т. Шеверой подготовлена и издана аналогичная антология «Пусть ветер ее понесет...», в которой наряду с народными антифашистскими песнями представлены также произведения профессиональных авторов²⁶. Обе книги содержат ценные сведения об истории возникновения и о бытовании песен. За последние годы издана обильная мемуарная литература, насыщенная публикациями и интересными свидетельствами о роли песни в освободительной борьбе польского народа. Стали появляться одно за другим исследования. Знакомясь с новой литературой и архивными материалами, я испытал потребность в непосредственном знакомстве с партизанской песней в ее живом звучании и современном бытовании. Необходимо было удостовериться в подлинности некоторых записей, самому сопоставить некоторые противоречивые сведения о месте и времени создания ряда песен, а главное услышать партизанские песни в тех местах, где они возникли, и в исполнении самих участников тех сражений, о которых рассказывали эти песни.

Мой маршрут проходил по районам активных боевых действий — в Свентокшиских горах (Келецкое воеводство), где уже в 1939 г. образовался первый очаг сопротивления фашистским захватчикам, и по лесным районам Любельского воеводства, где особенно эффективным было боевое сотрудничество польских и советских партизан. Сентябрь выдался удивительно теплый, над лесистыми холмами все дни светило солнце, а ясными вечерами звенели песни. В деревнях радовались хорошему урожаю и погожей осени. Это немало способствовало успеху моей поездки. Крестьяне встречали меня приветливо и сразу откликались на просьбы рассказать о партизанском движении и спеть. Была еще одна немаловажная причина, почему в эти дни широко открывались перед советским гостем двери домов и души людей: сентябрь в Польше — месяц трагических воспоминаний о первых днях второй мировой войны и одновременно месяц торжества, связанного с освобождением восточных районов в 1944 г. Вдоль дорог, у деревенских околиц, на улицах городков и просто в лесах то и дело встречались могилы, памятники, обелиски, кресты, у подножия которых пламенели яркие осенние цветы, теплились свечи и лампы. Вокруг собирались люди, тихо рассказывали о тех, кто лежал в земле, а потом, разойдясь по домам, поминали за столом боевых друзей, пели. Расспросы часто оказывались просто излишними.

Уже первые встречи и беседы с бывшими участниками партизанского движения обогатили меня новыми, не известными по публикациям и архивам, вариантами песен второй мировой войны. Это не удивительно, если принять во внимание, что в каждом партизанском отряде создавались свои песни или применялись к местным условиям широко известные произведения. В Кельцах, например, я встретился с бывшим командиром партизанского отряда, действовавшего в Подлясье, Ю. Шубой («Марьяном»), который напел мне на магнитофон песни из репертуара своего отряда; оказалось, что даже в такой популярной песне, как «Сегодня к тебе не смогу прийти», известной в десятках публикаций, есть две строфы, не встретившиеся мне ни в одном из опубликованных текстов. Или, например, опубликованные тексты песен «Пусть навсегда в пе-

²³ В. Е. Гусев, Песни польских партизан, «Сов. этнография», 1964, № 3.

²⁴ W. Gusiew, Pieśni polskich partyzantów, «Literatura Ludowa», 1964, № 4—6, s. 111—125.

²⁵ «C pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939—1944». Wyboru dokonat oras wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Swirko, Warszawa, 1971.

²⁶ T. Szewera, Niech wiatr ją poniesie..., Łódź, 1969; название книги воспроизводит начало популярной песни о песне «Пусть ветер понесет ее вдаль».

сенке останется» содержат пять-шесть строф, а вариант, сообщенный Ю. Шубой, — семь. Эти и аналогичные примеры лишний раз доказывают, что песни второй мировой войны, как всякие подлинно народные песни (хотя у них и были первоначальные авторы), варьировались, дополнялись, и потому не следует отказываться от записи как будто «известных» песен.

Со Светокшишскими горами тесно связано имя легендарного ныне «Хубали» (конспиративное имя майора Г. Дожбаньского), не сложившего оружия после поражения Польши в сентябре 1939 г. Я проезжал дорогами последнего боевого марша конного отряда «хубальчиков» весной 1940 г. В деревне Шалас беседовал со старым лесничим на Свиной Гуре И. Мошинским, бывший связным отряда; он засвидетельствовал между прочим, как Хубаль «был молчаливым и задумчивым, но нередко, когда он был в хорошем настроении, пел, а его бойцы «любили петь и сами сочиняли песни». В памяти местного населения хорошо сохранились предания о Хубале и его героической смерти. Первой польской партизанской песней была песня «Хоть вдали у нас есть семья и близкие», возникшая в отряде Дожбаньского. В антологии «С песней и карабином» эта песня содержит четыре строфы; вариант, сообщенный в Кельцах бывшим партизаном М. Мерновским, — пять строф. По утверждению Мерновского, песня создана самим Дожбаньским. Одной из самых ранних партизанских песен был и «Гимн хубальчиков», который, как и первая песня, затем в вариантах распространился и в других отрядах.

Преемниками и продолжателями дела майора Дожбаньского в Келецком воеводстве были партизаны отряда учителя В. Ясиньского («Ендруса»), погибшего в 1943 г., — ендрусовцы (позже это стало нарицательным названием всех местных партизан). Ими создано было особенно много песен: гимн «Кто жизнь со смертью соединяет», лирические: «Знаешь ли шум деревьев», «Когда человек — что надо» и др.

В Келецком воеводстве в разное время действовало более 10 крестьянских отрядов («батальонов хлопских»), а также отряды Гвардии Людовой и Армии Крайовой. Все это обусловило большое разнообразие местного песенного репертуара второй мировой войны. Песни переходили из отряда в отряд, преодолевали границы «Партизанской республики», как назывались в ту пору Светокшишские горы, а партизаны Келецкого воеводства в свою очередь усваивали и песни, созданные населением оккупированных районов (одну из них, трагическую балладу об уничтожении в 1944 г. деревни Склобы, спел мне учителя местной школы), и песни, возникшие в других партизанских краях. Поэтому наряду с местными песнями в Келецком воеводстве можно услышать и записать много общепольских песен второй мировой войны. Так, по свидетельству опрошенных мною местных жителей, в Светокшишских горах были и остаются наиболее популярными: «Расшумелись плакучие ивы», «По партизану девушка плачет», «Сегодня к тебе не смогу прийти», «Дождь, осенний дождь» и другие лирические песни. В репертуаре местного населения наряду с народными песнями немало также песен известных авторов (хотя они воспринимаются самими исполнителями как народные). В частности, большую популярность приобрели песни поэта Ч. Калкушиньского и композитора Г. Файта, которые начали сотрудничать еще до войны, первую антифашистскую песню создали в 1940 г., но особенно плодотворно работали в 1943—1944 гг., став партизанами Радомского отряда «Роботник»; большинство их песен вошло в выпуск «Песни военных лет», изданные к фестивалям партизанской песни, проходившим в Кельцах в 1969 и 1970 гг. Повсеместную известность в Польше приобрела их «Ендрусева доля», («Идет войско через лес...»), ставшая подлинно народной, распространившейся в разных вариантах.

В Люблине в местном отделении организации польских ветеранов войны по моей просьбе собрались бывшие командиры партизанских отрядов, действовавших в восточных районах Польши. Один за другим они вспоминали, как помогала им в годы войны песня. Л. Саля, в прошлом командир одной из боевых групп, в частности, сказал: «Пели мы песни и русские, и украинские, и польские, потому что воевали против общего врага и чувства у нас были общие. А некоторые песни пели и на польском и на русском языках». И тут же густым басом спел одну из таких польско-русских песен (последняя ее строка исполняется по-русски):

Ruska wintowka z polskim karabinem
łączyli się po bardzo ciężkich dnjach
I on jej czepcze: «Moja ty jedyna»,
A ona jemu «Moj ty nawsieгда».

Русская винтовка с польским караби-
ном
Соединились в очень тяжелые дни.
И он ей шепчет: «Ты моя единственная»,
А она ему: «Мой ты навсегда».

Л. Саля сообщил мне репертуар своего отряда — это наряду с польскими песнями и русский «Ермак», и украинская «На Украине земля чорна», наряду с боевыми маршами грустная лирическая песня «Веселимся, братья». Другие участники встречи также сообщили песни, особенно любимые партизанами: Ч. Поневаж — «Примкните штаны» и «В горах — избушка», Я. Яблоньски — «Не хотят меня из дому выдать», К. Мазуркевич — «Уже под самый вечер», К. Чубаха — «Пропуск — самая важная вещь на свете» и др.

Во время поездки по Любельщине я убедился, что солдатские и партизанские песни поют сегодня не только ветераны войны. В деревне Жечица Земянска старые

партизаны М. Коля и С. Кошковых уже с трудом вспоминали песни, которые когда-то знали (они, правда, хорошо помнят тексты на мелодии советских песен), но зато им на выручку пришли ученики местной начальной школы, которые уверенно и чисто исполнили местные партизанские песни.

Я побывал в овеянных славой Яновских лесах и посетил Взмуже Порытово (здесь была большая битва, в которой под командованием советского командира М. Прокопюка бок о бок сражались польские, русские, украинские и белорусские отряды). После того, как на месте сражения и у братской могилы, скрытой в лесу, рассказали о подвигах народных мстителей, меня пригласили в местный Дом культуры, где хор учащихся старших классов в сопровождении электрооргана (на нем играл руководитель хора М. Шпыт) исполнил солдатские марши и партизанские лирические песни. Я спросил у девушек: почему они поют эти песни? Они наперебой заговорили: «Нет, не потому, что нас учит этим песням по сборникам наш учитель. Мы слышим эти песни и от наших родителей, от старших. Мы любим эти песни, в них — жизнь нашего народа...». Этот разговор я записал на пленку, и он документирует характерный для современности процесс передачи боевой песни от поколения к поколению. Таких случаев во время моей поездки было немало.

Волнующее впечатление оставило посещение деревни Иджикова Воля (повет Красны Стан), где я провел вечер в семье бывшего партизана, ныне цветовода Кульбаки. Собрались за столом все: и старейшие члены — крестьяне, и младшее поколение — дочери Кульбаки, студентки варшавских вузов. В течение нескольких часов мне пели и составились своеобразная маленькая антология образцов различных жанров, характерных для этой деревни: и обрядовые «щедраки», и пасторальки, и коленды, и свадебные песни, и колыбельные песни, и лирические бытовые, и партизанские. Замечательно то, что запевали эти песни разные члены семьи, но подтягивали и включались в пение все. Так непосредственно я ощутил преемственность фольклорной традиции. Устойчивое бытование партизанских песен создает благоприятные возможности их стационарного изучения. Например, местный учитель В. Адамяк собирает их уже на протяжении тридцати лет.

Широкая популярность партизанских песен определила большой успех прошедшего в 1973 году фестиваля этих песен в Крашнике Любельском. Проведенный впервые пять лет назад как мероприятие районного масштаба, фестиваль перерос сначала в воеводский, а затем в общепольский праздник. В 1973 г. он был посвящен 30-летию Войска Польского. В составе оргкомитета и жюри наряду с фольклористами были представители Политуправления армии, Министерства культуры и искусства, Любельского радио и телевидения. Один из организаторов фестиваля, работник Отдела культуры в Крашнике магистр К. Густын подробно рассказал мне о большой работе по выявлению и отбору исполнителей, предшествовавшей фестивалю в 15 воеводствах Польши. На фестиваль съехалось свыше 1200 исполнителей, преимущественно молодежь. Участвовало 20 хоровых коллективов, 15 вокальных ансамблей, 14 инструментальных ансамблей, 25 солистов. Среди участников и рабочие, и крестьяне, и солдаты, и несколько ветеранов войны, и студенты, и учащиеся средних учебных заведений. Фестиваль длился три дня, в заключение был дан концерт победителей, который передавался по телевидению. Самой примечательной особенностью фестиваля оказалось творческое отношение молодежи к военным песням — они ныне звучат не только в традиционном исполнении, но и в современных музыкальных обработках, вплоть до стиля «биг-бит». Аудитория, тоже преимущественно молодежная (кстати, фестиваль проходил на открытом воздухе, в большом, специально выстроенном амфитеатре на склоне холма, откуда открывается живописная панорама), воспринимала партизанские песни с огромным энтузиазмом.

Фестиваль в Крашнике Любельском едва ли не самое убедительное свидетельство непрекращающейся и вместе с тем новой жизни партизанских песен в Польше. Не удивительно, что партизанские песни можно часто услышать в Польше не только по радио и с эстрады. Их поют и бывшие партизаны, собираясь в памятные дни в местах сражений, они звучат и на сборах «гарцеров» (пионеров). Пластинки с записями партизанских песен расходятся так быстро, что их невозможно достать в магазинах, по материалам партизанских песен снят фильм «Запрещение песенки» (режиссер Л. Бучковский); поставлен спектакль «Сегодня я прийти к тебе не могу», создаются музыкальные произведения. Партизанская песня и ныне составной органический элемент культурной жизни Польши.

Процесс возникновения, длительного бытования и трансформации партизанской песни — интересный предмет исследования для историка культуры, социолога, искусствоведа, фольклориста.

В заключение должен сказать, что работая в Польше, я как представитель советской науки, постоянно встречал людей, которые приходили мне на помощь и охотно предоставляли книги, рукописи, картины, документы, фотографии, магнитофонные пленки, щедро делились своими воспоминаниями и знаниями. Их было так много, что невозможно назвать всех поименно. Всем им — большое спасибо!

В. Е. Гусев

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

Летом 1973 г. Проблемной научно-исследовательской лабораторией истории, археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета было продолжено изучение сибирских татар, начатое в 1969 г. Работу вели два этнографических отряда под руководством Н. А. Томилова.

Первый отряд, в составе лаборанта Проблемной лаборатории В. Б. Богомолова и четырех студентов историко-филологического факультета Томского университета, в июне—июле работал среди томских татар в деревнях Томского района Томской области, а также Юргинского и Якинского районов Кемеровской области.

В 1973 г. был в основном закончен сбор материалов по материальной и духовной культуре татар этой группы. Собранные за пять лет данные позволяют подробно охарактеризовать традиционные хозяйственные занятия томских татар, их жилище, одежду, пищу, семейный быт, родинные, свадебные и похоронные обряды, а также народные праздники, сельские обычаи, домусульманские верования, легенды, сказки и т. п.

Участники экспедиции изучали и этнокультурные процессы, происходившие в этой группе татар в советский период. В 1973 г. был завершен сбор материалов о родословных татарских семей. Практически на каждую семью томских татар была составлена генеалогическая схема.

Аналогичную работу в июле—августе вел и второй этнографический отряд. В него входили В. Б. Богомолов, лаборант Томского педагогического института В. М. Лаврентьева, 10 студентов историко-филологического факультета ТГУ, препода-

ватель Красноярского профессионально-технического училища Ю. А. Томилов. Отряд работал среди барабинских татар в деревнях: Барабинского, Чановского, Куйбышевского, Каргатского, Кыштовского и Убинского районов Новосибирской области.

При сборе материала участники экспедиции широко использовали метод опроса старожилов по специально разработанным программам и вопросам. Материалы по жилищу, хозяйственным постройкам, одежде, головным уборам и обуви фиксировались цветными (акварельными), черно-белыми рисунками, чертежами и схемами.

Участниками экспедиций было заснято 25 фотопленок и около 600 м кинопленки. У барабинских татар, где собирался материал по народной музыке и музыкальным инструментам, было сделано около 50 магнитофонных записей народных песен, частушек, мелодий. В настоящее время все записи нотированы. Собранные материалы позволяют уже сейчас выявить значительные этнокультурные связи сибирских татар с некоторыми народами Крайнего Севера, Южной Сибири, Средней Азии и Европейской части нашей страны.

Записи по топонимике, выполненные В. М. Лаврентьевой, переданы в картотеку им. А. П. Дульзона Томского педагогического института. Часть полевых материалов, собранных в 1973 г., сдана на хранение в Музей археологии и этнографии Сибири Томского университета. Коллекция из 55 предметов, отражающих хозяйство, культуру и быт томских и барабинских татар, передана в Томский областной краеведческий музей.

Н. А. Томилов

* * *

В 1973 г. сотрудники Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР провели две фольклорные экспедиции: Могилевско-Минскую и Могилевскую-

южную. В первой участвовали сотрудники сектора фольклора, во второй — сотрудники фонолаборатории и сектора музыки. Как и в предшествующие годы,

основной целью экспедиции был сбор материалов для многотомного издания белорусского устно-поэтического творчества. Параллельно велись наблюдения над особенностями местного репертуара, бытованием традиционного и современного фольклора, взаимодействием устно-поэтического творчества и художественной самодельности и т. д.

Могилевско-Минская экспедиция работала в Бобруйском и Осиповичском районах Могилевской области и Пуховичском районе Минской области. Ее участники обследовали 12 населенных пунктов, записали около двух тысяч произведений народного творчества различных жанров, в том числе и инструментальную музыку, и собрали материалы об обрядах и обычаях белорусского народа. Среди фольклорных записей преобладают песенные жанры: народная лирика (любовные, семейные, шуточные песни), обрядовая поэзия (колядные, волочебные, жатвенные песни), частушки.

Могилевская-южная экспедиция работала в южных районах Могилевской области — Быховском, Кировском и Кличевском. В каждом районе было выбрано по 3 населенных пункта для сплошного обследования, а всего участники экспедиции посетили около 30 селений и сделали свыше 1500 записей произведений устно-поэтического творчества и описаний различных обрядов. Экспедиция еще раз под-

твердила, что не только в народной памяти, но и в народном быту живут произведения почти всех фольклорных жанров. Кроме песен и частушек, были записаны пословицы, поговорки, загадки, плачи, сказки. Среди обрядовой поэзии наиболее устойчивыми оказались свадебные, жатвенные и весенние песни. Записаны также любовные, семейные, застольные, шуточные песни, интересные варианты баллад, поздних народных лирических песен, которые во время Великой Отечественной войны исполнялись как партизанские.

Особое место в экспедиционных материалах занимают сказки. Их собрано около 30. Наряду с вариантами сказок о животных и другими популярными в детской аудитории сказками, повсеместно распространенными и зафиксированными многими экспедициями, в Быховском районе были записаны классические волшебные сказки и сказки на былинные сюжеты, такие как «Ильюшка-богатырь», «Иван-Иванович русский царевич Вихрев сын» и др., с развернутыми, хорошо разработанными сюжетами.

Все записи, в том числе и сказок, сделаны на магнитофонной ленте. Сейчас материалы обрабатываются, расшифровываются мелодии песен. Часть записей будет включена в готовящиеся тома многотомного издания белорусского фольклора.

К. П. Кабашников

* * *

Кафедры белорусской и русской советской литературы Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина в июне — июле 1973 г. провели очередную экспедицию по изучению современного состояния белорусского фольклора. В экспедиции участвовало девять групп студентов-первокурсников (212 человек) под руководством преподавателей университета.

Кафедра русской советской литературы с 1966 г. изучает фольклор Белорусского Полесья. Ежегодная полевая работа в период летней практики студентов сочетается здесь со стационарным обследованием фольклора отдельных деревень студентами, уроженцами этих мест.

В 1973 г. работа велась в Брестской и Гомельской областях. Обследованы деревни Большое Подлесье (Ляховичский район), Богдановка, Лунин, Лобча (Лунинец-

кий район), Озераны, Вересница (Житковичский район), Липа, Дербицы, Слободка, Рудинка, Мотяничы, Рогинь, Заболотье, Залесье (Буда — Кошелевский район).

Кафедра белорусской литературы, изучающая фольклор Минской области, вела работу в деревнях Курганье (Смолевичский район), Ляды (Червенский район), Блевчицы (Копыльский район), Сутин (Пуховичский район).

В целом экспедициями кафедр белорусской и русской советской литературы БГУ собрано свыше 20 000 фольклорных текстов. Среди них преобладают традиционные жанры. Есть произведения о Великой Отечественной войне, о нашей современности (песни, частушки, устные рассказы, пословицы, поговорки). Собранные фольклорные материалы хранятся в архивах кафедр.

В. А. Захарова

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Н. В. Юхнева

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛИКА РАБОЧЕГО КЛАССА ПЕТЕРБУРГА — ЛЕНИНГРАДА

(Заметки этнографа по поводу книги «История рабочих Ленинграда». Л., 1972, т. I, 554 стр.; т. II, 459 стр.)

Близость исторической и этнографической проблематики на разных этапах развития советской науки проявлялась неравномерно. В 20-е гг. круг исследуемых историками и этнографами вопросов во многом совпал, и те и другие проявляли большой интерес к рабочему классу. Причем историки занимались весьма широким кругом проблем: их интересовала не только революционная борьба пролетариата, но и его формирование, состав, положение, быт¹. Однако начиная с 30-х гг. историю рабочих стали излагать исключительно как историю борьбы рабочего класса за свое освобождение (до 1917 г.) и как историю его трудовой и общественной активности (после 1917 г.). В этот период появилось значительное расхождение между историческими и этнографическими исследованиями. С конца 50-х гг. историческая наука вновь расширяет свою проблематику. В круг внимания историков включаются такие вопросы, как формирование, численный рост и источники пополнения рабочего класса, его социально-экономическая характеристика (социальная и профессиональная структура, степень концентрации и т. п.), положение рабочих, их облик, понимаемый как сумма субъективных качеств, таких как сознательность, политическая зрелость, культурное развитие, психический склад, морально-нравственные черты². Одно это перечисление проблем убеждает в необходимости самых тесных контактов между учеными, историками и этнографами, изучающими рабочих. Хотя такие контакты имеют место и можно было бы назвать даже несколько случаев научного сотрудничества, тем не менее часто историки недостаточно знают, что делают этнографы, а этнографы — чем занимаются историки. Думается, один из способов преодоления этой разобщенности — взаимное рецензирование.

В 1972 г. вышла из печати подготовленная Ленинградским отделением Института истории АН СССР двухтомная «История рабочих Ленин-

¹ См. А. М. Панкратова, Проблемы изучения истории пролетариата, в кн. «История пролетариата СССР», сб. I, М., 1930, стр. 156—168.

² См., например: «Изменения в численности и составе советского рабочего класса», М., 1961; «Формирование и развитие советского рабочего класса», М., 1964; Российский пролетариат: облик, борьба, гегемония, М., 1970.

града». Это первое издание, в котором история рабочих Петербурга-Ленинграда излагается столь подробно и хронологически полно — от основания города до наших дней. Однако сразу же следует оговорить, что книга эта является историей не всех вообще рабочих Петербурга-Ленинграда, а только фабрично-заводских. Авторы не касались строительных рабочих (за исключением первой главы I тома), рабочих транспорта и связи, коммунального хозяйства, так называемой сферы обслуживания и некоторых других категорий. Появление книги, носящей обобщающий характер, оказалось возможным благодаря тому, что многие вопросы истории ленинградского рабочего класса в последние десятилетия получили освещение в специальных работах³.

В рецензируемой книге освещаются вопросы формирования, численности и социального происхождения рабочего класса, приводятся данные о его половозрастной и профессиональной структуре, анализируется правовое и экономическое положение рабочих, показаны условия их труда и отчасти быта: уделено внимание и характеристике отдельных черт облика рабочих. В главах, относящихся к дореформенному времени (1703—1861 гг.), эти вопросы составляют основу изложения, в последующих главах все большее место занимают вопросы политической истории. Это различие вызвано не позицией авторов, а ходом исторического процесса. Именно в конце XIX в. пролетариат России окончательно формируется не только как класс, но и как политическая сила и начинает играть ведущую роль в политической истории. Во втором томе, посвященном советскому периоду, главное внимание уделено росту трудовой и общественной активности рабочих, их героическим делам в военные и мирные годы. Вопросы же формирования, социально-экономической характеристики рабочего класса еще в большей степени отходят на второй план.

Мы не ставим задачу дать исчерпывающий анализ и оценку «Истории рабочих Ленинграда»; остановимся только на проблемах, наиболее интересных для этнографа.

Довольно полное освещение на страницах первого тома «Истории рабочих Ленинграда» получило формирование рабочего класса. Существенной особенностью этого процесса в Петербурге было то, что с самого начала пролетариат складывался из пришлых элементов. Город не рос естественным путем из находившихся издавна на его территории деревень; кустарной промышленности в ближайшей округе не было вовсе, а окрестное крестьянское население долгое время играло минимальную роль в пополнении рабочих кадров петербургских предприятий. В этом отличие формирования петербургского пролетариата от некоторых других групп русских рабочих, которые складывались на местной основе и постепенно пополнялись выходцами из других районов.

Первоначально рабочее население столицы формировалось принудительным путем. Правительство подбирало и переселяло сюда мастеровых, которые были ему нужны. Основной отраслью промышленности в Петербурге в то время было судостроение. Квалифицированных судостроителей в XVIII в. давали Олонецкая и Архангельская верфи. Знакомые с корабельным делом плотники были привезены в начале века из Поморья. Мастеровых для оружейных и пороховых заводов переселили из Московско-Тульского промышленного района и из Олонца. С 20-х гг. XVIII в. главным источником пополнения рабочих кадров казенных заводов стали рекруты, т. е. фактически крестьяне. К сожалению, неизвестно, из каких они происходили областей. Большую группу тогдашних петербургских рабочих составляли строители. Главная их масса была переведена из Московской губернии. Таким образом, по-

³ О них идет речь в предисловиях к обоим томам, библиография дана также в подстрочных примечаниях.

стоянное рабочее население Петербурга в XVIII в. формировалось из уроженцев северных и центрально-черноземных губерний. Кроме постоянных было много и временных рабочих. На казенных заводах неквалифицированные работы временно выполняли приписанные к заводам крестьяне Петербургской и Архангельской губерний. На строительстве и на частных предприятиях работали отходники из государственных и частновладельческих (оброчных) крестьян. На строительство приходили из Новгородской, Ярославской и Костромской губерний, на фабрики — из тех мест, где были соответствующие кустарные промыслы (кожевники — из Олонекского уезда Новгородской губернии, текстильщики — из Московской, шляпники — из Костромской и Ярославской губерний). В целом это был тот же район, уроженцами которого были и постоянно жившие в Петербурге мастера. Таким образом, исторические материалы показывают, что первоначально рабочее население Петербурга формировалось преимущественно из уроженцев тех областей, где были распространены северорусский и среднерусский варианты народной культуры.

Интересно было бы выяснить, — а это уже задача этнографов, — какие элементы этой культуры принесли с собой в столицу работные люди и каким преобразованиям они подверглись в условиях городской жизни. Кое-какие сведения об этом можно получить из описания нравов и обычаев петербургских жителей, сделанного И. Г. Георги⁴. Небесполезно также заглянуть в архивы. В первой главе рецензируемой книги находим, например, такое извлеченное из архива описание «мастерской избы»: «две светлицы, меж ими сени» (т. I, стр. 31). Надо думать, что исторические документы, прочитанные глазами этнографа, смогут заговорить на «этнографическом языке».

Авторы «Истории рабочих Ленинграда» прослеживают постепенный рост применения на петербургских заводах и фабриках наемного труда, связывая этот процесс с вопросом становления рабочего класса. «Само собой разумеется, — читаем в рецензируемой книге, — что наемные работники второй половины XVIII в. не являлись еще промышленными пролетариями периода развитого капитализма. Они были относительно свободными лишь по отношению к владельцу предприятия, оставаясь чаще всего феодально зависимыми по отношению к отпустившим их на заработки помещикам или государству. Однако лишение их средств производства, их полная оторванность, особенно в условиях Петербурга, от земледелия, наконец, способ их эксплуатации на частновладельческих предприятиях, хотя и осложненный рядом феодальных пережитков, дают основание квалифицировать вольнонаемных работников петербургской частновладельческой промышленности в качестве предпролетариата» (т. I, стр. 66). Такая точка зрения широко распространена, но отнюдь не бесспорна. В XVIII — начале XIX в. владелец предприятия, применявшего наемный труд, разумеется, более «предкапиталист» (или даже капиталист), чем тот, кто пользуется трудом принудительным. Однако еще вопрос, кто более «предпролетарий» в это время — наемный фабричный рабочий или зависимый мастеровой. При анализе положения рабочих в XVIII в. мы обнаруживаем поразительный феномен: признаки будущего пролетария распределены между этими двумя категориями рабочих. Несвободные мастеровые казенных заводов оторваны от земли, их основное и единственное занятие — работа на предприятии, они полностью отделены от средств производства, у них высокая квалификация, мастерство, это не только кадровые, но и потомственные рабочие. У вольнонаемных рабочих — главным образом оброчных крепост-

⁴ И. Г. Георги, Описание российского императорского столичного города С.-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного, в 15 отделениях, издан П. Безаком в 3 частях, СПб., 1794.

ных — налицо один из существенных признаков пролетариата — наемный характер труда, но они накрепко связаны с помещиком, имеют надел земли и часто занимаются сельским хозяйством; работа на производстве для них не единственное, а нередко и не основное занятие; чаще всего они заняты на неквалифицированных, не требующих обучения работах. По нашему мнению, обе описанные группы в известном смысле были предшественницами будущего пролетариата, но первая группа — в гораздо большей степени, чем вторая⁵.

Характерно, что во второй половине XIX в. передовым отрядом петербургского рабочего класса стали не текстильщики, среди которых в предреформенное время преобладали вольнонаемные, а машиностроители и металлисты, в большинстве своем бывшие до 1861 г. крепостными. Быт, образ жизни, традиции, складывавшиеся из поколения в поколение, оказались важнее. Кому же, как не этнографам, изучить быт, образ жизни, традиции предпролетариата, ведь к концу XIX в. из этих элементов сложилась специфическая культурно-бытовая система, характерная для рабочего класса.

Большое значение авторы рецензируемой книги придают росту удельного веса кадровых рабочих (т. е. тех, кто проработал на производстве не менее 5—10 лет и имел семью в городе) в период капитализма. С точки зрения историка, каков процент кадровых рабочих, таков процент настоящих пролетариев. Настоящих пролетариев? По социальному положению — безусловно, по быту, культуре — отнюдь нет. С точки зрения этнографа, кадровый рабочий, 5—10 лет назад приехавший из деревни, а семью перевезший в город, может быть всего 2—3 года назад, — это человек, находящийся на грани двух культур, переживающий процесс ломки старых и становления новых семейных и бытовых устоев, общественных традиций, привычек, взглядов. Для формирования же особой пролетарской культурно-бытовой системы необходимым условием является наличие группы потомственных пролетариев, а для ее усвоения нужны как минимум два поколения. В связи с этим особенно важно изучить формирование ядра потомственных петербургских рабочих и передачу ими из поколения в поколение традиций не только революционных (о чем историки пишут), но и культурно-бытовых.

В конце XIX — начале XX в. в России еще не было единой городской культуры в этнографическом смысле этого слова. Разные социальные слои городского населения отличались друг от друга в культурно-бытовом отношении. В частности, у рабочих складывалась особая, характерная именно для них культурно-бытовая система. Вместе с тем в это время сама рабочая культура формировалась в локальных формах, так что культурно-бытовой комплекс уральских, например, рабочих отличался от южнорусского и не был похож на столичный. В этой связи большой интерес для этнографии представляют исследования особенностей формирования, положения, истории и облика отдельных групп русского рабочего класса, в частности, петербургского.

При чтении «Истории рабочих Ленинграда» бросается в глаза постоянное наличие в составе рабочего класса Петербурга большого числа неместных уроженцев. Так, в 1869 г. среди металлистов только 12%, а среди текстильщиков 8% родилось в Петербурге. В 1902 г. среди всех рабочих столицы местных уроженцев было всего 19,5%. Петербург как крупный промышленный центр и как столица в пореформенные годы привлекал к себе огромные массы пришлого рабочего люда. Обращает

⁵ Такой же точки зрения придерживается П. А. Вагина. По ее мнению, предшественниками пролетариев на уральских заводах следует считать крепостных заводских рабочих, а не вольнонаемных, так как первые по условиям труда и быта и по идеологии ближе к будущему рабочему классу. См. П. А. Вагина, К вопросу об истоках многоукладности (по материалам Урала второй половины XVIII в.), в кн. «Вопросы истории капиталистической России»; Свердловск, 1972, стр. 291—299.

на себя внимание чрезвычайно пестрый состав пришлых рабочих столицы. В пореформенное время расширяется район выхода пришлых петербургских рабочих. В 1869 г. они были выходцами из 11, в 1897 г. — уже из 49 губерний. В это время в столицу приходят рабочие не только из северных и среднерусских губерний, но и из западно- и южнорусских. В рецензируемой книге никак не анализируется национальный состав рабочих Петербурга, между тем, благодаря близости к нему территорий с нерусским населением, среди рабочих столицы были финны, эстонцы, карелы и белорусы.

Нельзя не отметить (об этом ничего не говорится в рецензируемой книге) внутреннюю неоднородность рабочего класса Петербурга. Надо сказать, что в главах, относящихся к XVIII — первой половине XIX в., даны характеристики многочисленных групп рабочих, различных по общественно-экономическому и правовому положению. Во второй половине XIX в. в культурно-бытовых традициях если не юридически, то фактически, безусловно, сохранялись пережитки этой дореформенной пестроты, которая создавалась также разнообразием местных традиций, приносимых пришлыми рабочими. Многоотраслевой характер петербургской промышленности тоже, вероятно, играл какую-то роль; не все, конечно, но рабочие некоторых профессий, безусловно, отличаются особыми культурно-бытовыми чертами. Нельзя забывать также о том, что в Петербурге сосуществовали предприятия, весьма различные по размерам (заводы-гиганты и мелкие предприятия) и по уровню развития (высокоразвитые индустриальные предприятия и заведения мануфактурного типа). Этот чрезвычайно интересный вопрос — о культурно-бытовых группах внутри петербургского рабочего класса в конце XIX — начале XX в. — не только не разработан, но и не ставился пока ни историками, ни этнографами. В «Истории рабочих Ленинграда» он затрагивается косвенно только дважды. Говорится о наличии в рабочем классе Петербурга прослойки так называемой рабочей аристократии и напоминаются предложенные В. И. Лениным критерии выделения этой прослойки: «образ жизни», «размер заработка» и «миросозерцание»⁶. Нельзя не отметить, однако, некоторые разногласия в трактовке этого вопроса в I и II томах рецензируемой книги (т. I, стр. 468 и т. II, стр. 14). В одной из глав специфика быта на мелких предприятиях рассматривается как одна из причин, вызывающих особенности политического поведения рабочих таких предприятий. Приведем здесь эти необычные для исторической работы рассуждения. Дело в том, что во второй половине 1906 г. более решительно действовали рабочие небольших предприятий. Автор объясняет это как экономическими, так и социально-бытовыми и психологическими причинами. Первые сводились к тому, что «мелкий хозяин экономически не мог позволить себе объявить локаут, закрыть предприятие на продолжительное время или даже провести массовые увольнения» (т. I, стр. 321). Вторые вытекали из особенностей небольших рабочих коллективов: «На небольших предприятиях, где все друг друга хорошо знают, где всякое нарушение правил товарищеского общежития накладывает печать на весь коллектив и где уклад внутренней жизни в большой мере зависит от качества коллектива (особенно на предприятиях с автономными правилами), рабочие ревниво относились к соблюдению в своей среде норм рабочей этики. Вот почему рабочие весьма часто принимали решение штрафовать (в пользу безработных) за пьянство, сквернословие, прогулы и т. п. Высоко было развито чувство товарищеской взаимопомощи» (т. I, стр. 321—322).

Вероятно, мы назвали далеко не все факторы, влиявшие на формирование рабочей, а впоследствии общегородской культуры Петербурга. Этот вопрос требует специального изучения.

⁶ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 27, стр. 308.

Этнографа интересуют также затронутые в «Истории рабочих Ленинграда» вопросы так называемого положения рабочих. С наибольшей полнотой исследованы правовое положение рабочих, условия труда, заработная плата; во многих случаях характеристика заработков дополняется анализом бюджетов, а где нет материала — сравнением доходов и ценами на основные продукты питания. Рассмотрены также жилищные условия, но, как и во всех исторических работах, жилище рассматривается не как элемент определенного типа бытовой культуры, а только как показатель тяжелых условий, в которых жили рабочие.

Подробно, с привлечением большого фактического материала, показано повышение культурного уровня петербургских рабочих на протяжении XIX — начала XX в. Относительно высоко развитая промышленность столицы требовала профессионально подготовленных рабочих кадров. В первой половине XIX в. стали появляться школы сначала на казенных, а потом и на некоторых частных предприятиях. С 1868 г. организацией школ для подготовки квалифицированных рабочих занималось Русское техническое общество, к 1895 г. им было открыто 35 школ. В подъеме общего образования и культуры рабочих большую роль сыграли создаваемые демократической интеллигенцией воскресные школы. Расширению кругозора рабочих способствовала также нелегальная революционная пропаганда. В результате к концу XIX в. сложился, правда еще немногочисленный, тип рабочего-интеллигента. Наряду с этим шел процесс изменения психологии более широких рабочих масс. В книге показан психологический аспект влияния как агитационной деятельности революционеров, так и стачечной борьбы самих рабочих на широкие круги пролетариата. Революция 1905—1907 гг. наложила глубокий отпечаток на облик петербургского рабочего класса. В революционной обстановке менялись быт, взаимоотношения, рос интерес к просвещению, культуре, усиливалась тяга к объединению. Пробуждались к сознательной жизни самые темные, задавленные группы населения, такие как прислуга, официанты и т. п. Главным итогом революционных лет были, как сказано в рецензируемой книге, «изменения в сознании, психике, другими словами, политическое пробуждение рабочего класса, его восхождение на новую ступень». Возросла «тяга к знаниям и культуре», причем развитие общеобразовательных знаний мыслилось в тесном сочетании с повышением общественно-политического сознания; в клубах, школах, просветительных обществах работа шла параллельно в обоих направлениях» (т. I, стр. 335—337).

В годы после первой русской революции просветительная деятельность среди рабочих получает небывалый дотоле размах. Действуют многочисленные общества самообразования (и воскресные школы при них); самым значительным было Петербургское общество народных университетов. Большое внимание культуре и просвещению уделяли возникшие в годы революции профсоюзы. В итоге накануне первой мировой войны среди рабочих Петербурга «не изредка, как в конце XX в., и не сотнями, как в начале XX в., а тысячами насчитывались революционные рабочие-интеллигенты, путем самообразования и активного участия в политической жизни страны достигшие широкого круга разнообразных знаний» (т. I, стр. 397).

Суммируя впечатления от I тома «Истории рабочих Ленинграда», следует сказать, что он дает цельное, достаточно полное и детальное представление о формировании и росте петербургского пролетариата на протяжении 200 лет, освещает некоторые стороны положения и условий жизни рабочих и в разделах, посвященных революционной борьбе и общественной деятельности рабочего класса, характеризует отдельные существенные черты его облика. На базе материалов этого тома, идя своим путем, этнографы могли бы развивать свои исследования быта и культуры петербургских рабочих.

Том II «Истории рабочих Ленинграда» посвящен советскому периоду и, как уже говорилось, несколько отличается от I тома по затрагиваемой тематике. Наиболее полно освещена в нем производственная и общественная деятельность рабочих. Разбирая этот том, мы также оставимся прежде всего на проблемах, интересующих этнографов.

Вопрос о путях пополнения ленинградского рабочего класса не освещается детально во II томе, однако по ходу изложения можно все-таки в общих чертах уловить динамику этого процесса от первых послереволюционных лет до сегодняшнего дня.

В 20-е гг. пополнение и обновление рядов ленинградского рабочего класса происходило главным образом за счет детей рабочих (свыше половины среди вновь принятых в металлообрабатывающую промышленность и около двух третей — среди принятых в текстильную), но крестьянский прилив был все же более или менее значительным, соответственно 31,3% и 25,2% (т. II, стр. 149—150).

Приток крестьян резко возрос в годы коллективизации. К сожалению, в книге приведены несравнимые материалы (для 20-х гг. — процент выходцев из крестьян по отношению ко вновь принятым, для 1931 г. — по отношению ко всем рабочим). Я позволю себе напомнить приведенные Ю. В. Арутюняном данные о том, что среди вновь принятых в 1931 г. металлистов 49% составляли крестьяне по происхождению⁷. Рост, таким образом, был значительным (от 31 до 49%).

Заслугой авторов нам представляется попытка дать характеристику социальной неоднородности выходцев из деревни в 20-е гг. К сожалению, состав ленинградских рабочих по социальному происхождению в 30-е гг. не анализируется, что отчасти объясняется недостатком статистических данных, относящихся к тому периоду. В двух последних главах очень кратко говорится о формировании рабочего класса Ленинграда в послевоенные годы. Мы узнаем, что восстановление количественного состава рабочих в 1945—1955 гг. было достигнуто за счет приезжих, а в последующее десятилетие основным источником воспроизводства рабочего класса становится сам город. К сожалению, вопрос о социальном происхождении новых пополнений здесь даже не ставится. Совершенно выпал из поля зрения авторов II тома и такой важный не только для этнографов, но и для историков вопрос, как районы выхода новых ленинградских рабочих. Все это особенно странно в свете растущего в последние годы интереса к проблемам миграций и социальной мобильности.

Во II томе «Истории рабочих Ленинграда» авторы среди других задач ставили своей целью также раскрыть на примере ленинградских рабочих глубочайшие изменения, происшедшие в рабочем классе за годы Советской власти, в частности в его материально-бытовом и культурном уровне. Следует отметить, что повышение уровня жизни ленинградских рабочих не просто декларируется, как это еще часто бывает, а показано на фактах. Для каждого хронологического отрезка зафиксирован уровень номинальной и реальной заработной платы, анализируются семейные бюджеты, приведен набор потреблявшихся продуктов.

Достаточно полно показывается рост культурного уровня ленинградских рабочих в советское время. Мы помним, что в конце I тома говорилось о наличии среди петербургских рабочих довольно многочисленной прослойки культурных, интеллигентных рабочих-революционеров, сыгравших важную роль в революционном движении. После победы Октября передовая, интеллигентная часть петербургских рабочих уходит на партийную, государственную, хозяйственную работу, причем мно-

⁷ Ю. В. Арутюнян, Коллективизация сельского хозяйства и высвобождение рабочей силы для промышленности, в кн. «Формирование и развитие советского рабочего класса (1917—1961 гг.)», М., 1964, стр. 115.

гие из них уезжают из Ленинграда. В результате собственно рабочий класс остается без интеллигентной прослойки (если иметь в виду рабочих, как тогда говорили, «от станка», а не по социальному происхождению). Авторы как-то не обращают внимания на это обстоятельство, между тем оно весьма характерно для тех лет.

В последующие годы в Ленинграде велась огромная работа по ликвидации неграмотности, которая сильно осложнялась постоянным пополнением из деревни, вливавшимся в рабочий класс. Завершить ликвидацию неграмотности удалось только в 1933 г., когда резко снизился приток в Ленинград сельского населения. Тогда всталась новая задача — добиться, чтобы каждый рабочий получил начальное (4-классное) образование. С этой целью была развернута широкая сеть школ для взрослых. Однако общий культурный уровень рабочих в то время был по-прежнему относительно невысок. Причина, по нашему мнению, была в том, что в эти годы из состава рабочего класса продолжался отлив на руководящую работу самой образованной, самой деятельной, самой сознательной его части. В рецензируемой книге можно найти немало убедительных фактов, подтверждающих это предположение. В 1929 г. в органы управления были выдвинуты 2 тыс. рабочих, в 1930 г. — почти 8 тыс., в 1933 г. — 3,5 тыс. (т. II, стр. 265, 267). Одновременно большое число рабочих пополняло ряды интеллигенции (главным образом технической): в 1933 г. доля рабочих среди студентов возросла до 56,2%; помимо этого, существовало много других форм подготовки специалистов высшей и средней квалификации из рабочих.

Исследуя вопрос о культурном уровне рабочих в 20-е — 30-е гг., следовало бы, по-видимому, исходить именно из того, что рабочий класс в это время являлся главным источником формирования новой советской интеллигенции и аппарата управления; естественно поэтому — и не следует обходить этот вопрос, — что в составе рабочих сократился и слой рабочих-интеллигентов. Если до революции рабочий класс вынужден был создавать свою интеллигенцию внутри себя, то после революции свобода социального продвижения привела к формированию рабочей интеллигенции как особой социальной прослойки, тесно связанной с рабочим классом.

Существенные качественные изменения в рабочем классе произошли только в 1956—1965-е гг. В это время очень вырос культурный и образовательный уровень рабочих Ленинграда. Наиболее типичным для них стало 7—10-классное образование. Для целого ряда профессий обязательным является среднетехническое образование. Среди рабочих вновь стала значительной прослойка рабочих — интеллигентов.

Надо сказать, что и этнографические исследования подтверждают переломный характер периода конца 50-х — начала 60-х гг. Следствием большой социальной мобильности 30-х гг. (из крестьян — в рабочие, из рабочих — в интеллигенцию) была неоднородность норм и форм бытовой культуры в городе. Спустя два поколения эта прошлая мобильность явилась одной из причин, способствовавших формированию единой современной городской культуры.

«История рабочих Ленинграда» убедительно показывает качественную сторону протекавших в рабочем классе процессов, но не дает, к сожалению, достаточно четких количественных представлений о них. Для анализа динамики любого процесса необходимы сводные таблицы, если не для всей работы, то хотя бы по периодам. Но отсутствие таких таблиц — полбеды. В конце концов, вдумчивый читатель берет лист бумаги и выписывает из разных глав данные о количестве неместных уроженцев, связи рабочих с землей и т. п. Но тут его ждет главное разочарование. Дело в том, что приведенные цифры, как правило, несравнимы. Например, уровень грамотности рабочих представлен такими данными: 1862 г. — грамотность всех рабочих (выборочно, в процентах), 1897 г. —

грамотность рабочих мужчин и женщин отдельно и рабочих разных отраслей (в процентах), 1918 г.— грамотность мужчин и женщин (в процентах), 1920 г.— грамотность всего населения города (в процентах и абсолютных числах), 1926 г.— число неграмотных среди всего населения города (в абсолютных числах), 1931 г.— грамотность среди женщин-работниц отдельно по разным производствам (в процентах). Столь же не сравнимы данные о количестве неместных уроженцев, о связях рабочих с землей и др. Иногда, правда, несопоставимость данных вызвана характером имеющегося в наличии материала, но в этих случаях тем более необходимы комментарии и авторские сопоставления. Имеет место также неверная интерпретация статистического материала. Так, характеризуя возрастной состав рабочих, авторы везде подчеркивают, что среди них преобладали рабочие от 20—21 года до 39—40 лет (т. I, стр. 131, 393, 469) или от 18 до 49 лет (т. II, стр. 154) и т. д. Ясно, что таких рабочих и должно быть больше всего, так как слишком велик диапазон взятых возрастов. Если уж оценивать возрастной состав, нужно взять равные по числу лет группы или привести имеющиеся материалы к одному знаменателю. Поясним это на примере данных за 1918 г. (т. I, стр. 469, третья и четвертая графы добавлены нами).

Возрастные группы, лет	Процент рабочих в группе	Число возрастов в группе	Процент рабочих каждого возраста
До 17	10,5	3 года условно	3,5
18—20	11,8	3 года	3,9
21—39	46,6	19 лет	2,5
40—59	28,9	20 »	1,45

При таком подсчете, вопреки утверждению авторов, выяснится, что преобладали рабочие как раз молодых, а не средних возрастов. И это естественно; те, кто работал в 21—39 лет наверняка были рабочими уже в 18 лет (более позднее начало трудового пути в те времена было совершенно исключено). Но не все работавшие в 18—20 лет продолжали работу в 39 лет. Проработав несколько лет в городе, некоторая часть молодых рабочих возвращалась в свою деревню. Немалая часть девушек-работниц из городских рабочих семей бросала работу после замужества.

Недостатки в подаче цифрового, статистического материала особенно обидны в такой серьезной в целом работе, как «История рабочих Ленинграда».

Жаль также, что при характеристике рабочего класса в последние годы авторы не использовали работы социологов, много и плодотворно изучающих ленинградских рабочих⁸. От этого книга много выиграла бы, наполнившись конкретными и убедительными фактами. Это еще раз подчеркивает необходимость сотрудничества представителей родственных наук.

В целом же «История рабочих Ленинграда», основанная на обширной исторической литературе, а во многих частях и на документах, впервые вводимых в научный оборот, будет полезна всем, кто интересуется становлением и развитием рабочего класса нашей страны, в том числе и этнографам.

⁸ «Человек и его работа. Социологическое исследование» (под ред. А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина, В. А. Ядова), М., 1967; «Социальные проблемы труда и производства» (под ред. Г. В. Осипова и Я. Щепаньского), М., 1969 и др.

Д. А. Ольдерогге

ЯПОНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭТНОГРАФИИ АФРИКИ

Известная исследовательница, автор многочисленных работ по этнографии народов Юго-Восточной Азии, Ти Наканэ в одном из своих докладов, посвященном истории развития антропологии (этнографии) в Японии, отметила, что в ее стране эта наука — одна из наименее развитых среди прочих общественных дисциплин. Правда, японские ученые долгое время интересовались этнографией, но они обращали основное внимание на изучение особенностей быта сельского населения своей страны. Только в 80-х годах прошлого века была создана Антропологическая ассоциация, а в следующем десятилетии — Этнологическая и фольклорная ассоциация. В это время японских ученых занимало преимущественно соотношение этнической и фольклорной традиций, что объяснялось влиянием работ Д. Фрезера. Лишь после первой мировой войны идеи Фрезера в трудах японских исследователей уступают место влиянию Э. Дюркгейма, М. Моеса, В. Шмидта, Б. Малиновского и А. Рэдклиф-Брауна. Их труды переводятся на японский язык, их идеи обсуждаются на страницах журналов. В 1934 г. создается Этнологическое общество, а в 1943 г. — Институт этнологии. Японские ученые начинают изучать народы Юго-Восточной Азии. Эти исследования сосредоточиваются в отделе социальной антропологии Токийского университета (Metropolitan University) и в отделе культурной антропологии Университета Токио. Позднее такие центры организуются в Киото и других городах Японии.

Существенный интерес представляют исследования японских ученых в области африканистики. Университет Киото, начиная с 1964 г., издает сборники статей под общим названием «Африканские исследования Университета Киото».

Перед нами восемь томов этого издания¹. Книги прекрасно изданы — отличная бумага, ясная печать, четкие, хорошо составленные диаграммы, превосходные рисунки, много карт и схем.

Знакомство с содержанием еще более радует читателя. Мы видим, что в Японии появилась серьезная школа африканистики, издаются работы, основанные не только на английских, американских или французских публикациях, но и на материалах собственных полевых исследований. Начав с создания научно-исследовательских баз в районе озера Эяси в Танзании, японские этнографы, социологи и лингвисты затем приступили к исследованиям в пустыне Калахари, развернули работы в Камеруне и Мали, а также организовали комплексную научную экспедицию по изучению Сахары.

¹ «Kyoto University African Studies» (ed. Tadao Umesao), Vol. I — 1966, II — 1968, III — 1969, IV — 1969, V — 1970, VI — 1971, VII — 1972, VIII — 1973. В дальнейшем ссылки на эту работу даются в тексте — номер тома и страницы.

В настоящее время никакая серьезная научная работа, проводимая в Восточной Африке, особенно в Танзании, невозможна без знания языка суахили. Поэтому все участники экспедиции заблаговременно изучали этот язык.

В вводной статье, открывающей это издание, проф. Киндзи Иманиси излагает историю подготовки экспедиций, задачи и методы исследовательских работ в Африке. Первоначально японские ученые предполагали организовать приматологическую экспедицию для исследования поведения шимпанзе и проектировали создание научной базы на берегу озера Танганьика. Но затем в составе экспедиции был создан отдельный этнографический отряд. Экспедиция была организована Университетом Киото при содействии Министерства просвещения Японии, некоторых японских компаний и научного фонда Веннер-Грэна. Работы начались в 1961 г.

Этнографический отряд обосновался на северо-восточном берегу озера Эяси, где в местечке Мангола была создана база. Выбор места для экспедиционных работ определялся тем, что здесь обитали не только скотоводы *мангати*, но также охотники-собиратели *тиндига*. Кроме того, в этом районе лет двадцать тому назад обосновались земледельцы-*суахили*, пришедшие сюда с юго-запада, и *мбулу*, переселившиеся с юго-востока.

В первом томе К. Иманиси перечислил все обследованные этнические группы, используя принятые в английской этнографической литературе этнонимы. Однако эти этнические названия были заимствованы из языка суахили и попали в отчеты путешественников и в официально принятую номенклатуру племен через переводчиков и проводников, говоривших на этом языке. Поэтому позднее в работах членов экспедиции все эти этнонимы были заменены самоназваниями. Вместо *тиндига* или *киндига* дается их настоящий этноним — *хадза* или *хадзапи* (где последний слог является показателем множественного числа). Название *мангати* заменено самоназванием племени *датого*, которое в английской литературе иногда ошибочно именовалось *татого* или *татог*. Наконец, суахилийское обозначение народа *мбулу* было заменено этнонимом *ираку* или, что точнее, *иракв*.

Выбор района для исследования был сделан очень удачно. Все перечисленные племена и этнические группы были до последнего времени мало изучены. Так, о существовании хадзапи стало известно лишь в 1931 г., когда появилась небольшая статья известной исследовательницы бушменов Южной Африки Д. Блик².

Известие это сразу привлекло внимание ученых, так как подтверждало сведения о том, что в центральной части Танганьики существуют этнические группы, в языке которых имеются характерные для бушменских и готтентотских языков щелканья. Однако до появления японской экспедиции в этом районе материальная культура, общественный строй и язык хадзапи оставались почти неизученными. Правда, в 1932—1939 гг., здесь работали палеоантропологи и археологи под руководством проф. Л. Коль-Ларсена. Хотя изучение местного населения не входило в задачи этих экспедиций, Коль-Ларсен с помощью переводчиков-суахилийцев записал сказки и мифы хадзапи. В своих публикациях он называет их по-суахилийски *тиндига*. Записи Коль-Ларсена дали много нового для уяснения быта и фольклора хадзапи³.

² D. F. Bleek, The Hadzapi or Watindega of Tanganyika Territory, «Africa», vol. IV, 1931, p. 273—286.

³ Коль-Ларсен опубликовал в серии «Das Gesicht der Völker» две книги: «Das Zaubernhorn, Märchen und Tiergeschichten der Tindiga», Eisenach und Kassel, 1956; «Das Elephantenspiel. Mythen, Riesen- und Stammesagen. Volkserzählungen der Tindiga», Eisenach und Kassel, 1956. Наиболее интересные записи из этих изданий были переведены на русский язык Г. Пермяковым. См.: «Волшебный рог. Мифы, легенды и сказки бушменов хадзапи», М., 1962.

Неизвестно было и происхождение народа иракв, чей язык резко отличается как от языков банту, так и от нилотских языков и наречий. Это тем более удивительно, что иракв жили в окружении народов, говорящих на языках банту, а соседями их с севера были нилотоязычные масаи и датога. Язык иракв оставался почти неизученным, и известный лингвист У. Уайтли признавал его стоящим особняком среди всех языков Восточной Африки и отрицал его связь с кушитскими языками Эфиопии⁴. Нет необходимости говорить, что общественный строй иракв был неизвестен, и о них имелись лишь самые общие, весьма смутные сведения⁵. Наконец, и датога — скотоводческое племя, постоянно враждовавшее с масаи, которые нападали на него еще в конце прошлого века, — были настолько мало изучены, что одна из их групп, *барабаиг*, считалась особым племенем.

Словом, база на озере Эяси устраивалась в районе, который представлял большой интерес для науки. В этой части Республики Танзания представлены три разных хозяйственно-культурных типа. Исследователи могли изучать здесь племя охотников и собирателей хадзапи (суахили их называют *watu wa upindi* т. е. «люди лука»), скотоводов датога (на языке суахили — *watu wa ngombe*, т. е. «люди скота») и, наконец, земледельцев разных этнических групп, говорящих на языках банту (*watu wa shamba*, т. е. «люди поля»). Как оказалось впоследствии, у иракв был четвертый, особый тип хозяйства, при котором земледелие и скотоводство не составляли единого целого, но как бы сосуществовали параллельно, образуя две относительно самостоятельные сферы экономики.

Таким образом, перед группой японских ученых вставало много интересных проблем. Серьезной задачей был также выбор правильного метода изучения. Работа этнографа в условиях освобожденной Африки существенно отличается от исследований, проводившихся в колониальный период, и по методу, и по задачам. Раньше этнограф выступал нередко как представитель колониальных властей. Задачи его исследований зачастую определялись потребностями колониального управления. Этнограф, особенно если он к тому же был правительственным чиновником, облеченным властью, оставался для изучаемого им населения посторонним лицом, часто нежелательным. Этнограф обычно пользовался прямой поддержкой колониальных властей, что также не вызывало к нему доверия со стороны населения. В лучшем положении оказывались те исследователи (нередко миссионеры), которые жили в стране по многу лет и знали местные языки. Однако число таких ученых было невелико. Большая часть этнографов приезжала в страну на короткое время и вела работу часто без знания языка.

В новых независимых странах Африки отношение к этнографическим исследованиям было очень сдержанным. Местные государственные и политические деятели с неодобрением относились к этнографическим исследованиям вообще, так как видели в них стремление изучать старину, древние обряды, отсталые формы хозяйственного быта и т. д., словом все то, что представляет собою помеху в дальнейшем развитии народов Африки. Любые опросы вызывали настороженное отношение со стороны местных жителей, которые привыкли видеть в этнографах представите-

⁴ W. H. Whiteley, The verbal radical in Iraqv, «African Language Studies», t. I, 1960, p. 79—95; H. C. Fleming, Asa and Aramanik: Cushitic hunters in Masai Land, «Ethnology», Vol. VIII, № 1, 1969, p. 1—36.

⁵ В 1937—1939 гг. Л. Коль-Ларсен собрал среди иракв немало сказок о животных. Записи велись при посредстве переводчиков с языка суахили и были изданы по-немецки: L. Kohn-Larsen, Der Hase mit den Schuhen, Tiergeschichten der Iraku, Erich Röth Verlag, Eisenach und Kassel, 1958. Книга эта была переведена на русский язык и была издана под редакцией и с предисловием А. А. Жукова. См.: А. Коль-Ларсен, Заяц в башмаках. Сказки племени иракв, М., 1963.

лей колониальных властей. Поэтому следовало тщательно продумать методику исследований. Японские ученые избрали метод «участника-наблюдателя», позволяющий наблюдать изучаемое общество, так сказать, изнутри. Метод этот в колониях применялся довольно редко. Он получил распространение в английской этнографии лишь со времен Б. Малиновского. Еще раньше этот метод применялся русскими этнографами, находившимися на Дальнем Востоке и крайнем севере Сибири на положении ссыльных. Нечто подобное случилось и с Малиновским, который оказался на Тробрианских островах в качестве подданного Австро-Венгерской империи, интернированного во время первой мировой войны. Как он, так и русские исследователи — Л. Я. Штернберг, В. Г. Богораз, В. Н. Майнов, В. И. Йохельсон и др., — провели долгие годы в непосредственном контакте с местным населением, изучили местные языки⁶.

Метод «участника-наблюдателя» требует длительного периода, в течение которого исследователь постепенно входит в жизнь населения. Этот подготовительный период, который К. Иманиси называет «временем создания атмосферы», в зависимости от обстоятельств может длиться от шести месяцев до года. В это время этнографу целесообразно воздерживаться от каких-либо исследований и расспросов. Однако это не значит, что он должен оставаться пассивным, напротив, ему необходимо активно входить в жизнь наблюдаемого им общества. Именно так стремились действовать японские ученые.

В 1961 г. в Танзанию прибыл японский этнограф Т. Томикава, который специализировался в области социальной антропологии, но имел медицинское образование. Когда была организована база на озере Эяси, он начал лечить больных, делая это бесплатно, и в скором времени заслужил доверие местных жителей. Через несколько лет он был принят в племя датога и был допущен к участию в собраниях совета старейшин племени. Другой сотрудник экспедиции, Вадзаки, был введен в среду местного населения своим предшественником Томикава, к тому времени уже известным населению. Вадзаки, по специальности лингвист и социальный антрополог, начал заниматься с детьми. Он обучал их рисованию и ручному труду, а в 1967 г. открыл школу, для которой японцы выстроили особое здание. Интересно, как Вадзаки постепенно получил признание. Сначала его называли так, как называют в Восточной Африке вообще всех европейцев и американцев, т. е. *wazungu*⁷, иногда *mpeni* (чужеземец) или *jaraṇi*. По мере того как руководимая им школа получала признание, его все чаще стали называть учителем (*mwaliṃu*). Когда же Вадзаки сблизился с местными жителями, его начали величать *gafiki* (друг) или даже *ndugu* (брат). Слово *ndugu* обозначает брата в широком значении этого слова: «свой», «родственник» и т. п. С того времени, как Вадзаки стал «братом» и «другом», его начали приглашать на собрания общины и, наконец, через несколько лет, во время празднования рамадана, Вадзаки получил, по исполнению особого обряда, мусульманское имя Иди Мамеди (хотя он и не принимал ислама). Все стали называть его Иди, и его положение в общине было признано всеми.

Третий член экспедиции — Кодзо Томита, изучавший быт хадзапи, — был отличным стрелком и, убивая дичь, делился ею с охотниками.

Первоначально японские ученые изучали быт двух племенных групп: хадзапи и датога. В 1964 г. была организована вторая база у горы Хананг в центре расселения народа иракв.

⁶ Метод «изучения общества изнутри» описан английским этнографом Дж. Мидлтоном на примере исследования народа лугбара в Северной Уганде. См.: J. Middleton, *The Study of the Lugbara: Expectation and paradox in anthropological research*, New York, 1970.

⁷ К числу *wazungu* относят также китайцев и японцев, но не индийцев и арабов, которых называют *wahindi* и *waarabu*.

В процессе работы японские ученые поняли, что их первоначальное представление о племени как самостоятельном целом, живущем замкнуто, обособленной жизнью, не соответствует действительности, особенно в наши дни. Они отказались от мысли создать монографии об отдельных племенах, ибо убедились, что племена не представляют собою жестко обособленных объединений. Напротив, они находятся в постоянной взаимозависимости, и структура их очень подвижна. Поэтому исследователи сосредоточили основное внимание на проблемах взаимоотношений между разными племенами, например, скотоводами датого и земледельцами иракв, занялись изучением нового типа общин, вроде *гичеуда* у скотоводов датого или *intlamo aseagema* у земледельцев иракв (то, что мы называли бы соседскими общинами).

Естественным развитием этих исследований была постановка проблемы этнического состава и структуры африканского города. Город всегда развивался как многоплеменное единство и не был связан с племенной структурой. Особый интерес для исследования представляли собственно африканские города. Первоначально японские ученые хотели избрать районом своего исследования Моши. Но этот центр племен *джага* был создан немецкими колониальными властями, и поэтому после внимательного обсуждения было решено остановиться на изучении города Уджиджи. Этим занялся С. Хино, социолог по образованию, проживший там более двух лет. Исследования его представляют большой интерес и о них будет сказано ниже.

Хадзапи

Как уже было сказано, изучение быта охотников и собирателей хадзапи — бушменов Восточной Африки — входило с самого начала в задачи экспедиции. Эти исследования вел в 1962—1964 гг. социолог Кодзо Тамита. Кроме того, проблемами психологии хадзапи в 1964 г. занимался один из членов приматологического отряда, Ёсинару Худзиока.

Статья К. Томита «Источники пищи племени хадзапи. Жизнь охотничьего племени в Восточной Африке» (т. I, 157—171) представляет большой интерес и существенно пополняет наши сведения об этом почти неизученном племени. Общая численность хадзапи — 500—600 чел. Они живут в саваннах и предгорьях около озера Эяси небольшими группами: к юго-западу от озера в стране Сукума, к югу в районе Исансу, около Сонга и на восточных берегах Эяси в районе Мангола. Эту последнюю группу и изучали японские этнографы. В нее входило около 80 чел., живших отдельными семьями по 6—11 чел. Основное их занятие — охота при помощи лука и отравленных стрел на антилоп, зебр и птиц, а также собирательство плодов, корней и меда.

Томита приводит названия 14 видов дикорастущих тыкв и других плодов, три названия съедобных корней на языке хадзапи, указывает их названия на суахили, отмечая и их латинские наименования. Интересно, что одному названию на суахили плода *мадаби* соответствует четыре различных названия на языке хадзапи. Очевидно, они различают отдельные виды этого растения, а может быть, стадии его роста.

Лет сорок назад хадзапи были полными хозяевами страны, но в 1948 г. в этот район перекочевали со своими стадами датого, а с юго-запада пришли иракв. В результате лучшие земли были заняты пришельцами, леса частично вырублены, хадзапи лишились многих своих охотничьих территорий. Соответственно в условиях жизни хадзапи произошли большие изменения: теперь они помогают земледельцам обрабатывать земли, получают от них в обмен на продукты собирательства зерно, обзавелись эмалированной посудой и т. д. Интересны сообщения о дележе убитых охотником животных. Охота исключительно дело мужчин. Охотник съедает мозг убитого им животного и, по представлениям

хадзапи, входит таким образом в особую связь с животным, которое становится его «другом» и помогает охотнику убить следующую жертву. Жаль, что этот интересный очерк хозяйства и быта хадзапи не снабжен рисунками орудий охоты: они позволили бы судить о конструкции лука и его отличии или сходстве с луками бушменов.

Две большие статьи Е. Хузиока — «Личность хадзапи — подход к эволюции личности» (II, 147—267) и о названиях животных у хадзапи (VIII, 187—203) — представляют собою исследования «национального характера» в духе теории «культуры личности», которая была в свое время очень популярна среди ученых США. Представленная работами Р. Линтона, Р. Бенедикт, М. Мид, К. Клуэкхоуна и многих других, она связана с фрейдизмом и трудами психолога Кардинера. Исследования японского ученого основаны на применении тестов Роршаха для изучения психологии поведения хадзапи. Хузиока пришел к выводу, что взрослые хадзапи по своему развитию якобы соответствуют детям от двух до пяти лет, живущим в современном цивилизованном обществе (II, 176). Однако необходимо учесть, что сам автор пишет об условиях, в каких проводились исследования: «Люди саванны — watu wa porini — впервые в жизни сидели на стульях в доме и работали с белыми» (II, 165). Опрос велся на языке суахили, т. е. на языке, чуждом охотникам хадзапи. Автор, как он сам признает, также недостаточно владел этим языком, когда он предлагал свои тесты, и поэтому был обеспокоен, каковы могут быть результаты опроса (VIII, 188). Не знаю, что думают по этому поводу психологи, но мне представляется в высшей степени рискованным делать какие-либо заключения на основании опросов, проведенных на языке, чужом как для опрашиваемого, так и для опрашивающего. Кроме того, надо учесть состояние охотника, впервые попавшего в необычную для него обстановку. Невольно возникает вопрос: какое суждение имели бы хадзапи об исследователе, если бы он отправился с ними на охоту, бродил бы с ними в поисках дичи, а затем подвергся бы с их стороны опросу на непонятном для него языке. Я уверен, что поведение ученого-психолога для них показалось бы поведением неумышленного младенца, не знающего животных, не умеющего обращаться с луком и стрелами.

Один из участников экспедиции, работавший на базе Мангала, — Дзиро Танака — затем был направлен в Южную Африку, где в течение 16 месяцев изучал бушменов центральной части Калахари. Самоназвания этих групп *гви* и *гана*. Их языки относятся к центральной группе бушменских языков. Общая численность — более 200 чел. По мнению исследователя, разделение труда в этих условиях «находится на самом низком уровне» — женщины собирают растительную пищу, мужчины охотятся. Он сравнивает общество бушменов с организацией стада у шимпанзе, отмечая, что единственное отличие якобы заключается в том, что бушмены употребляют палки для выкапывания корней и организованно доставляют продукты охоты и собирательства на стоянку. Правда, несколько ниже он добавляет, что бушмены пользуются луками, стрелами, добывают огонь.

Автор явно увлекся работами приматологов. Уместно вспомнить мнение крупнейшего специалиста по языкам бушменов Е. О. Вестфали, который считает вероятным, что центральные группы бушменов в действительности — готтентоты, оказавшиеся в трудных экологических условиях и утратившие многие черты своей прежней культуры в результате деградации⁸.

⁸ E. O. Westphal, A re-classification of southern non-Bantu languages, «Journal of the African languages», vol. 1, pt. 1, 1962, p. 5—6.

Племя скотоводов датога — вторая этническая группа, ставшая объектом изучения японских ученых. В 1962—1964 гг. ее изучал Томикава, к которому в 1963 г. присоединился Тадао Умесао. Общая численность датога по переписи 1948 г. составляла немногим менее 28 тыс. чел. По языку они принадлежат к южной группе нилогов, точнее, к той их части, которую называют нило-хамитами, а по терминологии английских лингвистов — паранилотами.

Умесао, занявшись изучением хозяйственной деятельности этой этнической группы, обнаружил, что хотя окружающие ее народы называют датога «людьми скота», при внимательном рассмотрении обнаруживается, что у них живы еще традиции охотничьего быта.

В своей статье «Охотничья культура скотоводов датога» (III, 77—92) он доказывает, что по своим навыкам и приемам охоты они стоят гораздо выше, чем соседние с ними племена хадзапи. Основные орудия охоты — лук, стрелы, копье и щит. Датога различают два вида охоты: *шагета* и *ририкита*. Первый из них — охота на антилоп гну, зебр, различных птиц и других травоядных животных; при этом употребляют лук и стрелы. К второму виду относится охота на хищных животных — львов, леопардов, а также на носорогов, буйволов и т. д. При охоте на них пользуются только копьями. К *ририкита* относят также нападения на людей, в частности так называют бывшие некогда довольно частыми столкновения с масаями.

Другая работа Т. Умесао посвящена описанию жилища датога. Исследование это отличается исключительной тщательностью, в нем указана вся терминология, связанная с сооружением хижины и ее внутренним устройством. Статья эта «Значение и структура жилища датога» (III, 55—76), снабжена прекрасно выполненными схемами, чертежами и рисунками.

Третья работа того же автора — «Семья и стада скотоводов датога. Анализ системы кличек, даваемых скоту» (I, 173—206). Т. Умесао выясняет систему связи социальной организации патрилинейных датога и системы меток и кличек скота, находящегося во владении отдельных семейных групп. Выясняется, что наряду с метками, указывающими на то, что скот принадлежит данной патрилинейной группе, существуют особые метки, обозначающие, что скотом владеет группа братьев и сестер одной матери в пределах полигинной семьи. Метки иногда указывают на способ приобретения скота: получен ли он в подарок при заключении брака, унаследован или же куплен. Метки имеют обычно геометрическую форму, но теперь, отмечает автор, нередко можно встретить среди них изображения букв латинского алфавита вроде ML, что означает начальные буквы названия газеты «Mambo Leo» («Дела сегодняшнего дня»), издающейся в Танзании.

Начатое Т. Умесао изучение меток скота продолжил М. Томикава, опубликовавший статью о связи социальной организации с обычаями метить скот тавром (VII, 1—36). В статьях «Локальные группы датога. Предварительный отчет-сообщение» (I, 207—230) и «Расселение и миграции датога; социологические различия в обществе датога в дистрикте Мангола» (V, 1—46) он описал миграции и современное расселение племенных групп этого народа. Все датога делятся на девять *эмоджига*, которые он называет «подплеменами». Состав этих групп показывает, до какой степени условно и неопределенно установившееся в научной литературе представление о племени как о четко определенной организации. Из девяти «подплемен» настоящими датога можно считать только шесть. Одно из них, называемое *исимиджега* — «подплемя» охотников, — было принято в союз датога сравнительно недавно, и память об этом еще жива. Два подплемена, которые объединяют кузнецов и ремеслен-

ников, считаются низшими по сравнению с остальными датого, которые не вступают с ними в браки. К числу коренных групп датого относится *барабаис*. До недавнего времени эту группу считали самостоятельным племенем.

Впрочем, в настоящее время ни племя в целом, ни подплемя, т. е. эмоджига, уже не играют важной роли в жизни датого. Основную хозяйственную и социальную единицу составляет *геда*. Этим словом датого обозначают жилище, или точнее группу хижин с загонем для скота, обнесенную колючей изгородью, т. е. хутор, или двор, а также его обитателей. В каждом таком домохозяйстве живет большая патрилинейная семья: мужчина — глава семьи, его жены и дети, а иногда и его ближайшие родственники — мать главы семьи, ее сестры и т. п. Скот принадлежит всему домохозяйству, но распределен между женами главы семьи. Каждая из них имеет свою хижину, которая находится в ее ведении. Это — *гориди*, т. е. хозяйство женщины. Тут же живут ее дети. Женщины доят коров и заботятся о молодняке скота. Все члены гориди называются по имени женщины: так, хижина, т. е. гориди, возглавляемая женщиной по имени Ама, называется гориди Ама, а все члены ее — *ге-Ама*. Соответственно этому делению и скот получает клички и метки. Группа в 10—20 таких домохозяйств образует соседство. Это по существу соседская община, объединенная определенными обязательствами взаимопомощи. Такая соседская группа выступает как самостоятельная общественная единица. Соседские общины могут состоять из родственников как по браку, так и по происхождению, но состав их, по-видимому, очень разнообразен. Соседские общины — появились относительно недавно. В прошлом, когда датого вынуждены были опасаться нападения масаев, они жили не отдельными большими семьями, как теперь, но в одном поселке, обнесенном плотной изгородью. Такие поселки, называемые *мусадода*, имели несколько входов, по одному для каждой родственной группы. Входы назывались *дошта*, и это слово иногда употребляется в значении родственной группы, рода. Отметим, что в языке суахили слово «дверь» (*mlango*) тоже употребляется в значении родовой группы и что этот термин встречается во многих языках банту. Возможно, что на связь между понятиями «род» и «вход, дверь» проливает свет история термина *дошта* у датого.

Иракв [ираку]

Исследование малоизученного народа иракв, язык которого, как было сказано, до сих пор многими лингвистами считается изолированным и не родственным ни одному из языков Восточной Африки, занималась группа ученых, обосновавшихся на базе у подножия горы Хананг: Сэхэи Вада. Кацуёси Фукуи, Тосинао Ёнеяма.

Проблемы хозяйства и материальной культуры рассмотрены в статьях К. Фукуи «Экономика земледельческо-скотоводческих иракв» (IV, 41—76), «Миграция и поселение иракв в округе Хананг. Экологические наблюдения» (V, 100—124), «Алкольные напитки иракв. Методы приготовления и социальные функции» (V, 125—148).

По данным национальной переписи 1957 г., этот народ насчитывал около 130 тыс. чел., живущих на северных склонах горы Хананг. Они переселились сюда, по-видимому, в конце XIX в. под давлением масаев и датого. Основу существования иракв составляет мотыжное земледелие. Главные культуры — кукуруза, разные виды сорго и просо. Кроме того, иракв возделывают различные овощи, а на продажу — пшеницу, бататы и лук. Наряду с этим они разводят крупный рогатый скот, коз, овец и ослов. Некоторое значение имеет и охота с применением лука и стрел. По мнению автора, экономика иракв отличается тем, что земледелие и скотоводство не связаны между собой. Скот служит прежде

всего показателем богатства и накоплений. Его не используют ни при обработке полей, ни для перевозки грузов. Поэтому Фукуи называет их экономику «земледельческо-пастушеской». Работы Фукуи снабжены множеством схем, фотографий и диаграмм, что дает ясное представление об условиях жизни этого народа.

Работы С. Вада посвящены описанию общественного строя: «Локальная группа иракв, ее структура и функции» (III, 109—132), «Территориальная экспансия иракв. Землевладение и локальная группа» (IV, 115—132), «Брачные обряды и обычаи иракв» (VI, 31—32).

В наши дни у иракв, как и у датого, основной общественной единицей является соседская община. Она обычно состоит из 40—50 домохозяйств, принадлежащих к разным кланам или родовым группам. Эта соседская община называется *intlamo asearema*.

На языке иракв — *intlamo* означает «дом». Точного перевода слова *asearema* автор не дает, но указывает его значение: соседи находятся в столь близких отношениях, что могут давать друг другу огонь. За пределы соседской общины огня не дают. Обычай этот возник, очевидно, очень давно, когда огонь приходилось добывать трением и поэтому его поддерживали в очагах постоянно. Но и теперь, когда всюду распространены спички, огонь в очаге не угасает, так как женщины присматривают за ним.

Соседские общины объединены в большие группы, в обязанности которых входят поддержание в порядке дорог и другие общественные работы. Каждое такое объединение имеет общинные земли, главным образом пастбища. Полевые участки и огороды, по словам Вада, находятся в частном владении, но остается неясным, имеем ли мы дело с личной или с частной собственностью. Распределение земли производит глава деревни, потомок первопоселенцев — основателей селения.

Очень интересны работы Т. Енеяма «Жизнь и общество иракв» (IV, 77—114) и «Некоторые основные понятия у иракв в Северной Танзании» (V, 81—100). В этих статьях анализируются их представления о времени, о хозяйственных сезонах, об этапах жизненного пути, о соседях и других народах, о структуре мира и др.

Селения и города (Мангола и Уджиджи)

Как мы уже отмечали, первая исследовательская база экспедиции находилась у озера Эяси в селении Мангола, расположенном в одноименном округе. Название это происходит, по-видимому, от слова мангвала (на языке датого), и с ним связана легенда о некогда жившем здесь сказочном слоне. Соити Танака в своей работе описал географическую среду и условия жизни в этом районе (III, 27—54), а его коллега Ёити Вадзаки — этнический состав Манголы (V, 47—80). Очень интересно и подробно составлены схемы миграций населения и карты его размещения. Они дают ясное представление о многоплеменном характере и сложных этнических взаимоотношениях в этом районе.

Первоначально в саванне у северо-восточного побережья озера Эяси жили одни хадзапи, которые занимались охотой и собирательством. Иногда здесь появлялись масаи, и озеро Эяси было названо так немецкой географической экспедицией 1884 г. со слов масаи. Позднее, в 1940 г., масаи ушли из этого района, но здесь появились сначала датого, а позднее иракв. Так постепенно заселялась местность и возникали небольшие поселения, называемые на языке суахили *киджиджи*.

В период работы японской экспедиции в селении Мангола — административном центре округа — имелись начальная школа, больница и окружной комитет партии ТАНУ. В селении жили 329 семей иракв, 227 — датого, 179 — различных племен, говорящих на языках банту, а хадзапи — всего лишь 13 семей. Все эти этнические группы находятся в

постоянном взаимодействии. Вадзаки указывает, что жители селения на официальных собраниях часто говорят: «Мы, суахили, иракв и датоба, будем совместно работать...». Это означает, что у них еще остается представление о трех различных этнических группах, характер хозяйственной жизни которых пока еще различен, но автор отмечает, что они постепенно сливаются воедино.

В работе «Шама — африканское понимание взаимодействия групп на примере селения Мангола в Танзании» (I, 231—255) Вадзаки выясняет значение этого суахилийского слова. Оно может обозначать любое объединение, нечто вроде клуба или ассоциации (например, скупщиков хлопка и т. п.). Наряду с этим шама может употребляться в значении племени или каких-либо объединений племенного характера. Шама означает также принадлежность данной группы лиц к какой-либо религии, т. е. исламу, католицизму и лютеранству. Наконец, это же слово может относиться к общенациональным организациям и органам власти, обозначая правительство государства, партию ТАНУ и т. п.

Процесс образования новых этнических группировок и проблема формирования национальной общности постепенно стали одной из основных тем исследований японских ученых. В связи с этим они приступили к изучению этносоциальных взаимоотношений в городе.

Сюня Хино и Наомиси Исиге в течение нескольких лет жили в Уджиджи, крупнейшем городе этой части Танзании, исследуя этнический состав, социальную структуру и быт населения. В работах С. Хино «Социальная стратификация суахилийского города» (II, 52—74), «Дифференциация этнических групп по занятиям. Профессиональная дифференциация населения африканского города» (II, 75—108) и «Одежда народа суахили» (II, 109—145) описывается население Уджиджи. Н. Исиге, как бы продолжая изыскания Хино, в статьях «О суахилизации» (III, 93—108), «Соседские общины в африканском городском обществе» и «Социальные отношения и самосознание суахилийского народа в Уджиджи, небольшом городе Танзании» (VI, 1—30), показывает, как на основе суахилийской системы ценностей возникает новое самосознание, преодолевающее трибалистскую ограниченность.

Все эти вопросы были обобщены в работе социолога Тосинао Ёнеяма «Образование национальных культур в Африке. Сравнительное исследование» (VIII, 1—15). Ввиду большого значения затронутых в ней вопросов я надеюсь посвятить им особую статью, что позволит мне высказаться и по поводу концепции Т. Ёнеямы.

Архитектура народов Восточной Африки

Статьи Такако Судзуки, посвященные описанию архитектуры, заслуживают отдельного рассмотрения. Сравнительное изучение различных форм жилища у народов Африки было впервые предпринято Лео Фробениусом, который еще в 1897 г. на основании различия в типах постройки выделил западноафриканский культурный круг, характеризующийся, по его мнению, прямоугольными хижинами с двускатными крышами. Описанию различных форм жилищ в Судане посвятил свою небольшую работу Г. Фробениус (отец Лео Фробениуса)⁹. Позднее типы хижин, как один из элементов материальной культуры, характеризующий культурные круги, постоянно рассматривались в работах представителей культурно-исторической школы. В числе их следует упомянуть книгу А. Шахтзабеля¹⁰. После этой работы каких-либо сравнительных исследований африканского жилища, за исключением «Atlas Africanus» Фро-

⁹ L. Frobenius, Der Ursprung der afrikanischen Kulturen, Berlin, 1898; H. Frobenius, Die afrikanischen Hütten und verschiedene Geräte (глава в книге L. Frobenius), S. 194—229.

¹⁰ A. Schachtzabel, Die Siedelungsverhältnisse der Bantu-Neger, Leiden, 1911.

бениуса¹¹ и карты распространения различных типов жилищ во французских колониях Западной Африки, изданной Институтом Французской Черной Африки¹², не было. Недостатком этих исследований было отсутствие точных данных по охваченным картографированием территориям. Материалы были неравноценными, отсутствовали необходимые чертежи, не было точных измерений, разрезов и планов. Правда, во многих работах при описании форм поселений изучаемой этнической группы или отдельного народа встречаются превосходные, сделанные квалифицированными архитекторами под руководством этнографов, аксонометрические проекции, чертежи планов поселений, продольные и поперечные разрезы хижин. Такова, например, книга Ж. П. Лебефа о поселениях и жилищах народа фали¹³. Однако и в этих случаях авторы не ставили своей целью собрать материалы для создания карты типов жилищ Африки. Именно эту задачу на материале Восточной Африки выполнил Т. Судзуки. В своей работе «Предварительный отчет о жилищах Восточной Африки» (VI, 53—138) он дал описание хижин 16 народов Уганды. Автор объехал территорию Уганды в 1967—1968 гг., проведя в стране более полугод. По каждой этнической группе он опубликовал унифицированные описания и чертежи с точным указанием всех необходимых размеров. Эти материалы содержат общий план всей группы построек, входящих в домохозяйство (так сказать, всего комплекса хижин), включая зернохранилище; общий вид хижины в разрезе в аксонометрической проекции, где показана структура постройки; план хижины с указанием размещения всей хозяйственной утвари; разрезы зернохранилищ разного типа. Ввиду того, что эти данные собраны по определенному плану, автор смог составить сводную сравнительную таблицу по всем типам жилищ народов Уганды и даже провел сравнение размеров этих жилищ с размерами жилищ Древней Японии периодов неолита (культура дзёмон) и раннего железа (курганная культура Кофун).

В другой своей статье, «Дома Восточной Африки» (VII, 224—268), Т. Судзуки описал таким же образом жилища основных этнических групп Танзании, где он провел восемь месяцев в 1970—1971 гг.

Третья его работа — «Дома и жизнь племени тонгве в Танзании» (VII, 269—310). Прожив несколько месяцев в деревне Бусондо, Т. Судзуки описал жилища этого народа, дал подробнейшие чертежи и, кроме того, привел диаграмму занятий членов семьи по часам. Подобное, почти хронометрическое, исследование дает возможность судить о трудоемкости различных процессов хозяйственной деятельности, что встречается в этнографических работах крайне редко.

Особо хочется отметить, что автор не пренебрег учетом формы зернохранилищ, на что обычно не обращают внимания в этнографических работах. Между тем известно, что одни и те же формы жилищ нередко распространены на обширной территории и встречаются у разных племен, тогда как формы зернохранилищ почти всегда разнотипны и специфичны для каждой этнической группы. Несомненно, работы Т. Судзуки представляют исключительный интерес по точности исполнения и методике исследования.

Исследования в странах Западной Африки

Большая часть работ по Западной Африке принадлежит лингвисту П. К. Эгути. Он исследовал преимущественно языки населения горного района Мандара в Северном Камеруне, но интересовался также некоторыми языками народов Республики Мали.

¹¹ L. Frobenius, *Atlas Africanus*, München, 1921, Hf. 1—8.

¹² L'Habitation en Afrique Occidentale et Centrale. *Forme et matériaux*. Essai, Paris, 1948.

¹³ J. P. Lebeuf, *L'habitat au Cameroun: Présentation des principaux types d'habitat*. Essai d'adaptation aux problèmes actuels, Paris, 1952.

Эгути дал описание фонетики и привел небольшой список слов языка, на котором говорят вандара, живущие в Северном Камеруне и прилегающих к нему районах Нигерии (III, 133—142). В другой статье Эгути сообщает некоторые данные о фонетике и основных грамматических чертах языков народов горного района Мандара, дополняя те, пока еще отрывочные сведения, которые имелись до этой группы чадских языков (IV, 133—157). Во время своих работ в Камеруне в 1968—1970 гг. Эгути собрал материалы по языкам мамбай и хиде. Первый из этих языков еще до второй мировой войны исследовал проф. Лукас, посвятивший ему раздел в своем исследовании «Центрально-суданские штудии»¹⁴. Работа Эгути дает много нового: довольно подробный очерк фонетики, сведения о составе именных и вербальных морфем, а также текст и список около 80 слов (VI, 139—194). Другой очерк, «Материалы для изучения языка хиде. Словарь» (VI, 195—293), содержит хиде-французский и французско-хиде словари (более 1700 слов), записанных алфавитом Международного Африканского института. Эти работы существенно пополняют наши знания о до сих пор мало изученных языках группы мандара, положение которых в составе чадских языков еще недостаточно четко определено.

Находясь в Северном Камеруне, К. П. Эгути и Мириам Дж. Эгути занимались также изучением быта и обрядов живущих там фульбе. К. П. Эгути записал ритуальные песни, исполняемые фульбе во время обряда обрезания (VIII, 205—231). Песни эти теперь почти исчезли. Исполнение их, как языческих заклинаний, было запрещено еще во времена Османа дан Фодио. По-видимому, это вообще первые записи такого рода, так как описание обряда инициации у фульбе, называемое «Кумен», было издано Ж. Дитерлен и Амаду Хампате Ба только в переводе на французский язык. Мы до сих пор не располагали этими священными для фульбе текстами на их языке, так как они считаются запретными для непосвященных. Песни, записанные К. П. Эгути, тем интереснее, что мы находим в них древнюю домусульманскую традицию. М. Дж. Эгути дала подробное описание домов, утвари, распорядка дня, одежды и причесок женщин в одном из селений Северного Камеруна. Работа эта ценна потому, что мужчины-этнографы не имеют доступа к этой стороне жизни мусульман фульбе (VIII, 17—92).

Находясь в Мали, К. П. Эгути собрал материалы по одному из диалектов языка догон в районе Бандиагара (III, 143—158) и двух диалектов языка фульбе — *фатома* и *бандиагара*, составив список по каждому из них. Кроме того, им были изучены некоторые особенности диалекта *хомбори*. Прежде считалось, что он относится к восточному диалекту языка *сонгаи*, т. е. *гао*. Новые данные показывают, что хомбори занимает среднее положение между диалектами *гао* и *зарма*.

Японские ученые проводили в Западной Африке и этносоциологические исследования. Так, Масару Акасака проследил постепенное превращение Уелесебугу — деревни в южной части республики Мали — в большое селение с постоянным рынком (VIII, 117—149), Наомити Исигэ в своем предварительном отчете описал переход к оседлости мегара — скотоводческого племени арабов Феццана (VIII, 151—156). Одна статья посвящена описанию палеолитических орудий ашельского и мустьерского типов, найденных в Феццане (VIII, 167—182).

Наконец, обстоятельные исследования переложного земледелия у народа дуру, живущего в северной части провинции Адамауа Республики Камерун, дал Нобуюки Хата. Он изучил соотношение двух типов земледелия — возделывания злаковых культур и выращивания корнеплодов в районе преобладания культуры ямса (*Yams Civilization* по терминологии ботаника Д. Г. Кёрси). Этот вопрос связан с историей распро-

¹⁴ J. L u k a s, *Zentralsudanische Studien*, Hamburg, 1937, S. 191.

странения возделывания ямса, который составляет основу питания многих народов Гвинейского побережья от Ганы вплоть до северной части бассейна Конго. Весь этот район, который американский этнограф Мёрдок называет «ямсовым поясом»,— область древней культуры. Автор приходит к выводу, что переложная система земледелия *дуру* представляет собою переходный тип между земледелием ямсового пояса и земледелием, характерным для пояса саванн, где преобладают злаковые культуры (VIII, 93—115).

Завершая обзор восьми томов серии «Африканские исследования Университета Киото», мы можем с полным основанием сказать, что работы, включенные в это издание, вносят существенный вклад в мировую африканистику.

ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Музей Антропологии и этнографии. Авторы Т. Ганюшкина, Р. Разумовская, И. Шаврина. Фотографии В. Стукалова, Л., 1973.

В 1973 г. ленинградское издательство «Аврора» выпустило в свет альбом о Музее антропологии и этнографии АН СССР (МАЭ). Отраден сам по себе факт обращения к коллекциям МАЭ — одного из крупнейших этнографических музеев мира и первого русского государственного музея (основан в 1714 г.). С созданием Российской Академии наук он вошел в ее состав. Более того, Кунсткамера была в числе тех учреждений, которые послужили научной базой для молодой Академии наук.

Собирание музейных коллекций, начатое Петром I, было продолжено усилиями русских путешественников и ученых XVIII, XIX и XX веков — Д. Г. Мессершмидтом, П. С. Палласом, Г. Г. Лангсдорфом, И. Г. Вознесенским, Ю. Ф. Лисянским, Ф. П. Литке, Н. Н. Миклухо-Маклаем, В. В. Юнкером, А. Л. Яценко, В. М. Алексеевым, П. К. Козловым, М. С. Андреевым, Л. А. Мерварт и многими другими. Музей пополняется и в наши дни. Он обладает богатейшими, в том числе уникальными, коллекциями предметов, характеризующих традиционную материальную и духовную культуру, основные занятия народов мира. Особенно полно представлены коллекции по народам разных стран четырех континентов — Азии, Африки, Америки и Австралии. Собрания МАЭ имеют огромное научное и познавательное значение.

Для изучения коллекций многое делают научные сотрудники Института этнографии АН СССР, издавая «Сборники Музея антропологии и этнографии» (в 1900—1973 гг. вышло 29 томов). О МАЭ написано немало работ, среди которых особо хочется отметить работы Т. В. Станюкович и Т. К. Шафрановской¹. Неоднократно издавались путеводители по МАЭ². Но художественные публикации его коллекций до последних лет были весьма редки и несовершенны. Тем не менее интерес к музею в Советском Союзе необычайно возрос. Музей приобрел известность и за рубежом. Многочисленные экспонаты МАЭ выставлялись в США, ФРГ, Японии, Италии и в других странах. Не случайно за последние годы к изданию коллекций музея дважды обращалось чехословацкое издательство «Артиа» («Индийское искусство»³ и «Африканское искусство»⁴). Неоднократно выпускались наборы открыток, в том числе издательством «Аврора».

Содружество сотрудников Института этнографии АН СССР — авторов рецензируемого альбома — с издательством «Аврора» оказалось весьма плодотворным: их совместная работа о МАЭ, лучшее, пожалуй, по качеству из всего того, что было до сих пор издано об этом первоклассном музее.

Альбом состоит из пяти разделов: «Америка», «Африка», «Океания и Австралия», «Юго-Восточная и Южная Азия», «Восточная Азия», включающих 124 цветные фотографии. Все опубликованные в книге предметы умело аннотированы. Альбом открывает очерк истории музея, и в каждом разделе книги имеется описание коллекций по соответствующему региону. Эти описания составлены опытными экскурсоводами Музея Т. И. Ганюшкиной, Р. С. Разумовской, И. Ф. Шавриной с большим знанием дела. Короткие тексты весьма содержательны. Как и аннотации, они даны на двух языках — русском и английском, что делает их легко доступными для зарубежного читателя.

¹ Т. В. Станюкович, Кунсткамера Петербургской Академии наук, М.-Л., 1953; ее же, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, 1714—1964 гг., М.—Л., 1964; ее же, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого за 250 лет. В кн.: «250 лет Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого», «Сб. МАЭ», т. XXII, М.-Л., 1964, стр. 5—150; Т. К. Шафрановская, Чудес палата, Л., 1967.

² См., например: «Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого», М.-Л., 1964; «Африка», М.-Л., 1964; «Австралия и Океания», М.-Л., 1964; «Америка», М.-Л., 1964; «Ближний и Средний Восток», М.-Л., 1964; «Восточная Азия», М.-Л., 1964; «Древний Хорезм», М.-Л., 1964; «Индия», М.-Л., 1964; «Индонезия», М.-Л., 1964; «Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Краткий путеводитель», Л., 1971.

³ E. Siebert, W. Forman, Indianerkunst der amerikanischen Nordwestküste, Praha, 1967.

⁴ «Afrikanische Kunst. Aus den Afrika-Sammlungen des Museums für Anthropologie und Ethnographie, Leningrad» (Text D. Olderogge. Fotografien W. Forman), Praha, 1969.

Прекрасно выполнены фотографические работы. Художественный вкус фотографа В. Стукалова, умение показать красоту вещи, найти для нее соответствующий фон, заслуживают самой высокой похвалы. Великолепно показаны такие вещи, как японские кинжалы в ножнах (№№ 109—112), китайская ширма XVIII в. (№№ 106—108), жреческая книга батаков (№№ 81—83), батакский амулет — пять пластинок из ребра буйвола (№№ 77, 78). Я особо отмечаю эти вещи, так как здесь точность изображения предмета максимальна: мы видим не только вещь в целом, но и ее детали в нарастающем приближении. Этот прием представляется исключительно удачным. Очень искусно найдены ракуры, в которых даны эскимосские и индейские маски (№№ 7, 8, 20), африканские деревянные фигурки (№№ 42, 44, 45) в сочетании с прекрасно подобранным фоном (иногда он в той же цветовой гамме, что и предмет, иногда контрастирует с ней). Это делает изображение предельно выразительным. Во всех случаях великолепно передана фактура материалов: мех, на котором лежит костяная трубка (№ 4), перламутровые вставки деревянной маски (№№ 16—18), лоснящийся от жира деревянный сосуд (№ 28), корневое плетение шляпы (№ 29), холодный блеск металла (№№ 71—73), мягкое свечение фарфора (№ 99), матовая прозрачность нефрита (№ 101). Никогда прежде не была так четко воспроизведена деревянная дощечка с письменами острова Пасхи — один из самых уникальных предметов собрания МАЭ.

Можно было бы сказать еще много добрых и восторженных слов о каждой фотографии.

Несколько замечаний. Название книги не совсем соответствует ее содержанию. Книга — о коллекциях музея, но не о самом музее, так как в ней даже нет ни одного изображения музейного интерьера. К сожалению, отсутствуют уникальные коллекции по Тибету, совсем не представлены вьетнамские и тайландские коллекции, материалы по Ближнему и Среднему Востоку.

Неудачен текст на футляре книги. Так, из собирателей коллекций названы только И. Ф. Крузенштерн и Н. Н. Миклухо-Маклай, хотя первый из них вряд ли принадлежит к числу крупнейших (это, кстати, следует и из текста книги); между тем, не названы многие другие, например, И. Г. Вознесенский, П. С. Паллас, Г. Г. Лангсдорф. Неточно сказано на футляре о специфике экспозиций МАЭ и основном содержании альбома. Из технических недостатков отмечу затемнение фона на некоторых снимках.

Однако недочеты, которые естественны в каждой большой, впервые предпринимаемой работе, не снижают и не могут снизить самой высокой оценки прекрасной книги о МАЭ, выпущенной издательством «Аврора».

Следует также приветствовать инициативу авторов альбома и пожелать им продолжить успешно начатое дело художественной публикации коллекций музея.

А. М. Решетов

Р. С. Васильевский. Древние культуры тихоокеанского севера. Новосибирск. 1973. 267 стр.

В последнее время древние культуры северной части Тихого океана привлекают большое внимание археологов и этнографов. Без углубленного изучения этих культур нельзя понять не только этническую историю обширных районов Азии и Америки, но и решить проблему заселения американского континента. Поэтому не удивительно, что и на азиатских, и на американских берегах северной части Тихого океана ведутся многочисленные археологические раскопки. Появился и ряд обобщающих работ, но по большей части в них анализируются раскопки только с азиатской или только с американской стороны Тихого океана. Поэтому нам представляется столь своевременным появление монографии Р. С. Васильевского, в которой почти с равной степенью детализации рассматриваются и сопоставляются древние культуры Алеутских островов, Камчатки, Курильских островов и Сахалина и прослеживаются параллели с культурами внутренних областей Азии, Америки и Японии. При этом исследование Р. С. Васильевского основано не только на литературных источниках и археологических коллекциях, но и на собственных полевых работах автора на Охотском побережье, Амуре и Сахалине.

Глава I рецензируемой книги посвящена Алеутским островам, в ней анализируются материалы стоянки Анангула на одноименном острове, многослойного поселения Чалука на о. Умнак, дается обзор других археологических находок на Алеутских островах и рассматривается вопрос о месте алеутской культуры в древней истории Тихоокеанского севера.

Стоянка Анангула по результатам радиоуглеродных датировок имеет возраст 8000—10 000 лет и является древнейшим из ныне известных поселением человека на Алеутских островах.

Затем автор прослеживает преемственность между культурами обитателей Анангулы, палеоалеутского поселения Чалука и алеутских селений нового времени и присоединяется к выводу В. Лафлина и некоторых других исследователей об отсутствии в алеутской культуре за тысячелетия ее развития резких и коренных перемен. Сравни-

вая древние стоянки алеутов на различных островах архипелага, автор делает также вывод, что на всем протяжении Алеутских островов в образе жизни населения не было принципиальных различий. Особенно интересен в этой главе тщательно проведенный анализ параллелей между индустрией Анангулы и каменным инвентарем различных азиатских стоянок. В частности, автор отмечает близость орудий из Анангулы и орудий из V—VI слоев исследованной Н. Н. Диковым Ушковской стоянки на Камчатке. Все параллели, которые проводит Р. С. Васильевский между находками на Алеутских островах и находками в разных районах Азии, нам кажутся хорошо обоснованными. В то же время при сравнении индустрии Анангулы с различными американскими индустриями автор, как нам кажется, фиксирует свое внимание преимущественно на различиях между ними и не обращает равного внимания на отмеченные рядом исследователей значительные элементы сходства между Анангулой и различными микроиндустриями Аляски, например Денби. Так, автор не касается концепции Г. Банди, согласно которой северо-западная традиция микролезвий и арктическая традиция малых орудий составляют в сущности одну индустрию (*эпиграветтиен*, по терминологии Банди). Сюда же Банди относит и Анангулу¹. Не рассматриваются в рецензируемой книге и взгляды, высказанные Д. Дюмондом в одной из его статей, согласно которым каменный инвентарь Анангулы и Денби не так сильно различается, как это иногда представляется, и Анангула может рассматриваться как генетическая предшественница Денби, т. е., иными словами, обитатели Анангулы, с точки зрения Дюмонда, являются предками или одними из предков эскимосов². Со взглядами Дюмонда хорошо согласуются и данные лингвистики о родстве эскимосского и алеутского языков и о предположительном времени их разделения. Поэтому нам представляется, что без разбора аргументации Дюмонда и его единомышленников вывод Р. С. Васильевского об отсутствии соответствий между древнеалеутскими индустриями Анангулы и Чалуки и исходной для собственно эскимосских культур арктической традиции малых орудий нельзя считать окончательным. Тем самым, на наш взгляд, пока остается открытым вопрос о времени разделения культур, ведущих к эскимосам и алеутам. Может быть, это произошло, как полагает Р. С. Васильевский, более 10 тыс. лет назад, еще в Азии, а может быть, значительно позднее — на Алеутских островах и юго-западе Аляски. Нам же кажется, что истина лежит где-то посередине и что это разделение могло произойти в период существования берингоморского моста в результате взаимодействия древнейших эско-алеутов, занимавших южную прибрежную часть моста, с более поздними переселенцами, проходившими через внутренние районы моста и занимавшимися охотой на сухопутных животных. Но кто бы ни оказался прав, в любом случае проведенный Р. С. Васильевским анализ параллелей между древними культурами Американского севера и Азии много дает для познания конкретных истоков алеутской и эскимосской культур.

Глава II рецензируемой монографии посвящена археологическим культурам Камчатки, развитие и внешние связи которых прослеживаются автором начиная с верхнего палеолита и кончая поздним пережиточным неолитом. В этой главе развивается, в частности, мысль о том, что в верхнем палеолите Северная Япония, Камчатка, Алеутские острова и Приморье составляли одну культурную область — рыболовов, собирателей и охотников на небольших животных. Интересны также соображения автора о возникновении в пережиточном неолите корякско-чукотской этнической общности, а также по многим более частным вопросам.

В главе III о древних культурах Курильских островов и Сахалина большое место уделяется характеристике охотской культуры и ее связей с культурами Камчатки, Алеутских островов, Японии, Приамурья и Приморья. Очень перспективна, на наш взгляд, хорошо обоснованная Р. С. Васильевским идея о том, что археологическая охотская культура соответствует древненивхской этнической общности. Одновременно автор сближает охотскую культуру, а тем самым и древненивхский этнос с древнекорякской и алеутской культурами, но не с эскимосской.

В заключении к книге автор четко формулирует утверждение, что близкие между собой охотская, древнекорякская и алеутская культуры значительно отличаются от эскимосской, формировавшейся и развивавшейся иным путем, прежде всего в результате скрещения палеоиндейских культур и культурных традиций более поздних переселенцев из Северо-Восточной Азии. Основным центром формирования эскимосских культур автор считает юго-запад Аляски. На север, к Берингову проливу, эти культуры, по его мнению, распространились позднее, на стадии окви.

Таким образом, мы видим, что в рецензируемой монографии есть некоторые дискуссионные положения, и это одно из ее достоинств. Поэтому рецензируемая монография не только вносит значительный вклад в изучение формирования и связей древних культур тихоокеанского севера, но и вызовет полезную дискуссию по еще не решенным проблемам.

Л. А. Файнберг

¹ H. B and i, Eskimo prehistory, College (Alaska), 1969, p. 176—177.

² D. E. Dumond, On Eskaleutian Linguistics, Archaeology and Prehistory, «American Anthropologist», vol. 67, № 5, pt 1, 1965, p. 1250—1251.

Устно-поэтическое творчество мордовского народа, т. VII, ч. 1-ая — Эзянские причитания-плачи. Под ред. К. Чистова и К. Самородова. Саранск, 1972, 374 стр.

С 1963 г. Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР выпускает многотомную серию книг под общим названием «Устно-поэтическое творчество мордовского народа», включающую основные жанры мордовского фольклора. Читатели получили уже шесть томов из этой серии, куда вошли эпические, лиро-эпические и лирические песни, сказки, загадки, пословицы, поговорки и т. д.

В очередной, седьмой том «Устно-поэтического творчества мордовского народа» включены эзянские причитания-плачи. Этот сборник по существу первая крупная публикация текстов мордовских причитаний.

Отметим, что до Великой Октябрьской социалистической революции у мордвы не было своей письменности, а следовательно, и письменных памятников, свидетельствующих о бытовании и исполнении причетов в далеком прошлом. Но археологические данные о древнейших формах обряда погребения и дошедшие до нас устные причитания свидетельствуют о древности традиции. Некоторые представления о древнейшей традиции причитывать над умершим можно также получить, обращаясь к другим жанрам мордовского фольклора. Так, у мордвы почти до наших дней бытовали старинные фольклорные произведения, в которых говорилось о причитывании по случаю кончины члена рода, семьи¹.

В предреволюционные десятилетия отдельные записи мордовских причитаний были сделаны финским ученым Х. Паасоненом² и А. Шахматовым³.

В советское время благодаря ежегодным фольклорно-этнографическим экспедициям удалось собрать солидный рукописный фонд мордовского фольклора, состоящий из произведений различных жанров, в том числе и причитаний-плачей как обрядовых, так и необрядовых.

В рецензируемую книгу вошли причеты из этого фонда и из различных сборников, а также лучшие тексты из публикаций Х. Паасонена, А. Шахматова и М. Евсеева.

Материал в сборнике распределен по двум разделам: обрядовые традиционные причитания (*лайшемат*) и внеобрядовые традиционные плачи. В первый раздел вошли эзянские плачи о матери, об отце, о сыне, о муже, о прочих родных, рекрутские и разные, во второй — плачи разные и причитания советского времени: плачи об умерших вождях, погибших космонавтах и героях Великой Отечественной войны и т. д.

Такая систематизация в целом приемлема, сомнение вызывает только выделение в особую группу плачей «разных», анализа которых мы не найдем ни в предисловии, ни в комментариях к текстам.

Мордовские народные причитания интересны как источник сведений о семейной и общественной жизни народа. Это поэзия эмоционально напряженная, способная вызывать чувства сострадания, любви и гнева.

В сборнике широко представлены похоронные плачи. Все они сопровождаются описанием действий, связанных с различными моментами похоронного обряда, что значительно повышает ценность книги.

Большим своеобразием отличаются рекрутские причеты. Но к сожалению, в сборнике их очень мало — всего восемь текстов. В этих причитаниях рассказывается о переживаниях рекрута, расставшегося с родными, о тяжелой службе в царской армии, о невыносимой жизни его родных, особенно престарелых родителей или детей-сирот, оставшихся без опеки, покинутых на произвол судьбы. Эти социальные мотивы характерны для причитаний «Зачем же, несчастный, забирают тебя» (№ 57), «Плач матери по сыну, призванному в царскую армию» (№ 63), «Плач жены по мужу, взятому в рекруты» (№ 64) и др.

Значительный интерес представляют и внеобрядовые традиционные плачи, в которых плакальщицы выражали свое горе в связи с постигшим их несчастьем или бедами их близких. Таковы «Плач женщины о своей вдовьей жизни» (№ 65), «Плач матери при уходе сына на новое местожительство» (№ 66), «Плач при пожаре» (№ 67) и «Плач о бедности» (№ 68). Некоторые из этих причитаний, раскрывающие причины народных страданий и мучений, отличаются большой эмоциональностью. Таков, например, «Плач о бедности» (№ 68), в котором с большой поэтической силой выражается протест против крепостного строя, обрекавшего людей труда на тяжелую бесправную жизнь.

Заслуживают внимания причитания советского времени. В них нет больше жалоб на нужду и тяжелую жизнь, основными мотивами стали печаль и горе от потери любимого человека.

Мордовские народные причитания оказали большое влияние на творчество мордовских народных сказителей наших дней Е. П. Кривошеевой и Ф. И. Беззубовой,

¹ См. И. Н. Смирнов, Мордва, Казань, 1895.

² Х. Паасонен, Mordwinische Volksdichtung, Bd. II, Helsinki, 1939.

³ А. А. Шахматов, Мордовский этнографический сборник, СПб., 1910.

которым удалось создать интересные плачи. Некоторые из этих плачей вошли в рецензируемый сборник.

В советское время на основе обрядовых и необрядовых причитаний родились плачи о Героях Советского Союза летчиках-космонавтах: «Плач о Юрии Гагарине» (№ 75) и «Плач колхозницы о гибели космонавта В. М. Комарова» (№ 76). Плач о Ю. А. Гагарине записал в 1968 г. мордовский фольклорист Л. С. Кавтаськин от колхозницы с. Новая Кармала Кошкинского района Куйбышевской области О. И. Кудашовой. оплакивая верного сына нашей страны, О. И. Кудашова с глубоким чувством рассказала о нашем современнике, его боевом подвиге во имя Родины. Плач колхозницы-эрзянки М. П. Кавриной о гибели космонавта, В. М. Комарова говорит о жизни, подвиге и смерти героя-космонавта с такой эмоциональной взволнованностью и страстностью, что причитать ее становится в один ряд с лучшими образцами лирико-патриотической поэзии.

Сборнику предпослано содержательное предисловие Л. С. Кавтаськина, знакомящее читателей с историей собирания и изучения мордовских народных причитаний, дающее анализ жанров эрзянских плачей.

Но в предисловии имеется ряд недостатков. Так, автор на стр. 19 ссылается на рекрутские плачи под № 79, 80, 81, 82, тогда как в книге всего 78 причитаний.

На той же странице в примечании сказано, что «характерные социальные мотивы и художественные особенности рекрутских плачей видны в причитаниях, помещенных в этом сборнике под номерами 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77». Но и здесь автор вводит читателя в заблуждение, так как под этими номерами напечатаны не рекрутские плачи, а причитания советского времени.

Хотелось, чтобы в предисловии было больше сказано о поэтическом мастерстве плакальщиц. Не следовало обходить молчанием такие вопросы, как время и условия создания отдельных плачей, национальное своеобразие эрзянской причеты, особенности бытования плачей советского периода.

Комментарии к плачам сводятся к коротким библиографическим справкам. Необходимо было дать более пространные комментарии, помогающие понять замысел и отдельные детали текста.

И все же, несмотря на указанные недочеты, выход очередного тома «Устно-поэтического творчества мордовского народа» — значительное событие не только в культурной жизни мордовского народа, но и во всей фольклористике финно-угорских народностей. Впервые с мордовскими (эрзянскими) плачами смогут познакомиться читатели не только мордовской национальности — все тексты даны в подстрочном переводе на русский язык.

М. Г. Имяреков

Л. М. Левина. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в I тысячелетии н. э., М., 1972, 250 стр.

С начала археологического изучения сырдарьинских древностей прошло более века. Материал, который накоплен за эти годы, безбрежен; открыты и обследованы десятки поселений и могильников, опубликованы многочисленные статьи и монографии, однако до сих пор многое в исторических судьбах народов, живших по берегам Сырдарьи в I тысячелетии н. э., остается неясным.

В монографии Л. М. Левиной проведено исследование массового археологического материала — керамики, полученной из раскопок и путем сборов на памятниках, расположенных по нижнему и среднему течению Сырдарьи. Это первый сводный труд по классификации и датировке керамики I тысячелетия н. э. из нескольких различных районов. В книге на основе сравнения керамических комплексов выделяются три региона с распространенными в них тремя различными культурами — джеты-асарской, каунчинской и оттарско-каратауской.

В основу исследования положены главным образом материалы многолетних работ Хорезмской археолого-этнографической экспедиции и Чардаринской экспедиции АН КазССР 1959—1963 гг. В работе широко использовались также фонды музеев Алматы, Ташкента и других городов.

Рецензируемая книга состоит из введения, двух частей — Керамика Нижней Сырдарьи в I тысячелетии н. э. (стр. 12—89) и Керамика Средней Сырдарьи в I тысячелетии н. э. (стр. 90—224) — и заключения (стр. 225—242).

В первой части рассматривается керамика памятников, расположенных собственно в урочище Джеты-асар, и керамика с городищ и поселений низовьев Сырдарьи.

Основной материал с четкой стратиграфической привязкой получен с городища Джеты-асар 3 (Алтын-асар) ¹.

¹ С. П. Толстов, По древним руслу Окса и Яксарта, М., 1962, стр. 186—190.

Раскопки «Большого дома» — бугра со спиральной планировкой — позволили в свое время С. П. Толстову выделить два горизонта.

В монографии Л. М. Левиной нижний горизонт датируется на основании изделий из металла, кости, стекла и камня, — костяного псаля с двумя отверстиями на выделенных подтреугольных концах, костяных накладок сложного лука, хрустальных и коралловых бус, характерных для первой половины I тысячелетия н. э. и более позднего времени. Поэтому, когда автор датирует нижний горизонт в диапазоне I—IV вв., это звучит несколько условно. Впрочем, Л. М. Левина оговаривает это и предлагает еще одну дату — I в. до н. э. — конец III в. н. э. (стр. 16).

Керамику нижнего горизонта автор рецензируемой работы делит на две группы — кухонную посуду грубой лепки и столовую, тару и т. д., изготовленную из хорошо смешанного теста, при помощи ручной подставки.

Для верхнего горизонта характерна иная планировка жилищ, очаги других типов, в частности каны. Датируют верхний горизонт при помощи железных трехлопастных наконечников стрел, железных и бронзовых пряжек, колец, серег, бус и бронзовых монет. Приведенная в книге цветная таблица бус из памятников урочища Джеты-асар дает наглядное представление об этом виде археологического материала (см. рис. 4). Верхний горизонт отнесен к IV—VII или началу VIII в. (стр. 20). Керамика его, судя по описанию, в массе своей мало отличается от керамики нижнего горизонта. Однако появляются новые приемы в отделке поверхности горшков, прорезной и прорезанный орнамент и такие виды посуды, как котлы на поддонах «гуннского типа», изготовленные по образцам металлических котлов. На этих отличительных признаках автор концентрирует свое внимание, и это понятно, так как, только уловив отличия керамики в стратиграфически выделенных слоях, можно в дальнейшем датировать подъемную керамику других памятников оазиса. Однако для большей наглядности следовало бы составить сводную таблицу процентного соотношения видов посуды из обоих горизонтов, используя, таким образом, более активно цифровой материал, который теряется в описаниях.

Кроме «Большого дома» на Джеты-асаре раскапывался «Малый дом» — бугор, диаметром 30 и высотой 10 м. Керамика из него аналогична керамике верхнего горизонта и «Большого дома».

Описание керамики памятников (поселений) джеты-асарской культуры дается на стр. 22—57. Характеризуется керамика Джеты-асара I—14, Биданк-асара, 1, 2, Томпак-асара, Кара-асара, Домалак-асара, Сарлы-асара, Ахмед-калы, Унгурлы-асара, Мойшоты-асара, Кара-асара и др.

В каждом случае приводится краткая характеристика топографии памятников и дается подробный анализ керамического материала и его датировка. Причем датировка опирается главным образом на аналогии с Джеты-асаром 3. Думается поэтому, что подробное описание подъемной керамики каждого конкретного памятника вряд ли необходимо. Проще, на наш взгляд, было бы ограничиться только описанием новых типов и видов посуды, если они имеются, в остальном же ссылаться на Джеты-асар 3. Удобнее для читателя был бы и хронологический принцип в последовательности описания памятников: сначала поселения I—IV вв., затем IV—VII, VIII—IX вв. и недатированные.

Специальный раздел главы посвящен керамике погребений урочища и антропоморфным изображениям.

Керамика джеты-асарских памятников вполне убедительно делится и на три археологических этапа: Джеты-асар I, II, и III. Однако хронологические рамки двух последних этапов IV—VII и VIII—IX вв. (точнее — конец VII—IX вв., стр. 74, 229) могут быть, как нам кажется, иными. Повсюду в Средней Азии керамика VII—VIII вв. имеет черты нового стиля². Смена стилей была повсеместной, и долина, нижней Сырдарьи не была настолько изолированным районом, чтобы и здесь не появились изменения. На наш взгляд, правильно было бы начало третьего этапа отнести не к концу VII — началу VIII в., а к VII в. (стр. 74, 229).

Заслуживают внимания наблюдения автора о распространении джеты-асарской культуры на ее последнем этапе в низовьях Сырдарьи и Амударьи (стр. 76—89). Убедительно выделяются на материалах так называемых болотных городищ джеты-асарский комплекс и семиреченские элементы. Передислокация культуры в историческом плане может быть связана с борьбой, развернувшейся в долине Средней и Нижней Сырдарьи между кангарами-печенегами и пришельцами из Семиречья — огузами (стр. 242), поддерживаемыми карлуками³. Не случайно в IX в. на Средней Сырдарье, в Фарабе, Ибн Хордадбек помещает карлуков⁴. Передвижениями тюркских племен следует объяснять и распространение на Сырдарье семиреченских элементов в керамике.

Во второй части монографии рассматривается керамика Средней Амударьи. Основное место здесь занимает глава I, посвященная керамике каунчинской культуры. В раз-

² Б. И. Маршак, Керамика Согда V—VII вв. как историко-культурный памятник, Автореферат канд. дис., Л., 1965, стр. 24—26.

³ С. Г. Агаджанов, Очерк истории огузов и туркмен Средней Азии IX—XIII вв., Ашхабад, 1969, стр. 128—132.

⁴ «Материалы по истории туркмен и Туркмени», т. I, М.—Л., 1939, стр. 144.

деле о городище Каунчи-тепе анализируется материал из раскопок Г. В. Григорьева 1933, 1935 и 1937 гг. Приводя датировки Г. В. Григорьева и А. И. Тереножкина (стр. 111), автор заключает, что уточнить датировки позволяют новые данные, полученные раскопками Ак-тобе, Минг-Урюка и Чаш-тепе под Ташкентом.

Комплекс керамики с четкой стратиграфической привязкой получен при раскопках Ак-тобе 2, расположенном на правом берегу Сырдарьи. Городище однослойное, с двумя строительными периодами.

Верхняя дата определяется благодаря редкостной находке погребения в купольном помещении дворца, использованного в качестве своеобразного мавзолея после гибели поселения. Это конец III — начало IV в. н. э. При раскопках Ак-тобе 2 собрана уникальная коллекция посуды, получены многочисленные серии хумов, горшков, кружек, мисок, фляг. Ближайшие аналогии дает нижний слой городища Каунчи, керамика которого относится к этому же времени. Керамика из поселения Шаушукум-тобе и нижних слоев Ак-тобе 1, по мнению Л. М. Левиной, является следующим хронологическим этапом развития каунчинской керамики, но датируется в пределах IV—VIII вв.

Для уточнения хронологии культуры Каунчи автор широко привлекает керамику Минг-Урюка, Чаш-тепе, Алимбай-тепе, Кугант-тепе и Ак-тепе. В специальном разделе рассмотрена керамика из погребальных памятников Ташкентского оазиса. Вполне обоснованно предлагается датировка курганов «Никифоровских земель», Пскентского могильника и одиночных погребений, а Шаушукумский могильник датируется по-новому — в пределах III в. до н. э. — VIII в. н. э.

В результате сопоставления керамики из городищ и погребений предлагается периодизация керамики культуры Каунчи по трем этапам: Каунчи I—I в. до н. э. по III или начало IV в. н. э.; Каунчи II — с конца III по V в. н. э., Каунчи III — с VI по начало VIII в. н. э. Для керамики каждого из них выделяются основные виды и типы посуды, специфические элементы. Важна и резюмирующая часть раздела, где показана динамика развития поселений и погребальных памятников каунчинской культуры на протяжении всех трех этапов, намечаются связи с Согдом, Семиречьем и Нижней Сырдарьей.

В разделе «Северо-восточная периферия территории распространения каунчинской культуры» намечены районы с памятниками, дающими керамику, аналогичную или во многом похожую на каунчинскую двух ее последних этапов. Указаны, в частности, Чаткальская долина и верхнее течение Таласа. Поскольку, однако, известные городища здесь не дали керамики, датируемой ранее VII в., Л. М. Левина предлагает считать долину Чаткала и районы верховий Таласа местом обитания исключительно кочевников (стр. 193). На наш взгляд, отсутствие поселений первых веков нашей эры свидетельствует лишь о недостаточной изученности этих районов. Примером может служить среднее течение Таласа, где только совсем недавно обнаружены поселения, четко датируемые первой половиной I тысячелетия н. э.⁵ Это в первую очередь относится к поселению Кызыл-Кайнар, где в сводчатом помещении найдено погребение воина, аналогичное погребению на Ак-тобе 2.

Вторая глава раздела посвящена керамике отарско-каратауской культуры, впервые выделенной А. Н. Бернштамом под именем кангюйско-каратауской⁶. Трудности датировки керамики из районов распространения памятников отарско-каратауской культуры вполне понятны. Раскопки здесь почти не проводились, и керамика в большинстве своем подъемная. Хронологическая периодизация ее, предложенная в свое время Е. И. Агеевой, в значительной мере устарела, что уже отмечалось в печати⁷.

Поэтому вполне оправдана попытка автора дать новую датировку керамики Тик-Турмаса, Ак-тобе Алтынтау, Тарса-тобе и других хорошо известных по прежним исследованиям памятников. Вполне убедительно предлагаются более узкие хронологические рамки для керамики из единственного раскопанного поселения Ак-тобе Баба-Атинского, ранее датированного в пределах III в. до н. э. — III в. н. э.⁸ Предлагая новые даты, Л. М. Левина опирается на хорошо датированные керамические комплексы Дже-ты-асарской и Каунчинской культур.

Вызывает, однако, недоумение ссылка автора на имеющуюся якобы в литературе датировку нижних слоев Баба-Аты V—VII вв. (стр. 198). Е. И. Агеева всегда относила их к VI—VII вв.⁹

Л. М. Левина также публикует и датирует подъемный керамический материал с некоторых памятников, обследованных в 1968 г. маршрутным отрядом Хорезмской экспедиции. Из Отарского оазиса здесь рассматриваются Маслахат-тобе, Ак-тобе и Шошак-тобе.

⁵ М. С. Мерцаниев, Поселение Кызыл-Кайнар-тобе I—IV вв. и захоронение на нем воина IV—V вв., сб. «По следам древних культур Казахстана», Алма-Ата, 1970, стр. 79—92.

⁶ А. Н. Бернштам, Древний Отар, Изв. АН КазССР, № 108, серия археологическая, вып. 3, 1961, стр. 97.

⁷ К. М. Байпаков, Археологическая литература в изданиях АН КазССР в 1946—1962 гг., «Сов. археология», 1964, № 2, стр. 243.

⁸ Т. Н. Сенигова, Поселение Актобе, «Археологические исследования на северных склонах Каратау», «Тр. ИИАЭ АН КазССР», т. 14, 1962, стр. 79.

⁹ Сб. «Археологические исследования на северных склонах Каратау», стр. 9, 189.

Обследованы и предварительно датированы тобе с ранней керамикой из района Туркестана, Яны-Кургана и на левобережье Сырдарьи. Публикации материала свидетельствуют об общем сходстве керамики с этих иногда значительно удаленных друг от друга памятников. На стр. 217—219 приводится описание керамики Борижарского могильника, который датируется VI—VIII вв.

В конце главы предлагается деление керамики отарско-каратауской культуры по трем этапам: I—IV, IV—VI и VII—VIII вв., что, вполне вероятно, будет подтверждено раскопками.

В заключении Л. М. Левина характеризует экономический базис джеты-асарской, каунчинской и отарско-каратауской культур, определивший близость керамического материала, резюмирует итоги изучения керамики, на основании этого рисует картину взаимоотношений культур и взаимовлияние различных этносов на рассматриваемой территории на протяжении нескольких столетий, указывает на влияние Согда, Чача и Семиречья.

Автор приходит к выводу о неизменяемости на протяжении почти тысячелетия основного этнического состава населения Нижней и Средней Сырдарьи (для районов Средней Сырдарьи — до начала VIII в., а для Нижней Сырдарьи — до IX в.), однако анализ керамических комплексов позволил Л. М. Левиной в определенной мере проследить происходившее здесь взаимодействие с новыми этническими группами. Так, например, появление в начале второго этапа в джеты-асарской культуре элементов, характерных для культур более восточного происхождения (Южной Сибири, Тувы, Монголии), могло быть связано с движением гуннов, что в свою очередь повлекло крупные передвижения присырдарьинских племен (стр. 62, 73, 228). Анализ керамики и некоторых других данных позволил автору проследить время, направление и территорию передвижения носителей рассматриваемых присырдарьинских культур в другие районы Средней Азии и Казахстана.

То же можно сказать о прослеживаемом Л. М. Левиной влиянии Согда, Чача и Семиречья на третьем этапе на эти культуры. Рассматриваемое автором появление семиреченских элементов в джеты-асарской культуре, передвижение последней в дельты Амударьи и Сырдарьи, затем полное прекращение жизни памятников джеты-асарского урочища и района «болотных городищ» связываются автором с историей кангаров-печенегов и огузского племенного союза (стр. 64, 242).

К сожалению, в работе нет карты размещения памятников на Сырдарье, о которых идет речь, с отражением здесь же их культурной принадлежности. Думается, были бы уместны синхронистическая таблица культур и сводная таблица керамики джеты-асарской, каунчинской и отарско-каратауской культур.

Однако эти и указанные выше недочеты отнюдь не умаляют ценности рецензируемой книги. Она дает полное и четкое представление о керамике сырдарьинских памятников I тысячелетия н. э.

К. М. Байпаков

Советская наука понесла тяжелую утрату: 8 октября 1973 г. в Ленинграде скончался Николай Андреевич Кисляков — один из крупнейших этнографов, видный историк-востоковед, фольклорист и языковед.

Николай Андреевич принадлежал к первому поколению советских исследователей, развивавших этнографию как составную часть марксистско-ленинской исторической науки в Советском Союзе. Для исследователей этого поколения была характерна теснейшая связь научных изысканий с практической работой по строительству нового мира. Их труды вызывались к жизни как практическими потребностями социалистического строительства, так и объективными законами развития самой науки. Жизнь и творчество Н. А. Кислякова могут служить прекрасным примером такого органического сочетания науки и практики.

Н. А. Кисляков родился в Петербурге 11 декабря 1901 г. С 1922 по 1925 гг., находясь в рядах Красной Армии, он работал учителем грамоты. От педагогической деятельности Николай Андреевич не отошел и после поступления в 1927 г. на этнографическое отделение географического факультета Ленинградского государственного университета. В 1930 г. Кисляков, получивший к этому времени основательную этнографическую и языковую подготовку под руководством таких крупных специалистов, как В. Г. Богораз-Тан, Е. Г. Кагаров, И. И. Зарубин и И. Н. Винников, надолго уехал на практику в горные районы Таджикистана. Там ему приходилось не только заниматься преподавательской деятельностью, но и руководить районными отделами народного образования в Гарме и Тавилдаре, заниматься организацией школьной сети, строительством школьных зданий, их оборудованием, переподготовкой местных учителей кадров и многим другим. То были годы укрепления Советской власти в горном Таджикистане, где еще господствовали полунатуральные формы хозяйства и примитивный быт. И в этих условиях благородный труд Николая Андреевича на поприще приобщения широких масс таджиков к грамоте, насаждение в этом удаленном от городских центров крае первых ростков новой социалистической культуры были настоящим подвигом.

Многосторонняя практическая деятельность Н. А. Кислякова сочеталась с интенсивным сбором этнографического материала, с упорной работой по совершенствованию знания таджикского языка. Именно стационарная работа по изучению этнографии горных таджиков предопределила весь дальнейший творческий путь ученого. И когда в 1932 г. Николай Андреевич окончил Ленинградский историко-лингвистический институт, куда в 1930 г. было переведено этнографическое отделение ЛГУ, таджиковедение обрело в его лице широко эрудированного и обладавшего уже немалым полевым опытом специалиста — историка и этнографа.

Круг научных интересов Н. А. Кислякова был очень широк. Он занимался и этногенезом таджиков, и хозяйственной жизнью этого народа, и его социальной историей, и историей духовной культуры. Среди более чем ста опубликованных им трудов есть исследования по всем этим проблемам, и в каждой из названных областей Николай Андреевич сумел сказать свое слово.

В 1934 г. вышли в свет первые статьи ученого, посвященные этнографии и языку ставшего ему близким таджикского народа. А в 1936 г. появилась и первая монография Н. А. Кислякова — «Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахиоболо» (годом раньше это исследование было успешно защищено как кандидатская диссертация). Тогда же, в 1936 г., Николай Андреевич публикует работу «Патриархальная семья у таджиков долины Ванджа», построенную на материалах, собранных им во время командировки в эту часть Западного Памира специально для изучения реликтов большой семьи. Уже в этих работах Н. А. Кисляков показал себя не только как талантливый продолжатель лучших традиций отечественной этнографической науки, но и как ученый, умело владеющий марксистско-ленинской методологией.

Как было сказано, Н. А. Кисляков занимался многими проблемами этнографии и истории таджиков; но наибольшее внимание он уделял изучению социальных отношений, в частности пережиткам родового строя, истории семьи и брака. При этом ученый не ограничивался изучением локальных групп таджиков: с годами круг народов, изучавшихся Николаем Андреевичем, систематически расширялся. Так, если в публикациях 30-х годов рассматривались семейно-брачные отношения лишь у отдельных групп горных таджиков, то в работе «Семья и брак у таджиков», защищенной в 1952 г. в качестве докторской диссертации и вышедшей в свет отдельной книгой в 1959 г., обобщен материал по всем важнейшим группам таджикского этноса. А еще через десять лет, в 1969 г., Н. А. Кисляков выпустил монографию «Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана», где были сведены воедино и проанализированы материалы по разным народам этого обширного региона. Обе эти книги стали крупными событиями не только в этнографическом изучении таджиков и других народов региона, но и заметным вкладом в общую этнографию благодаря тщательной разработке многих теоретических проблем, касающихся форм брака и семьи, свадебных обрядов, приданого и калыма и т. п. Почти исчерпывающе освещены в этих трудах такие вопросы, как сохранение норм экзогамии, семейно-брачные запреты и избегания. При этом автор не ограничивался рассмотрением особенностей семейно-брачных институтов

у того или иного народа, а постарался проследить историческую эволюцию наиболее существенных сторон этих институтов, общих для всего региона.

С исследованием семейно-брачных отношений как одного из аспектов социального строя смыкается и другое направление научных интересов Николая Андреевича — исследование классовой структуры и общественных отношений у народов бывшего Бухарского ханства на рубеже XIX и XX вв. Материал по этим проблемам ученый собирал на протяжении многих лет в экспедиционных поездках в различные районы Таджикистана и Узбекистана — Каратегин, Куляб, Кашкадарья и другие. Первой попыткой обобщить этот материал стала вышедшая в 1941 г. книга «Очерки по истории Каратегина» (второе, исправленное и дополненное издание — 1954 г.), а завершающим этапом большой исследовательской работы в данном направлении — монография «Патриархально-феодальные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства конца XIX — начала XX в.» (1962 г.). В этой книге не только собраны и проанализированы богатейшие историко-этнографические данные, но и исследован широкий круг проблем, относящихся к внутренней жизни и социальной истории одного из феодально-теократических государств Средней Азии. Книга имела большое значение для решения вопроса о патриархально-феодальных отношениях, бывшего в 50-х годах предметом оживленной дискуссии среди советских историков. Заслуга Николая Андреевича заключалась в том, что он на обширнейшем фактическом материале убедительно подтвердил всеобщий характер этого типа отношений как у кочевых и полукочевых, так и у исконно оседлых сельскохозяйственных народов.

Неизменным вниманием Н. А. Кислякова пользовалась хозяйственная деятельность таджиков и их материальная культура. Ему принадлежит ряд оригинальных исследований форм земледелия, скотоводства, промыслов, в основе которых мы всегда обнаруживаем личные наблюдения, собственные полевые материалы. Значительное место в трудах Н. А. Кислякова занимало изучение этнографии различных локальных групп таджиков. Под его руководством обрабатывались и готовились к изданию хранящиеся в Музее антропологии и этнографии АН СССР (МАЭ) материалы по зеравшанским таджикам, собранные Среднеазиатской этнологической экспедицией 1926—1927 гг., которую возглавляли В. В. Бартольд и И. И. Зарубин. Значительная часть этих материалов была затем использована при подготовке Историко-этнографического атласа народов Средней Азии и Казахстана. Н. А. Кисляков был одним из руководителей этого капитального труда, членом редакционной коллегии, отвечавшим за такой важнейший раздел работы, как «Земледелие».

Характерно, что Н. А. Кисляков никогда не ограничивался в своей научной деятельности разработкой проблем хозяйственной, социальной и культурной жизни изучавшихся им народов только в историческом плане. Он стал одним из пионеров изучения современных форм культуры и быта у народов нашей страны. На протяжении нескольких послевоенных лет ученый руководил экспедиционной работой этнографов Москвы, Ленинграда и Таджикистана, проводивших монографическое исследование быта и культуры колхозников кишлака Кыстакоз Ленинобадской области Таджикской ССР. Результатом этих работ явилась вышедшая в 1954 г. монография — одна из первых в СССР, посвященных современной колхозной деревне, — «Культура и быт таджикского колхозного крестьянства». В ней Николай Андреевич выступал как ответственный редактор и один из авторов.

Научные интересы Н. А. Кислякова не ограничивались изучением народов, живущих в нашей стране. Он был одним из самых авторитетных специалистов по этнографии Ирана и Афганистана. На основании материалов, собранных им во время почти трехлетней работы в посольстве СССР в Иране (1943—1945), были написаны работы о кашкайцах, кафирах, персах, статьи по общим проблемам этнографии Передней Азии. Особое место в творчестве Н. А. Кислякова занимает издание перевода этнографического труда иранского писателя Садека Хедаята «Нейрангистан» (1958).

Нельзя не сказать и о той большой работе, которую проделал Николай Андреевич в качестве директора МАЭ в первые послевоенные годы (1946—1950 гг.). Работники музея до сих пор с большой теплотой вспоминают об этом времени. Будучи в течение многих лет руководителем Ленинградской группы Сектора Средней Азии Института этнографии АН СССР, Н. А. Кисляков постоянно уделял внимание музейной работе: подготовке новых экспозиций, каталогов, путеводителей, регистрации и публикации коллекций.

От научно-исследовательской и музейной работы невозможно отделить педагогическую деятельность Н. А. Кислякова, его участие в подготовке молодых кадров этнографов, в особенности в Таджикской ССР. В 1941—1943 гг. он читал курс истории Средней Азии в Педагогическом институте в Душанбе. Но, пожалуй, особенно большое значение для молодых специалистов имело повседневное общение с Николаем Андреевичем, его постоянные и неизменно благожелательные консультации, руководство аспирантами и выступления в качестве официального оппонента на защитах диссертаций. Ученый щедро делился с молодежью своими знаниями, подавая ей пример высокой требовательности к себе и научной принципиальности. Одним из лучших свидетелей той роли, которую сыграл Н. А. Кисляков в подготовке национальных кадров, может служить коллективный труд «Таджики Каратегина и Дарваза» (1966—1970) — результат сплошного обследования этих районов таджикскими этнографами, начатого в 1950-х годах под руководством Н. А. Кислякова. Николай Андреевич (совместно с А. К. Писарчик) был редактором этого капитального исследования.

Немало напряженного труда отдал Н. А. Кисляков редакторской работе. Помимо вышеупомянутых книг он участвовал в редактировании таких крупных коллективных исследований, как входящие в серию «Народы мира» тома «Народы Передней Азии» и «Народы Средней Азии и Казахстана». Научный авторитет его был столь высок, что к нему обращались за помощью как к редактору не только таджиковеды, но и исследователи, изучавшие народы, живущие далеко от Средней Азии.

Н. А. Кисляков пользовался заслуженным авторитетом не только у советских коллег, но и среди зарубежных этнографов, знакомых с деятельностью ученого как по опубликованным трудам, так и по его участию в работе XXV Международного конгресса востоковедов (1960), VII и IX Международных конгрессов антропологических и этнографических наук (1964 и 1973 гг.). Неизменно привлекали внимание коллег выступления Н. А. Кислякова на всесоюзных этнографических совещаниях и многочисленных научных сессиях. Многолетняя плодотворная деятельность ученого была отмечена орденом «Знак Почета» и медалями, почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Николай Андреевич был не только крупнейшим ученым. Его отличали неизменная доброжелательность, постоянная готовность помогать начинающим ученым, любому из своих коллег, удивительная чуткость и мягкость в отношении к людям. Эти качестванискали ему глубокое и искреннее уважение со стороны всех, кто его знал. У Н. А. Кислякова было много друзей; они ценили в нем не только первоклассного исследователя, но и человека, которому природная мягкость и скромность никогда не мешали проявлять принципиальность и мужество в науке и в жизни, особенно в последние годы, когда здоровье оставляло желать много лучшего.

Светлая память о Николае Андреевиче Кислякове сохранится надолго в сердцах тех, кому посчастливилось с ним встречаться и работать.

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ Н. А. КИСЛЯКОВА

- Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахио-боло. «Труды Ин-та антропологии, этнографии и археологии АН СССР», т. X, этнографическая серия, № 2, М.—Л., 1936.
- Очерки по истории Каратегина. К истории Таджикистана. Душанбе — Ленинград, 1941 (II изд.— Душанбе, 1954).
- Культура и быт таджикского колхозного крестьянства. Под общей редакцией Н. А. Кислякова, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», далее: ТИЭ, т. 24, М.—Л., 1954 (совместно с Н. Н. Ершовым, Е. М. Пешеревой и С. П. Русапкиной).
- Семья и брак у таджиков. ТИЭ, т. 44, 1959.
- Патриархально-феодалные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства конца XIX — начала XX в. ТИЭ, т. 74, 1962.
- Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Л., 1969.
- Бурх — горный козел. «Сов. этнография», 1934, № 1—2.
- Описание говора таджиков Вахио-боло. «Труды Тадж. базы АН СССР», III, М.—Л., 1936.
- Патриархальная семья у таджиков долины Ванджа. Сб. «Вопросы истории доклассового общества», к 50-летию книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Труды Ин-та антропологии, археологии и этнографии АН СССР», т. 4, М.—Л., 1936.
- Охота таджиков долины реки Хингоу — в быту и в фольклоре. «Сов. этнография», 1937, № 4.
- Жилище горных таджиков бассейна реки Хингоу. Сб. «Сов. этнография», II, 1939.
- История Каратегина, Дарваза и Бадахшана. «Материалы по истории таджиков и Таджикистана», сборник 1-й, Душанбе, 1945.
- К вопросу об этногенезе таджиков. Сб. «Сов. этнография», VI—VII, 1947.
- Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием, у таджиков бассейна р. Хингоу, «Сов. этнография», 1947, 1.
- Язгулемцы. Этнографический очерк. «Известия Всесоюзного географического общества», т. 80, вып. 4.
- Древние формы скотоводства и молочного хозяйства у горных таджиков бассейна р. Хингоу. «Известия Тадж. филиала АН СССР», 15, История и этнография, 1949.
- Калым и приданое у таджиков. Сб. «Родовое общество», ТИЭ, нов. сер., т. 4, 1951.
- Таджики долины Соха. «Сборник статей по истории и филологии народов Средней Азии, посвященный 80-летию А. А. Семенова», «Труды АН ТаджССР», т. XVII, 1953.
- Из истории горного Таджикистана (Материалы к характеристике феодальных отношений в долине р. Хингоу в конце XIX — начале XX в.). «Известия Отделения общественных наук АН ТаджССР», 4, 1953.
- Свадебные лицевые занавески горных таджиков. «Сб. Музея антропологии и этнографии АН СССР», т. XV, М.—Л., 1953.

- Некоторые материалы по этнографии исфаринских таджиков. «Известия Отделения общественных наук АН ТаджССР», 5, 1954.
- Сочинение Абу-Бекра Мухаммеда Наршахи «История Бухары» как этнографический источник, «Труды АН ТаджССР», т. 27, 1954.
- Население Передней Азии и его происхождение. «Народы Передней Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1957.
- Персы. Там же.
- Кашкайцы. Там же.
- Кафиры (Совместно с Э. Г. Гафферберг). Там же.
- Зарубежные таджики. Там же.
- Пережитки матриархата в брачных обрядах народов Средней Азии. «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР» (далее: КСИЭ), вып. 28, 1957.
- Садек Хедаят, Нейрангистан. Перевод с персидского, предисловие и комментарии. «Переднеазиатский этнографический сборник», ТИЭ, т. 39, 1958.
- Некоторые материалы к вопросу об этногенезе таджиков. КСИЭ, вып. 30, 1958, стр. 130—134.
- Народы Передней Азии (Афганистана, Ирана и Турции). В кн.: «Очерки общей этнографии», Зарубежная Азия, М., 1959.
- «Таджики» (Глава в разделе «Народы Средней Азии и Казахстана»), «Очерки общей этнографии», Азиатская часть СССР, М., 1960.
- Некоторые материалы по этнографии таджиков верховий Кашкадарьи. «Труды АН ТаджССР», т. 120 (сборник памяти М. С. Андреева), 1960.
- О некоторых древних поверьях таджиков долины р. Хингоу. «Краткие сообщения Ин-та истории материальной культуры», вып. 80, 1960.
- Вопросы семьи и быта у народов Средней Азии и Казахстана в период строительства социализма и коммунизма (Совместно с Г. П. Васильевой) «Сов. этнография», 1962, № 6.
- Таджики. В томе «Народы Средней Азии и Казахстана», I (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1962.
- Материальная культура, быт и религия. Раздел «История таджикского народа», т. II, кн. 2, М., 1964.
- Некоторые брачные церемонии у народов Средней Азии и проблема материнского рода. Доклад на VII Конгрессе антропологических и этнографических наук, М., 1964.
- Сайробские таджики. «Сов. этнография», 1965, 2.
- Таджики Китайской Народной Республики. «Народы Восточной Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1965.
- Главы: «Этнографическое изучение Каратегина и Дарваза», «Географический очерк Каратегина и Дарваза», «Исторический очерк Каратегина и Дарваза». В кн.: «Таджики Каратегина и Дарваза», вып. I, Душанбе, 1966.
- Проблемы семьи и брака в работах советских этнографов (по материалам Средней Азии и Казахстана). «Сов. этнография», 1967, № 5.
- Некоторые материалы по сельскохозяйственной терминологии у таджиков, «Сов. этнография», 1969, № 3.
- О древнем обычае в фольклоре таджиков. Сб. «Фольклор и этнография», Л., 1970.
- Вотивные предметы горных таджиков (по коллекциям МАЭ). Сб. «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии» (сб. МАЭ, т. XXVI), Л., 1970.
- Добыча золота — один из древних промыслов горных таджиков. «Сов. этнография», 1971, 2 (совместно с С. М. Абрамзоном).
- Нормы наследования по адату и шариату у народов Средней Азии и Казахстана. Доклад на IX Международном конгрессе антропологических и этнографических наук (Чикаго, сентябрь, 1973), М., 1973.
- Некоторые иранские поверья и праздники в описаниях западноевропейских путешественников XVII в. Сб. «Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии». М., 1973.
- Аловхона — дом огня у горных таджиков. Сб. «Проблемы африканистики (к 70-летию Д. А. Ольдерогге)», М., 1973.
-

СОДЕРЖАНИЕ

В. К. Соколова (Москва). Фольклористика в Академии наук	3
О. А. Гандкая (Москва). Этнос и семья в СССР	20
М. Н. Шмелева (Москва). Об основных тенденциях развития материальной культуры русского городского населения за последнее столетие (из опыта изучения малых и средних городов средней полосы РСФСР)	31
В. А. Шнирельман (Москва). Некоторые проблемы происхождения и распространения животноводства	41
А. П. Окладников (Новосибирск). Лоси на Долгом пороге (периодизация нижнеангарских наскальных изображений)	53

Дискуссии и обсуждения

М. В. Крюков (Москва). Дает ли система брачных классов ключ к разгадке «австралийской контroversы»?	60
Я. Крамаржик (Прага). Некоторые замечания в связи с дискуссией по аграрной этнографии	71

Сообщения

И. Н. Гемуев, Г. И. Пелих (Томск). Селькупское оленеводство	83
Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин (Казань). Декоративное оформление русского сельского жилища в Чувашской и Татарской АССР	96
Е. В. Ревуненкова (Ленинград). О личности шамана	104
Е. А. Тудоровская (Ленинград). Проблема взаимоотношений народных верований и сказки (на материале сюжета «О запродаже Водяному»)	112
К. П. Калиновская (Ленинград). Возрастные группы как элемент социальной организации консо	120

Поиски, факты, гипотезы

Б. Н. Путилов (Ленинград). Остров песен (на атолле Фунафути)	126
--	-----

Научная жизнь

Д. Д. Тумаркин (Москва). Пятая Всесоюзная конференция океанистов и австраловедов	139
Р. Ш. Джарылгасинова (Москва). Основная проблематика исследований группы ономастики Института этнографии АН СССР	141
А. Ф. Некрылова (Ленинград). Чтения памяти П. Г. Богатырева	144
В. Е. Гусев (Ленинград). Поездка в Польшу	147
Коротко об экспедициях	154

Критика и библиография

Критические статьи и обзоры

Н. В. Юхнева (Ленинград). Вопросы формирования, положения и облика рабочего класса Петербурга — Ленинграда (заметки этнографа по поводу книги «История рабочих Ленинграда», т. I и II)	156
Д. А. Ольдерогге (Ленинград). Японские исследования по этнографии Африки	165

Общая этнография

А. М. Решетов (Ленинград). Музей антропологии и этнографии	178
Л. А. Файнберг (Москва). Р. С. Васильевский. Древние культуры Тихоокеанского Севера	179

Народы СССР

М. Г. Имяреков (Саранск). Устно-поэтическое творчество мордовского народа, т. VII, ч. I-я — Эрзянские причитания-плачи	181
К. М. Байпаков (Алма-Ата). Л. М. Левина. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в I тысячелетии н. э.	182
<u>Николай Андреевич Кисляков</u>	186
На первой странице обложки: Ансамбль Лоту на Фунафуту (см. статью Б. Н. Путилова). Фото В. Н. Басилова	

SOMMAIRE

V. K. Sokolova (Moscou). Etudes folkloriques à l'Académie des Sciences	3
O. A. Gantskaïa (Moscou). L'ethnie et la famille en U. R. S. S.	20
M. N. Chméliova (Moscou). Sur les tendances principales de l'évolution de la culture matérielle des populations urbaines russes durant le siècle dernier (d'après l'expérience de l'étude des villes mineures et moyennes de la région centrale de la R. S. F. S. R.)	31
V. A. Chnirielman (Moscou). Quelques problèmes des origines et de la diffusion de l'élevage	41
A. P. Okladnikov (Novossibirsk). Des élans aux rapides Dolgui (périodisation des figurations rupestres de Basse-Angara)	53

Discussions et deliberations

M. V. Kriukov (Moscou). Le système des classes de mariage, donne-t-il une clef à résoudre la «controverse australienne»?	60
J. Kramářik (Prague). Quelques reflexions en rapport avec la discussion sur l'ethnographie agraire	71

Communications

I. N. Guémouïev, G. I. Pielikh (Tomsk). L'élevage de renne des Selkoup	83
Ye. P. Boussyguine, N. V. Zorine (Kazan). Le décor de l'habitat rural russe en R. S. S. A. des Tchouvaches et des Tatares	96
Ye. V. Rievounienkova (Léningrad). De la personnalité du chamane	104
Ye. A. Toudorovskaïa (Léningrad). Problèmes des rapports entre les croyances populaires et le conte (d'après les matériaux du sujet dit «La vente au génie des eaux»)	112
K. P. Kalinovskaïa (Léningrad). Les groupements d'âge en tant qu'élément de l'organisation sociale des Konso	120

Recherches, faits, hypotheses

B. N. Poutilov (Léningrad). L'île des chansons (à l'atoll de Funafuti)	126
--	-----

Vie scientifique

D. D. Toumarkine (Moscou). Ve Conférence Nationale d'études océaniques et australiennes	139
R. Ch. Djarylgassinova (Moscou). Problèmes essentiels étudiés par le Groupe d'onomastique de l'Institut d'Ethnographie, Académie des Sciences de l'U. R. S. S.	141
A. F. Niekrylova (Léningrad). Conférences à la mémoire de P. G. Bogatyriov	144
V. Ye. Goussiev (Léningrad). Voyage en Pologne	147
Missions en bref	154

Critiques et bibliographie

Articles de critique et revues

N. V. Yukhniova (Léningrad). Problèmes de la formation, de la condition et de la physionomie de la classe ouvrière de Pétersbourg — Léningrad («Histoire des ouvriers de Léningrad», t. I et II: reflexions d'un ethnographe à propos du livre)	156
D. A. Olderoggué (Léningrad). Etudes japonaises dans le domaine de l'ethnologie d'Afrique	165
	191

Ethnographie générale

A. M. Riechétov (Léningrad). <i>Le Musée d'anthropologie et d'ethnographie</i>	178
L. A. Faïnberg (Moscou). R. S. Vassiliévski. <i>Anciennes civilisations du Nord du Pacifique</i>	179

Peuples de l'U.R.S.S.

M. G. Imiariékov (Saransk). <i>L'oeuvre poétique orale du peuple mordve</i> , t. VII, pt. 1 — Les lamentations des Erzia	181
K. M. Baïpakov (Alma-Ata). L. M. Lévína. <i>Céramiques du Syr-Darya inférieur et moyen au I millénaire de n. è.</i>	182

<u>Nikolaï Andrieévitch Kisliakov</u>	186
---	-----

<i>Sur la couverture: L'ensemble artistique de Lotu au Funafuti (v. l'article de B. N. Poutilov). Cliché V. N. Bassilov</i>	
---	--

Технический редактор Л. И. Гликина

Сдано в набор 13/III-1974 г.	Т-06566	Подписано к печати 17/V-1974 г.	Тираж 2600 экз.
Зак. 4081	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	Усл. печ. л. 16,8 Бум. л. 6,0	Уч.-изд. л. 18,8

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

9 Сов. Этногра-
фия
Цена 1 р. 80 к.
10ЖБ
Индекс 70845
1974
43

1-1
ЛЕНИНГРАД Д 69
САДОВАЯ 18
ГОС ПУБЛ Б-КА
70845
1-12 2 ЭКЗ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Готовятся к печати книги:

AFRICANA. АФРИКАНСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК. X.

20 л. 1 р. 65 к.

Сборник открывается статьями этнографического содержания. Разбирается вопрос о некоторых чертах систем родства, предлагается объяснение назначения скульптур, найденных в Ифе,— одном из городов Йорубов. Описываются взаимоотношения и связи эгейского мира с Африкой, а также связи Египта с Китаем во II веке до н. э., дается характеристика земледелия у народов Восточной Африки. Один из разделов посвящен описанию коллекции Музея антропологии и этнографии АН СССР, а также описанию коллекции африканских предметов, хранящихся в музее г. Тарту.

Издание рассчитано на этнографов, языковедов и антропологов.

Маркова Л. В.

СИСТЕМЫ ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

В БОЛГАРСКОМ СЕЛЕ. 15 л. с илл. 1 р. 10 к.

В монографии исследуется хозяйственная деятельность [скотоводство, земледелие, лесные промыслы и ремесла] населения Родопского края Болгарии в плане раскрытия общественных связей на селе. На новом полевом материале автор показывает взаимозависимость материального производства и общественной структуры, раскрывает семейно-родственные связи и традиции самоуправления в родопском селе XIX—начала XX в.

Книга будет полезна этнографам, историкам, юристам.

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

117464 МОСКВА В-464, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»;

197110 ЛЕНИНГРАД П-110, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайшие магазины «Академкнига».

Адреса магазинов «Академкнига»:

480391 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97; 370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13; 320005 Днепропетровск, проспект Гагарина, 24; 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95; 664033 Иркутск, 33, ул. Лермонтова, 303; 252030 Киев, ул. Ленина, 42; 277012 Кишинев, ул. Пушкина, 31; 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2; 192104 Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57; 199164 Ленинград, Менделеевская линия, 1; 199004 Ленинград, 9 линия, 16; 103009 Москва, ул. Горького, 8; 117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22; 630076 Новосибирск, 91, Красный проспект, 51; 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137; 700029 Ташкент, ул. К. Маркса, 29; 700029 Ташкент, Л-29, ул. Ленина, 73; 700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43; 634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18; 450075 Уфа, Коммунистическая ул., 49; 450075 Уфа, проспект Октября, 129; 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310003 Харьков, Уфимский пер., 4/6.